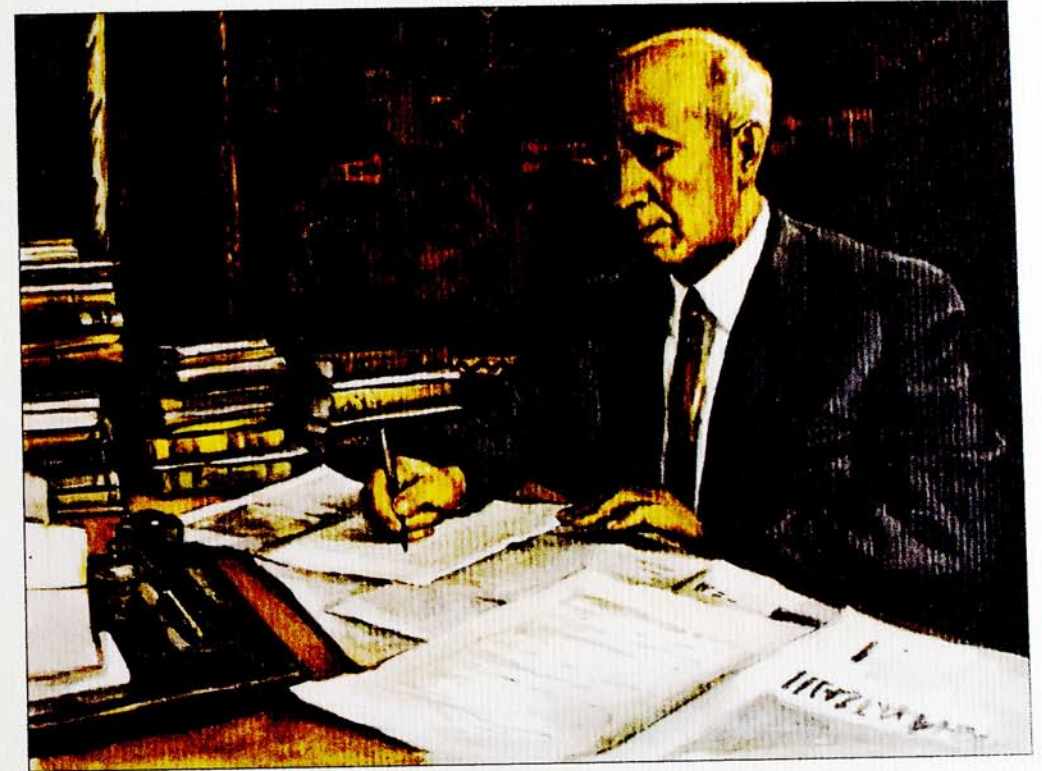


МИР ДЖАЛАЛ

ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

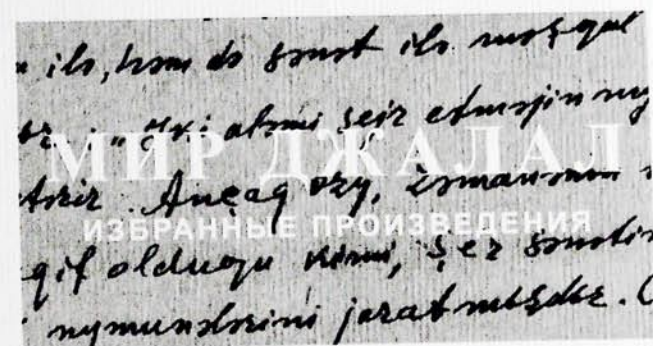
Посвящается 100-летию выдающегося азербайджанского писателя Мир Джалала



MIR JALAL

AN ANTOLOGY

2-784150



ПЕРВАЯ КНИГА

M.F. Axundov adına
Azərbaycan Milli
Kitabxanası

BAKU2009

Ш 6(2=Az)7-4+Az

This anthology includes the novel Resurrection Man and short stories by outstanding Azerbaijani scholar and writer, Mir Jalal Pashayev, a Doctor of Philology and Professor who was awarded the title Honoured Scholar.

Resurrection Man is set during the popular liberation movement in Azerbaijan in the early 20th century. It portrays the way people live and the difficulties that befall the novel's main hero Qadir and his family.

A recognized master of the short story, Mir Jalal humorously depicts typical scenes from ordinary life. The book includes the philosophical reflections, individual heroes and subtle, thought-provoking humour that are typical of Mir Jalal's work.

В предлагаемую вниманию читателей книгу выдающегося представителя азербайджанской литературы и науки, доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Мир Джалала Пашаева включены роман «Воскресший человек» и некоторые рассказы. Роман «Воскресший человек» повествует о народно-освободительном движении в Азербайджане начала XX века, о положении народа, о тяготах, выпавших на долю главного героя произведения Гадира и его семьи. Вызывает интерес, как признанный мастер малого жанра Мир Джалал в своих рассказах, включенных в том, юмористически показывает типические сцены из жизни простых людей. В книге нашли отражение характерные для творчества Мир Джалала философские размышления, индивидуальность героев, тонкий, заставляющий призадуматься юмор.

**АГИЛЬ
ГАДЖИЕВ**

**ВЕЧНОСТЬ
СОВРЕМЕННОСТИ**

Выдающийся азербайджанский писатель, один из зачинателей азербайджанской прозы двадцатого столетия, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Мир Джалал Мир Али оглу Пашаев родился 26 апреля 1908 года в селе Андебил, близ центра Южного Азербайджана - города Тавриз. Отец будущего классика был зажиточным помещиком и кендхудой (сельским старостой). В 1918 году он вместе с тремя своими сыновьями - Мир Джалилом, Мир Халилом и Мир Джалалом - переезжает в известный культурный центр Северного Азербайджана город Гянджу, которому в скором времени суждено было стать первой столицей Азербайджанской Демократической Республики.

Вскоре отец будущего классика умирает, наказав двоим старшим сыновьям создать условия, чтобы их младший брат Мир Джалал получил хорошее образование.

В 1924 году Мир Джалал поступил в Гянджинский педагогический техникум, по окончании которого в 1928 году приступил к преподавательской деятельности в общеобразовательной школе Кедабека. Педагогический талант и организаторские способности Мир Джалала были столь заметны, что в том же 1928-ом году он был назначен директором Кедабекской школы, а уже в 1929-ом году - директором Гянджинской школы № 1. Преподаванию он остался верен до последних дней своей жизни и, сменив школьную аудиторию на вузовскую, поочередно занимая должности преподавателя кафедры азербайджанской литературы Азербай-

джанского Государственного Педагогического Института (1936-1940), затем доцента, профессора и заведующего кафедрой истории азербайджанской литературы Азербайджанского Государственного Университета (1941-1978). Многие азербайджанские филологи прошли школу Мир Джалала, под научным руководством которого тридцать шесть исследователей защитили докторские и кандидатские диссертации. Среди них академики Кямал Талыбзаде и Бахтияр Вагабзаде.

Одновременно с преподаванием в средних школах Кедабека и Гянджи Мир Джалал приступил к художественному творчеству. Он становится одним из основателей гянджинского филиала литературного общества «Красные перья», пишет многочисленные рассказы, публикуя их в выпускаемых этим обществом одноимённых

журнале и газете, а также в альманахе «Первые шаги». Уже эти ранние рассказы будущего классика привлекли читательское внимание, но особый успех выпал на долю его первого сборника рассказов «На правильном пути» (1932), после выхода в свет которого его объявили «большим мастером малого жанра», наиболее способным преемником реалистических традиций таких мастеров малых эпических жанров, как Джалил Мамедкулизаде и Абдуррагимбек Ахвердиев. Выход в свет в 1940-ом году романа «Манифест молодого человека» принёс Мир Джалалу общесоюзную славу. Переведённый на целый ряд языков, роман этот стал настольной книгой не одного поколения читателей.

Начиная с «Манифеста молодого человека» почти каждое новое произведение Мир Джалала встречало восторженную читатель-

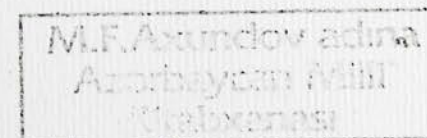
скую реакцию и положительную оценку литературных критиков. Речь идёт и о романах «Воскресший человек», «Открытая книга», «Мои ровесники», «Куда ведут дороги», «Новый город», и о повести «Горы заговорили», а также о многочисленных рассказах, в которых с тонкой иронией и многозначительным подтекстом бичевались недостатки социалистической действительности.

С 1930-ых годов Мир Джалал приступает к научно-исследовательской деятельности. Не порывая ни и с педагогической деятельностью, ни с писательским трудом, он уезжает в столицу Татарии Казань, где поступает на факультет языка и литературы Казанского восточного педагогического института. Проучившись два года в Казани, Мир Джалал возвращается на родину и в 1932-ом году поступает в аспирантуру при Азербайджанском научно-

исследовательском институте, а с 1933-го года приступает к работе в Азербайджанском филиале Академии наук СССР в качестве научного сотрудника отдела общественных наук. В 1935-ом году Мир Джалал принимает активное участие в организации академического Института литературы имени Низами и назначается заведующим отделом «Азербайджанской литературы XX века».

В 1940-ом году на заседании Учёного Совета Азербайджанского Государственного Университета Мир Джалал блестяще защищает кандидатскую диссертацию на тему: «Особенности поэтики Мухаммеда Физули», фактически открывая для читателей двадцатого столетия этого великого азербайджанского поэта XVI века, удостоиваясь искомой учёной степени кандидата филологических наук. Научную работу Мир Джалал прервал только в годы второй миро-

2-784150



вой войны, по окончании которой в 1947-ом году на заседании Учёного Совета Азербайджанского Государственного Университета успешно защитил докторскую диссертацию на тему: «Литературные школы в азербайджанской литературе XX века». Этот приход в науку вовсе не означал отхода от литературного творчества. Мир Джалал — это единственный представитель азербайджанской литературы двадцатого столетия, удачно совместивший писательский труд с научной и преподавательской деятельностью. Именно поэтому его произведения выгодно отличаются глубиной проблематики, монолитностью сюжета, насыщенностью языка, чёткостью образной системы, композиционной стройностью.

Успешное совмещение педагогической, писательской и научной деятельности и составило то необычайно богатое и содержатель-

ное понятие, которое сегодня мы называем духовным и художественным миром Мир Джалала Пашаева, замечательного педагога, выдающегося прозаика и талантливого литературоведа, жизнь которого оборвалась в Баку 28 сентября 1978 года.

Агиль ГАДЖИЕВ,
доктор филологических наук, профессор

содержание

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

АГИЛЬ ГАДЖИЕВ

Вечность современности

12-19

роман

Воскресший человек

23-189

рассказы

Новомодная свадьба

193-206

Огородный воришка

207-218

Аяз

219-231

В гостях у приятеля

232-242

Заполните анкету

243-247

Исцелилась

248-252

В тени под ивой

253-258

Семья Кямтаровых

259-271

Гаджи-оглу пожинает плоды

272-278

Обожатель гостей

279-286

Встреча с другом

287-295

Сын

296-304

СОДЕРЖАНИЕ

Урок приличия	305-317
Шербет	318-323
Раны Родины	324-336
Мать	337-343
Лейла	344-351
История одной болезни	352-358
Диссертация	359-367
Миндалевые деревья	368-380
Пригодится	38-389
После плова	390-408
Визит сватов	409-427
Желаю счастья	428-433
Приемные экзамены	434-440

ВОСКРЕСШИЙ ЧЕЛОВЕК

РОМАН

ДРУЗЬЯ

Приближался новруз-байрам. Поговаривали, что, возможно, будет объявлена амнистия. Гасан Гермек, ходивший на рынок за покупками для арестантов, приносил новости. И, рассказывая о том, что базар украшают и перед крепостью обучают аскеров, он с омерзением отплевывался.

Люди, лишённые воздуха и света и бывшие игрушкой в руках надзирателей, с тоской глядели в окно, мучаясь неизвестностью.

Предполагалась амнистия, поэтому арестованные волновались, ежеминутно ожидая известий. Каждый скрип двери заставлял их настороженно прислушиваться, всем не терпелось услышать долгожданное:

— Собирайте вещи!..

— Вы помилованы!

Но эта надежда так же утешала арестованных, как голодного человека может насытить рыба, плавающая в море.

В глубине коридора была расположена камера, не имевшая номера. Здесь жизнь текла обычным чередом.

Из всех обитателей этой камеры больше всех страдал Кадир, недавно брошенный сюда. Это был неопытный, беспомощный, глубоко несчастный человек.

Вступив в камеру, он целые сутки простоял на ногах, что-то бормоча про себя, и ни разу не присел: стоял молча, опустив голову, точно обиженный ребенок.

В камере было еще двое арестантов: один - круглолицый парень с густыми бровями и с торопливой речью. Вместо «р» он произносил «г», что не портило, однако, выразительности его речи, а лишь несколько смягчало ее.

Взяв с края тахты кусочек черного черствого хлеба и показывая его товарищу, он говорил:

— Видишь этот хлеб? Все, все зависит от этой вот чегтовщины!

Его товарищ, высокий и худой, как палка, молчал: чахотка наложила на его изможденное лицо свой страшный отпечаток. Жилы на лбу вздулись, глаза ввалились, и хотя он был молод, но было ясно, что жить ему недолго; он надрывно кашлял и долго не мог отдышаться.

Парень с густыми бровями говорил быстро, отрывисто, точно сыпал словами:

— Мы, железнодорожники, скогее погибнем, чем отступим!

Прозвучал звонок, сигнал к проверке. Арестованные, сильно волнуясь, собрались в коридоре. Они уже знали, что это значило. Тюремное начальство часто собирало их так, потом отделяло часть

арестованных и ночью куда-то уводило. Таких арестантов оставшиеся называли безвозвратно ушедшими. Поэтому, когда раздавался звонок, у всех начинало сильно биться сердце и лица бледнели.

Но сейчас был близок рассвет. Вот-вот должно появиться солнце. В этот час расстрелы бывали редко. Поэтому некоторым этот звонок давал надежду на что-то лучшее: ведь до светлого праздника весны - новруз-байрама оставалось три дня, и очень возможно, что им собирались объявить об амнистии.

Все собрались в коридоре с цементным полом.

Люди жались друг к другу, как жертвенные овцы, и взволнованно шумели, безотчетно радуясь чему-то. При появлении караула у всех екнуло сердце. Резкая команда больно ударила арестантов в сердце. Все застыли на месте.

Офицер в черной чохе просмотрел список, который он держал в руке, обошел всех арестантов и, что-то крикнув, пинком вытолкнул двоих в сторону канцелярии. Затем остановился у двери, скомандовал выведенным арестантам стать на место и, еще раз обведя строгим взглядом притихшие ряды, скорчил ядовитую гримасу и присел, поджав под себя тонкие, как барабанные палочки, ноги:

— Ах, вы, подлецы, изменники!.. Марш!..

Караульные снова загнали арестованных в камеры. Никто не понимал, в чем дело. Арестант с густыми бровями, входя в камеру, буркнул громко, так, чтобы слышали караульные:

— Взбесился, что ли, собачий сын? ..

А его товарищ, крепко прихлопнув дверь, добавил:

- С жиру бесится!..

И оба арестанта заговорили оживленно.

Парня с густыми бровями звали Гиясом Намаз оглу. Рабочий

депо, он был арестован за участие в забастовке.

Кадир не верил, что Гияс приговорен к двум годам, настолько тот был жизнерадостен, бодр и не похож на арестанта.

Гияс рассказывал о жизни рабочих станции и громко спорил со своим товарищем, который не соглашался с ним.

Минуты две спустя, когда в мисках с кашей начинали стучать деревянные ложки, споры и обидные слова предавались забвению: как члены одной семьи, они беседовали, вспоминали своих домашних, шутили.

Кадир был также членом этой семьи.

— Послушай, — говорил Гияс, обращаясь к нему, — должно быть, жена твоя сильно скучает по тебе. Почему же ты о ней не вспомнишь?

И вот однажды Кадир разговорился. Нумерованный человек из нумерованной камеры начал рассказывать свою историю. ...

ЦВЕТОК, "ВЫРОСШИЙ НЕ НА МЕСТЕ"

Ночь, как страшный сон, объяла вселенную. В сплошном черном мраке грохотал шумный ливень. Изредка слышались странные голоса, точно предсмертные вопли утопавших.

Все живое попряталось.

Перед низенькой саклей, с плоской крышей, поросшей травой, с почерневшим потолком и прогнившими балками, стоял всадник, не обращая внимания на ливень.

Лошадь нетерпеливо била копытами землю, словно желая бежать, укрыться от дождя. Но всадник, точно приросший к седлу, крепко натягивал поводья, не отрываясь от щели в окне, через которую проникала узкая, тонкая полоска света, прорезавшая мрак.

В сенях избы висячая семилинейная лампочка освещала белое, как сливки, тело Гумри. Она купалась в корыте.

И, глядя, как трепетали нежные, как шамама, и белые, как мрамор, груди Гумри, всадник едва сдерживал охватившую его страсть.

Он скользит жадным взором по ее мокрым щекам, по черным глазам и длинным косам. Вожделение еще сильнее охватывает его. Он мечтает превратиться в змею, обвиться вокруг стана женщины.

Кадир в избушке помогает Гумри вытираться, целует, ласкает ее любовно. Но недолго продолжается эта картина. Лампа гаснет. Занавес опускается. Но бесплатный и жадный зритель не хочет уходить, все еще переживая только что виденную сцену.

«Цветок, выросший на навозе! Чудесная жемчужина в мусоре! ...»

Жемчужина в мусоре слепит глаза зрителя, аромат выросшего на навозе цветка раздражает его ноздри.

Последнее время Бебир бек стал очень благоволить к Кадиду: был любезен в разговоре, справлялся о его здоровье, спрашивал, в чем он испытывает нужду.

Как-то вечером из-за забора послышалось:

- Эй, Кадир! Кадир!

— Слушаю... Слушаю!..

Узнав голос Бебир бека, Кадир босиком побежал к калитке.

— Добро пожаловать, бек! Милости прошу!

Бебир бек по свойственной ему манере солидно кашлянул и вошел в избу. Гумри подала ему подушку, чтобы он сел.

— Не надо, — сказал Бебир бек, присев на край подоконника. Не беспокойся!

Исподлобья наблюдал он за ходившей по комнате Гумри, не отрываясь смотрел на ее ножки, но полюбоваться икрами не мог, так как на ней была длинная, широкая юбка, доходившая до земли. Главными признаками женской красоты Бебир бек считал ножки, лодыжки и икры.

— Икры ног, — говорил он, — должны быть не очень тонкие и не очень толстые, они должны быть одинаковы, чтобы нельзя было

отличить правую от левой...

— Не обижайте нас, бек, не брезгайте хужиной бедняка, садитесь на почетное место. Как бы не продуло из окна.

Не обращая внимания на настояния хозяев, бек остался сидеть на подоконнике. От предложенного ему, угощения отказался.

Кадиру стало неприятно, Гумри также смутилась. У них не было ничего, что было достойно бека; они уже раскаивались, что открыли скатерть. Чувствуя неловкость, Кадир низко опустил голову над едой. Бебир бек, не желая мешать трапезе супругов, молчал, порой насвистывал, а то, вытащив из-за голенища плетку, хлопал ею по сапогу, что, по-видимому, доставляло ему удовольствие.

Известно, что наши женщины стесняются при гостях есть и даже открывать рот. Гумри отошла к двери и, взяв ребенка на руки, села, отвернувшись к стене.

Кадир ел один; ему было неловко, и он спешил поскорее кончить и встать.

В то же время любезное посещение Бебир бека очень льстило ему.

«Дай бог ему здоровья! - думал он. - Входит в положение крестьянина. Виданное ли дело, царь и бог всей деревни, такой большой человек пришел в гости к такому бедному батраку, как я, да еще справляется о моем здоровье. Говорят, таким был покойный шах Аббас, да будет ему рай убежищем: переодевшись, обходил дома своих подданных...»

И в то же время Кадира брал страх.

— Эй, жена, — говорил он после ухода бека, если не говорить о худом, не будет и доброго. Может, Бебир беку донесли, что, мол, так и так, Кадир происходит из рода, который посылал хлеб Гатыр-Мамеду? : И поэтому старшина ведет тайно разведку?

Перепугалась и Гумри. Ей тоже сердце вещало что-то недоброе, мерещились всякие страхи.

— Так что же нам делать?.. Как быть?.. О господи! ..

Чтобы успокоить встревоженную подругу, Кадир скрыл свои сомнения и, раскаявшись в том, что проговорился, поспешил сказать:

— Не будь душой! Бебир бек этого не сделает. Нет, не сделает. Ни за что не сделает... Ведь сколько времени, как арестовали Бандали. Тогда же и нас бы забрали... Даже не думай об этом... Клянусь жизнью, он этого не сделает... И, наконец, если не дай бог дело дойдет до этого, так я, приладив лапти, одним махом дойду до самого Шейх-уль-ислама! Повидаюсь в городе с важными людьми, скажу - какое, дескать, нам дело до Гатыр-Мамеда? Каждый за себя отвечает. За все двадцать пять лет, что я живу в этой деревне, я никому не причинил вреда, никого не обидел, не оскорбил. Слова тяжелее цветка никому не сказал. С властями никогда дела не имел. Недаром ведь Джаваир-ханум еще и теперь уговаривает меня: брось, говорит, все, иди к нам работать. Кому и что я сделал? Я - батрак, знаю свое место. Что мне до Гатыр-Мамеда?.. Зачем мне в драку лезть?..

Кадиру были приятны эти рассуждения. Он с улыбкой посмотрел на Гумри, ожидая ее ответа. Та сидела у очага, чем-то занятая.

— Не говори так! - возразила она разумно, как опытный мужчина. — Людей трудно узнать. Кто поймет, что делается кругом? Испортился народ, все готовы съесть друг друга! Такого молодца, как Бандали...

Гумри кинула взгляд на окно, на дверь, прислушалась к тишине и шепотом закончила:

- Кто мог подумать, что расстреляют такого молодца, как Бандали... Несчастливая мать до сих пор еще проливает слезы. О боже, пожалей нас! Чего только мы не испытали!..

— Что ты болтаешь, жена! Бандали убит по велению Николая. Он задевал Николая. Теперь другое время. У власти стоят мусульмане. Глупая ты, глупая! Зачем же они станут убивать своего же? Наоборот, они дают мусульманам оружие, учат

воевать. Прошли те времена! Теперь Азербайджан наш! Разве не видишь ты наших офицеров, что скачут на конях? .. Эх, нынче совсем другие порядки, и ты зря боишься, Гумри!..

После этой беседы Кадир готов был принимать Бебир бека с еще большей охотой и радушием. Он не пропускал случая с гордостью рассказать о дружбе с Бебир беком и, кого бы ни встретил, о чем бы ни начинал разговор, неизменно переводил речь на Бебир бека - младшего бога деревни.

— Да... Кстати, насчет войны... Вчера Бебир бек говорил у нас, что..

Когда Бебир бек пришел к ним во второй раз, Кадир уже не так волновался. Это почувствовал и сам бек. Выколавшая трубку, он кинул на Кадира пронзительный взгляд. Оттопырив морщинистые, похожие на горло бурдюка, потемневшие губы, он сплюнул через щель от выпавшего зуба и спросил:

— Кадир, сколько за тобой остается подушного налога?

Гумри принесла давно не луженный, старенький тазик и поставила в угол возле бека.

— Бек, пожалуйста, будь добр, плюй вот сюда, - сказала она, пристально оглядев его из-под черной чадры.

«Хоть он и бек, но чтоб ему провалиться! Экий противный какой: подбородок - как лопата, нос - ручка ножа, бороду будто заяц пощипал, усы висят, точно крысиные хвостики, кожа на лице блестит, как будто ее ошпарили кипятком, на щеке язва, морщины вдоль и поперек. Не приведи аллах! Таких у нас называют: «Из ада без пропуска удрал! ..»

И вдруг Гумри обуял ужас: а что, если шейтан шепнет об этом на ухо беку? .. Вот будет тогда история! ..

Затряслась Гумри, забилося у нее сердце, разболелась голова, щеки покрылись румянцем. Хорошо, что человек хоть думать может безнаказанно! Хорошо, что чиновники не догадываются об этом, иначе обложили бы налогом.

Неожиданный вопрос Бебир бека поразил Кадира.

— Сколько за тобой подушного налога?

Скажи на милость, что это еще за налог? И месяца нет, как они продали перекупщику палас с разноцветными узорами - приданое Гумри. Разве не пошли все эти деньги, до копейки, в ладонь старшины? Не тот ли это налог, который взыскивали с них в том же размере, что и с Гаджи Гусейна? Когда они жаловались, старшина «разъяснял»:

— Эй, мусульмане, знайте, что правительство ислама еще молодо, ново, и сил у него еще мало. Вы должны поддержать его, оказать ему помощь. Когда же оно окрепнет, то ничего не будет брать с бедняков, даже налога. Но ислам пока еще слаб. Мы должны дать все, что можем. Видите: в городах знатные, богатые люди миллионы жертвуют в пользу ислама. Шуточное ли дело? Вот Гаджи Гасан пожертвовал пару быков, Гаджи Али уступил под канцелярию собственный дом, ахунд Мир Якуб во имя веры читает проповеди по деревням и ни копейки не берет за это... Все понимают, что время такое, когда надо жертвовать. Ведь и у правительства есть друзья, есть и враги...

От вопроса бека у Кадира пересохло в горле. Он выпрямил спину и растерянно посмотрел на ту часть хижины, где зиял голый земляной пол.

— Какого налога, бек? По - моему, не должно было ничего остаться. Дней двадцать или месяц, как я заплатил все сполна. Да, да, я хорошо помню, что не должно было остаться. То, что требуется по закону, мы обязаны платить и платим.

Говоря это, он встал, достал с ниши сверток с бумагами и, развязав, положил их перед Бебир беком.

— Вот, пожалуйста, бек, посмотрите и убедитесь, что мы все уплатили.

Бек кинул на бумаги небрежный взгляд и милостиво сказал:

— Да нет, ничего. Я просто к слову сказал. У вас действительно все уплачено. - И, посмотрев на него с улыбкой, добавил: - Почему тебя так удивил мой вопрос, Кадир? Не перевернулся

же свет оттого, что я спросил? Чего ты встревожился, да сохрани аллах твой дом! Разве не мы там сидим? Не мы делами ворочаем? ..

— Верно изволите говорить, бек, только у меня чуть сердце не разорвалось.

— Николаевские канцелярии выжали из вас все соки, заронили в ваши сердца страх. Вы еще не знаете, что значит свое исламское правительство.

— А нам не все ли равно, бек, что Николай, что Аляс бек? Кто будет ослом, тому мы и будем седлом.

Слова Кадира не понравились беку.

— Вот это и губит мусульман, - стал горячиться бек. - Что значит «все равно»? Почему ты говоришь такой вздор? Что общего между каким-то Вартазаром, Иваном и Насиб беком¹, Аляс беком? С ума ты спятил, что ли? В тебе совсем нет мусульманской крови! ..

Нет же... Вы правду изволили говорить, бек. Верно, что с тех пор, как мы себя помним, мы видели своими начальниками сыновей Гасанали, Гаджи Гусейна и вот еще вас. Ведь и раньше здесь не было русских или армянских правителей. Мы, беднота, то есть, всегда были на поводу у вас. И кнут, и печать мы всегда видели в ваших руках.

— Почему ты упоминаешь меня?.. Нельзя же доверять каждому человеку. Я не в счет. Нам мусульманское правительство вот как нужно. Ты человек темный, тебе трудно понять это. Но мы должны день и ночь думать об этом.

— Так вы, бек, изволили сказать, что у нас все уплачено, не правда ли?

— Гм... Я так себе спросил, а ты уж испугался?

Такое простое обхождение бека смутило Кадира, и он стал благодарить его.

— Нет, бек! Да не лишит меня аллах покровительства таких

¹ Насиб-бек Усуб беков - глава мусаватского правительства.

людей, как вы. Правительство - это пастух над народом. Конечно, наш долг жертвовать имуществом, жизнью, всем, что только у нас есть. Почему не дать, если есть? Состояние вещь хорошая. А бедности я и врагу не пожелаю! Бедность, с вашего позволения, хуже собачьей жизни...

— Ты сам виноват... - прервал его Бебир бек.

— Как так?

— Да, да, виноват ты сам!

— Но как же, бек?

— А вот так. Ты, может, думаешь, что аллах сам принесет добро и высыпет в трубу твоего дома? Кто слушает старших, тот, поверь, будет богат.

— Я ли не был послушен?

— Да, ты!

— Я, я?

— Да, да, именно ты!

— Когда же случилось, чтоб я ослушался вас? Нет, бек, как я посмею? Я слуга и обязан слушаться. Почему вы так говорите?

— А вот, если б ты слушался меня, ты тоже вышел бы в люди.

— Клянусь этим хлебом, пусть я ослепну, если когда-либо я ослушался вас! Я молча выполнял все, что приказывали власти. Клянусь единым аллахом, пусть это добро лишит меня зрения, если я говорю неправду! ..

При словах «это добро» Кадир отломил кусочек ячменной лепешки и бросил на землю. Гумри подняла его, поцеловала и положила на скатерть.

Бек отошел от окна и хотел сесть у очага.

— Пожалуйста, поближе, еще ближе! - попросил Кадир. - В комнате дует и сыро, еще простудитесь.

И он окинул взглядом стену, в которой когда-то снарядом была пробита брешь, впоследствии заложённая камнями, но не обмазанная. Через эту стену проникала свежесть, а по ночам в комнате просто бывало холодно.

Бибир бек подложил под локоть подушку. Свет очага падал ему на лицо. Обычно его рот открывался и закрывался с таким трудом, точно это были заржавленные клещи. Но сейчас речь его лилась гладко.

— Слушай, Кадир, что я говорю, и ты, Гумри, - моя сестра. Говорят: «бедняк не имеет головы». И это правда. Ей-богу, правда! Возьмем, к примеру, хоть тебя самого. Недавно я позвал тебя и сказал: «Послушай, трудно тебе, дай я тебя устрою на службу. Есть кусок хлеба? Почему его должен кушать другой, а не ты?» А что ты, простофиля, ответил на это? Не зря ведь говорят, что, когда дверь в погреб открыта, собаку клонит ко сну.

Кадир отошел и прислонился к стене. Смущенно слушал Бибир бека. Ему нечего было ответить на справедливые упреки, и он виновато опустил голову.

Бибир бек продолжал:

— Я хочу, чтоб ты устроился. А то вот сыновья Гасанали без конца ходят. Каждый день я под тем или иным предлогом выпроваживаю их. Не хочу устраивать, не по душе они мне. Но для тебя я готов, потому что ты человек смирный, послушный, работяга. Теперь к тому же пристав со мной очень считается. Не бывает дня, чтоб не прислал ко мне за тем или иным делом. Недавно вызывает меня к себе, папиросами угощает. «Если услышу, говорит, что без меня ходишь на охоту, смотри! ...»

Эти слова бек произнес не просто, а как-то торжественно, как нечто особенно важное. Потом окинул Кадира и Гумри многозначительным взглядом и повысил голос:

— Ведь любя говорит это... А почему не говорит того же навагинцам, караджаамирлинцам, серкярцам? Не говорит и не может сказать? Разве он не разбирается в людях? Не шутка ведь, сколько лет на николаевской службе спину гнул! Я хочу помочь тем, у кого нет поддержки. Мне больно видеть такого молодца, как ты, в подобном положении. Разве плохое дело - богатство? Вот, к примеру, сидим мы у тебя, почему бы и тебе не быть зажиточным?

Почему, раз я готов помочь тебе? Кого же, как не тебя, мне устраивать? Только сам ты чего-то увиливаешь... В лицо тебе говорю, никудышный ты человек!...

Гумри задвигалась в радостном волнении и сердилась, что муж до сих пор не слушал своего доброжелателя.

— Правду изволишь говорить, бек! - вмешалась она в разговор. Если б он соображал, разве оказался бы в таком положении? Ведь вся деревня о том лишь и мечтает, как бы удостоиться разговора с беком, сказать ему о своих нуждах. Один только он - мямля и больше ничего...

Бибир бек выпрямился и, повернувшись к Гумри, начал еще сердечнее:

— Сестрица Гумри! Теперь ты все знаешь. Давеча я сказал: раз я за вас, значит дело в наших собственных руках. Во главе правительства стоят мусульмане. Вот говорят: «свобода». А что значит свобода? Это мы сами, говоря просто, мы сами. Кого хочешь - свалю, кого хочешь - подыму. Все в наших руках. В городе меня настолько уважают, что, если я все село потоплю, ни один человек не скажет, зачем я это сделал. Потому что на все я право имею.

Вдруг бек почувствовал жажду и, оглядевшись по сторонам, обратился к Кадиру:

Кадир, дай-ка напиться. Да... так что я говорил? Каждый старается урвать что-нибудь. Сто тысяч уже и за деньги не считают.

Он не договорил, ударил в ладоши и смолк.

Потом, точно вспомнив что-то важное, продолжал:

— Поймите, больно мне, жжет это меня! Да и как не больно, когда молодой, неглупый, здоровый парень не идет на службу, а батрачит у чужих!

Бек переменял тон.

— Я не говорю, что не надо батрачить. Это тоже нужно. Мы сами служим его светлости, господину Насиб беку. Прошу в честь его встать...

Он, пыхтя и сопя, приподнял свою грузную, как тяжелый мешок, тушу и снова опустился на тюфячок. Кадир с Гумри тоже встали. Для них это было новостью. До сих пор они знали, что нужно вставать при упоминании лишь одного имени — Сахибаззаман¹. А тут оказывалось, что Сахибаззаман не один, что есть еще человек, подобный ему, — Насиб бек.

Почтение, оказанное Насиб беку, не прошло без отклика. Не успел бек опуститься на место, как во дворе залаяли собаки.

— Да, продолжал бек, мы сами слуги этих высоких особ, а они - гордость и слава нации. Но слуга слуге рознь. Раз я у власти, почему бы Кадиру не служить? Зря, совсем зря! Служба или убьет человека, или оживит. Если будешь служить исламу честно, всем сердцем, то весь твой род будет благоденствовать. Вспомните, с какими почестями повезли в Баку Сары, что одним выстрелом убил семерых армян. Насиб бек дал ему золотую медаль, за ним по пятам ходят, словно дворняжки, двое полицейских. Чего еще тебе? Правительство Азербайджана в руках истинных мусульман шариата Магомеда. Увидишь, не сегодня-завтра, мы армян по свету развеем. Почему бы тебе не служить? ..

Перед Кадиром открылся путь к счастью. Он не в состоянии был выразить словами свою радость. Забыв свой ежедневный тяжелый, нищенски оплачиваемый труд, он почувствовал себя избавленным от нужды, кабального труда и горя. При мысли об ожидавших его счастливых днях у него потекли слюнки. Он принялся целовать свою дочку Фахиру.

В эту ночь он заснул веселым.

Это было год назад, в это самое время.

Народ собрался в мечети. Обсуждали вопрос о призыве в аскеры. Молла, носивший повязку на губе, говорил о джахаде. Его слова произвели огромное впечатление на присутствующих. Потом говорили те, которые были полны готовности идти в войска. Гаджи

¹Сахибаззаман - последний из двенадцати имамов по имени Мехти. По верованию фанатиков, он скрылся в вечность и должен появиться, когда найдет это нужным. Сравните со вторым пришествием Христа.

Гусейн, лысый Аббас, толстый Мешади Мамед и Гамид были завербованы в аскеры за деньги.

Али Багир - оглы был привязан к столбу перед канцелярией. Стражники, ставшие по обе стороны от него, били его так, словно сбивали шерсть. Старшина кричал во всю глотку:

— Бей, бей его, бей!.. Бей собачьего сына, чтоб он поумнел! ..

По мере того как ивовые прутья ломались, полицейские доставляли новые. Избиваемый кричал: «Умираю!..» На его вопли прибежала старуха Мелек и бросилась к нему. Полицейские стали избивать старуху вместе с Багир-оглы.

— Имейте совесть, чада мои! - слышался голос моллы с повязкой. — В чем провинилась эта женщина?

Это тяжелое зрелище сильно напугало Кадира, который не решался показаться кому-либо на глаза. Думал, может, и его зовут на такую службу. Он бы не вынес этого, он и вола неспособен ударить. Поражался: неужели эти крики и вопли не трогают сердца людей? ..

Бек тоже был в плохом настроении. Он хмурил брови. Кадир повернулся и пошел к садам не оглядываясь, медленным шагом. Его нагнал Агабала, по кличке «Бездельник».

— Куда ты?

— Домой иду.

— Старшина говорит, чего увливаешь?

— Как, то есть?

— Поворачивай! Какой еще дом? Благодарю, если живым останешься, а ты еще домой собрался? Иди, тебя зовут!

Сердце Кадира затрепетало, как лист мяты. Он понял, что не к добру его зовут. В то же время подумал: «А может, ничего нет страшного? В чем я провинился, чтобы меня били?»

Едва они дошли, как Кадира окружили полицейские. Он не успел и пикнуть, как его повалили наземь и, приподняв ноги, крепко привязали их к длинной палке. Веревки резали ему икры, пятки ждали ударов. Перед ним стоял человек в черной, мохнатой

папахе; он точно съесть хотел Кадира глазами; схватив пучок розог, взмахнул рукой, как если бы собрался рубить дрова. Ужас охватил Кадира. Закрыв глаза, он закричал:

— Эй, мусульмане, пощадите!.. В чем я провинился? Барин! Барин, пощади!..

— Стой, — слышался чей-то голос.

Это был старшина.

Обратившись к почетным, он сказал:

— Господа! Он виновен перед честью нации, не пошел в аскеры; дадим ему месяц отсрочки; я беру его на поруки, если он не выполнит своего долга, я совестью клянусь... Сам его приведу и представлю суду...

Почетные, не знавшие, за что Кадир должен быть наказан, тотчас же согласились со старшиной:

— Ладно, согласны!..

Хоть и освободили Кадира, но он был опозорен. Первый раз в жизни он лежал перед толпой, связанный по рукам и ногам. Страхнув с одежды пыль, он хотел улизнуть через двор канцелярии, но Бездельник схватил его за полу:

— Ах ты, шельма! Отделался! А ну, покажи себя!.. Кадир остановился.

— Как, то есть? с недоумением спросил он.

— Не прикидывайся, лиса!

Кадир не мог понять, что от него хотят.

— Ну, опусти руку в карман, — с полной откровенностью проговорил Бездельник.

В кармане у Кадира были лишь крошки хлеба и обрывок веревки. Ему стало стыдно. Хотел было обещать что-нибудь, но, услышав вдруг свое имя, обернулся. Бебир бек знаком подозвал его. Перепуганный Кадир подбежал к беку.

— Небось струсил? — с улыбкой спросил бек. — Будь мужчиной! На службе такие случаи нередки. Я хотел посмотреть, выдержишь ли ты? Завтра попадешь в руки врага, — он и бить и

истязать тебя будет, а ты выдержишь ли? Сумеешь ли не выдать тайны нации? Ничего, привыкнешь! Помаленечку, потихонечку.

Потом, переменив тон, продолжал:

— Почему ты пришел с пустыми руками?

Эх ты, простофиля! Поступаешь на государственную службу, будешь одним из пяти важных людей на селе. Это ведь не шутка! А приходишь ни с чем! .. Не годится забывать о своих обязанностях.

Кадир понял свою оплошность.

— Слушаюсь! — сказал он и поспешил домой.

Он долго советовался с Гумри. Занять у кого-нибудь? Но у кого? Продать что-нибудь? Но что же? Пришлось заложить избу Гаджи Гусейну. За четыреста рублей он купил у охранника Мешали Алекбера берданку с пятьюдесятью патронами. Удивительная вещь это оружие! Только взял он ружье в руки, как тотчас же почувствовал, какая кроется сила в этой чертовщине. Взыграло сердце, захотелось действовать, повернуть ружье против врага, щелкнуть курком.

«Как это здорово, черт возьми! ..»

Кадир пошел к беку. Тот осмотрел ружье, сказал:

— Недурное, — и, поставив его к стене, спросил: — Почему же ты с пустыми руками? Эх, парень! Ведь на службу поступаешь, будешь один из пяти почетных лиц на селе!..

— Купил же! — сказал Кадир, не понимая бека.. У Мешади Алекбера купил, мое ружье! .. Бек покачал головой, махнул рукой:

— Эх! Ну, что с тобой сделаешь? Я-то ничего, обещал устроить тебя, ты свой человек, от тебя мне ничего не надо. Но с каким лицом ты явишься к приставу? Сыновья Гасанали, сын Гаджи Гусейна то и дело приходят ко мне, просят устроить их. Но я берег службу для тебя.

— Бек, они ведь занимают большой пост на вокзале?

— Это ничего не значит! Без нас им не обойтись. Будь уверен, от беготни...

— Бек, Мешади Алекбер говорит, будто и старшина от них зависит...

Бек побагровел от гнева, обвел глазами вокруг.

— Вздор он говорит, а ты повторяешь! ..

Кадир промолчал. Взглянул на дымившийся окурок папиросы, валявшийся на земле. Слегка наклонившись к Кадиру, бек прошептал:

— Пусть это останется между нами. Дело это казенное!

И, повысив голос, продолжал прерванную речь:

— От беготни взад и вперед они набили себе мозоли. Ты посмотри: кто деньги приносит, кто буйволицу обещает. Но их гонят с порога. А ты хочешь оскандалить меня перед зрителями? Нельзя же так, это ведь присутственное место, не игрушка!

Кадиру стало страшно неловко. Только теперь он понял слова старшины. Совершенно растерянный побрел домой. Исчезло все воодушевление. Он слабел, точно раненая птица.

Гумри возвращалась из лесу, куда ходила за дровами. Хоть она и заметила состояние мужа, но ничего не сказала. Уложив ребенка, прикорнула в углу.

Кадир почувствовал, что произошло что-то недоброе.

— Ты даже не спрашиваешь, что сказал старшина?

— А - я ждала, когда сам расскажешь.

— Ну и пройдоха этот старшина.

Гумри продолжала молчать. Кадир прислушался она плакала. Он встал, взял ее за руку, привлек к себе, вытер ей глаза, спросил, чем она огорчена.

В лесу есть место, называемое «Ганлы-дере» — Кровавая долина. Зимой там валяется много сухого валежника. Гумри его собирала и приносила домой: из хороших веток делала вязанки и отдавала соседям в обмен на хлеб, а ветки поплотнее жгла сама. Сегодня лесничий застал Гумри в лесу, приказал сбросить собранный валежник и, обругав, прогнал ее.

Рассказ жены еще больше расстроил Кадира, но он принялся утешать Гумри.

— Не беда, — сказал он, — не ходи больше. Небось не помрем с голоду, если не будешь собирать хворост! Стоит ли плакать из-за этого? Пусть он подавится им! Не дают бедняку возможности жить!.. Разве не знаешь этих злодеев? И нечего плакать! Перестань, глупенькая!

Насчет своего разговора со старшиной Кадир пока промолчал. Только вечером, когда Гумри несколько успокоилась, Кадир рассказал ей все. Эта новость очень расстроила Гумри. Знай они раньше, что будет так, не согласились бы на такую службу, и двора бы не заложили...

Некоторое время они молчали. При тусклом свете семилинейной лампы муж и жена смотрели друг на друга; в их взглядах были страх и недоумение.

Думали, может, отказаться от мысли о службе? Но ведь жить-то надо! Забота о куске хлеба беспокоила Гумри больше, чем Кадира. Человек живет надеждой. Говорят, через ров, ведущий к счастью, легко перепрыгнуть. Сколько ни толковали, но отказаться от так долго лелеемой надежды на службу не могли.

Решили не останавливаться на полдороге. От матери Гумри осталась память — бархатный архалук. Они решили продать этот архалук и тканый верх одеяла. Чтобы несколько развлечь Гумри, Кадир стал говорить о будущих радостных днях.

— Эх, жена, не расстраивайся, все вернется нам сторицей! Все это преходяще, потерпи. Ничего: бог даст, на службе все наверстаем. Что такое архалук? Я тебе бархатное платье куплю!

По совету Бебир бека, Кадир купил для пристава часы. Передать их приставу взялся сам старшина. Когда Кадир получил бумагу о назначении на службу и положил ее в карман, ему показалось, что весь свет принадлежит ему. Он глубоко вздохнул: казалось, все свои боли и тревоги разом выдохнул из груди, словно табачный дым.

— Слава тебе, аллах!..

РАССТАВАНИЕ

Кадир был назначен в Хачбулах караульным к начальнику.

Передавая приказ, Бебир бек дал Кадиру обстоятельное и подробное наставление, как он должен вести себя: хотя всего, что ему говорилось, Кадир не понял и не запомнил, но главное в словах старшины уловил; выходило, что Кадир всю жизнь должен чувствовать себя обязанным своему благодетелю Бебир беку и службу свою нести со всем усердием, чтобы беку не пришлось краснеть за него перед приставом.

В субботу Кадир должен был быть уже на месте, но Гумри не соглашалась отпускать его.

— Либо, — говорила она, — брось эту службу, либо возьми и меня с собою. Я не могу жить без тебя.

Кадир вполне понимал ее: ведь в этой деревне у нее не было никого из родных. Единственный, кто навещал их в трудные дни и спрашивал об их житье - бытье, был Мешади Ислам, такой же бедняк и неудачник, как и Кадир. Нужда заставляла его бродить в поисках работы из деревни в деревню, то батрачить, пахать и косить, то нарезать кирпичи. Из-за этого друзья не могли чаще встречаться и делиться горем.

Кадир подумал было взять Гумри с собою. Но это было очень трудно; к тому же переезд всей семьи в горы был сопряжен с большими расходами; да и, кто знает, можно ли будет в горах найти помещение для семьи?

Кадир пошел посоветоваться с беком. Когда бек услышал о его желании взять с собою семью, его передернуло. Он побледнел, смутился, стал заикаться. Положив на место печать, он встал и вместе с Кадиром пошел к нему.

— Что это еще за вздорные выдумки? Кто это говорит? Слыханное ли дело? Ты от нашего села идешь на службу. И если твоя семья не останется здесь, никто тебе ни на столечко не поверит! Будешь молодцом, если там, куда ты едешь, хоть для себя найдешь угол. Семья?.. Брось, брось эту мысль! Сестрица Гумри, — обратился он к

жене Кадира, — смотри, нигде об этом не проговорись, а то будут смеяться над вами. С таким трудом удалось выпросить место для Кадира! Да если пристав узнает, что он едет с семьей, близко его к себе не подпустит!

Затем бек повернулся к Кадиру и уставился ему в лицо, желая проверить воздействие своих слов.

— Ты слышал, Кадир, что я сказал?

— Слышал, бек.

— И понял?

— Понял, бек!..

Ранним утром, когда из за дальних гор еще не показывалось? солнце и даже пахарей не было видно, по пыльной проселочной дороге шли два путника; шли они медленно и часто оборачивались назад, словно были изгнаны из деревни.

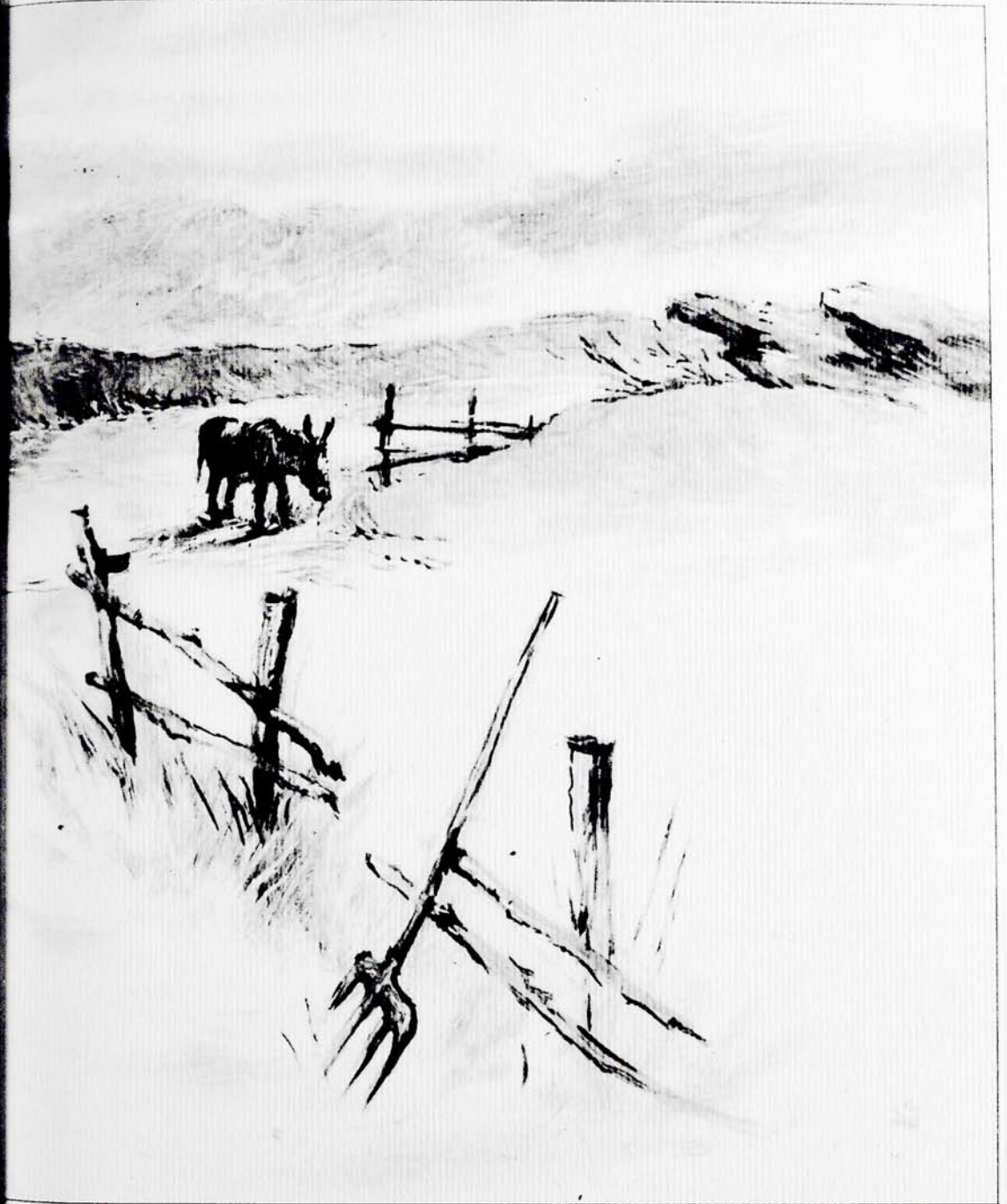
Не обращая внимания на свою невинно улыбающуюся и агукающую крошку, Гумри смотрела на уходившую к горам, извивавшуюся между скал и кустарников и терявшуюся где-то вдаль дорогу и думала о печальной, темной судьбе, ожидавшей ее возлюбленного.

Она оставалась в деревне одна, без всяких средств. После смерти матери, которая умерла от тифа в годы мировой войны, Гумри нашла утешение в Кадире, таком же бобыле, как и сама. Но и тут жизнь обидела ее: она провожала его на службу в далекие, опасные края.

Оглядываясь на покрытые цветами поля и вдыхая полный благоуханий весенний воздух, Кадир тяжело вздыхал.

«Я ухожу. Но как тяжела мне эта разлука! Из-за куска хлеба я вынужден покинуть семью, свою милую крошку. Что делать, так уж сложилась наша жизнь! Но, может, и нам улыбнется счастье! Не печалься же!» — так говорил Кадир про себя, боясь выразить вслух свои мысли.

Глаза Гумри были полны слез, мысли отуманены. Кадир не хотел видеть ее плачущей. Он то и дело целовал Фахиру, улыбающуюся на руках матери, и мысленно поручал их друг другу.



Если не было бы роз,
Их не трогал бы мороз.
Если б смерти и разлуки.
Пережить нам не пришлось!¹

Они медленно шагали по дороге, погруженные в мрачные мысли, и под монотонный шум их шагов рассеивалась темнота, бледнел горизонт.

Когда настало утро, они порядочно отделились от села. Сквозь только что распутившиеся деревья и свисавшие ветки ивы были видны дымившие трубы крестьянских изб. Слышно было пение петухов.

Выйдя на дорогу к вокзалу, Гумри присела у подошвы Песчаного холма, около давно заброшенного колодца, наполненного камнями и песком.

Здесь им предстояло проститься. Кадиру тяжело было уходить, Гумри же не хватало сил возвращаться.

КаDIR оглянулся назад, мысленно прощаясь с родным селом, где протекла его молодость, где в течение двадцати пяти лет было пережито так много горя и так мало радостей! С сожалением и горечью смотрел он на сады, поля, леса, на сиротливо прижавшиеся друг к другу избы, на убегающие вдаль дороги и мысленно перебирал безрадостные страницы своего печального детства.

Теперь ради темного, неизвестного будущего он должен был покинуть все это. Что его ждет впереди? Может, ему не суждено больше вернуться назад. Увидит ли он еще раз восход и заход солнца на родине? Может быть, солнце, ежедневно проходящее, как жизненный караван, над селом, почувствует пустоту в его дворе, созданную его уходом?..

— Счастливого пути!

Напутственные слова Гумри еще больше взволновали Кадира. Он с трудом отогнал нахлынувшие на него бесконечные воспоминания и

¹Перевод Константина Симонова

только мог прошептать:

— Счастливо оставаться, Гумри! Береги Фахиру!.. Не заставляй ее плакать!..

Гумри низко опустила глаза, чтобы не выдать слез.

— Не беспокойся, КаDIR! — тихо прошептала она.

КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ

Был уже полдень, когда КаDIR дошел до Золотой скалы. Солнце немилосердно жгло. Идти пешком было невозможно. Он стал догонять аробщиков, которые везли продовольствие на яйлаг: один из них свистнул, и все оглянулись на Кадира.

— Эй, братцы, езжайте тише! — крикнул КаDIR.

Снова кто-то свистнул. Остальные еще раз оглянулись на Кадира. Молодые возчики, вскочив, хлестнули быков. Арбы понеслись вскачь.

КаDIR был изумлен. Потом догадался и оглядел себя: то, что при нем было ружье, не могло испугать их, так как почти все крестьяне имели ружья. Но он был одет в поношенную форму стражника, данную ему старшиной. Приняв его за полицейского, крестьяне отнеслись к нему с недоверием. Испугались, должно быть, чтобы он не придрался к ним и не отнял у них вещей. Поэтому они и поспешили ускакать, чтобы присоединиться к своим товарищам.

Стало ясно, что в этом костюме он не может рассчитывать ни на чье гостеприимство.

Свернув в сторону, КаDIR зашел за кусты граната и переоделся: снятую форму завернул в тулуп, рубаху надел наизнанку; в общем, стал похож на батрака, одетого в пестрое тряпье. В таком виде и пошел дальше...

— Бедный ты, бедный, — пожалели его угольщики. — Можно ли пешком проделать этаким путем?

И позволили ему сесть на мула.

По мере того, как они подымались в гору, дорога становилась все круче, местность все гористее, а город и низменность точно уходили вниз.

От оврага Гамарлы к вершине горы вела зигзагообразная тропинка, охватывавшая гору, как белый пояс, и постепенно подымавшаяся кверху. Вечнозеленые деревья, дубы и кусты граната, росшие по краям дороги, только что распускались, образуя над дорогой изумрудный свод. Схватившись одной рукой за гриву мула, Кадир другою трогал ветки, покрытые молодыми листьями. Его мул, протягивая губы, схватывал зеленые ветки, но, почувствовав колючие иглы, отпускал их.

Кадиру никогда не приходилось бывать на этих яйлагах. Поэтому все вызывало в нем удивление и наполняло его восхищением. Погонщики — угольщики рассказывали страшные истории о том, как на этих дорогах опрокидывались арбы, как люди летели в пропасть. Как, должно быть, в самом деле рискованно ехать на арбе по такой узкой, как лента, дороге! Перегнувшись, Кадир заглянул в пропасть.

Один из погонщиков с большим чувством запел:

У ашуга есть беда
— Разлучен он навсегда.
Дня разлуки не терпел он,
— Разлучили на года¹.

Это был молодой, живой парень по имени Абуш: по высоким разноцветным носкам и по красивым тесемкам его чарыхов можно было заключить, что он любимый сын у матери. Он ехал впереди всех: когда встречалась вода, грязь или овраг, он предупреждал

¹Перевод Константина Симонова

остальных. Его сочный, чистый и приятный голос восхищал Кадира.

Пробуждающаяся природа, леса, горы и пропасти отвечали ему эхом. Каждый куплет своей песни он заключал таким припевом:

Прощайте, туманные горы!
Мой просит язык, умоляет,
А сердце все плачет, рыдает,
И кровью оно истекает!..

Кадир еще раз посмотрел вниз. Какая ужасная бездна! Казалось, все реки, питающие океаны, прошли здесь. Будто это была обнаженная часть земли, на которой возвышались голые, высокие серые скалы, сверкающие и страшные!..

Где-то, в глубине пропасти, из густого мрака блестит что-то, опережая лучи, но воды не видно. Меж скал, играя, летают птицы, то скрываясь в кустах, то снова появляясь. Протекающие через лес ручьи, блестя в зелени, как серебро, исчезают под скалами. Немного выше, по краям дороги, высятся засохшие, но жаждущие жизни кусты. Под ними кое-где подымает головку ароматная фиалка, точно поздравляет путников с наступлением весны.

Дорога, все время подымаясь, привела путников на открытую поляну. Отсюда на долину и город, раскинувшиеся внизу, смотришь точно с самолета. Здесь дышишь чистым, прохладным воздухом гор, напоенным ароматом, и представляешь себе низменность кипящим котлом, окутанным дымом, жаром и пылью.

Нельзя было разобрать ничего, только Кура, блестящим лезвием разрезавшая низменность пополам, терялась вдали. Лишенные растительности холмы по берегам реки казались песчаными холмиками, насыпанными детьми. Поезда, по временам пронесившиеся по зеленеющим полям, напоминали банного истопника, бегущего с дымящей головней, чтобы еще больше

разжечь этот мир, и так уже согретый весной.

На перевале погонщики остановились и пустили мулов попасть в лесу.

Совершенно разбитый от езды, Кадир прилег на зеленую травку.

Один из погонщиков — толстый, с продолговатым лицом и белой бородой — так аппетитно поглощал творог с хлебом, точно это был мед с маслом. При этом он не отрывал от долины своих черных, узеньких глаз, похожих на обметанные черной ниткой петли.

— О, непостоянный мир! Было время, когда николаевский солдат чувствовал себя очень прочно в этих местах! А теперь где тот, кого называли Николаем?..

И он махнул рукой.

— Что за вопрос? — ответил ему другой погонщик, набивая трубку. Так бывает со всеми, кто осмеливается обстреливать из пушек гробницу Имама Ризы!¹ Да святится та сила, которая в одну минуту обратила в прах трехсотлетнего дракона с его царем Николаем!..

Парень, певший баяты, что-то ел, лежа на животе.

— И очень жаль, что так случилось, — пробурчал он с набитым ртом. — Подумаешь, осчастливили нас! Фунт монпасье — сто рублей. Керосина не найдешь, лампу осветить нечем. Брат брата не признает. Все точно взбесились, грызут друг друга. Каждый схватил берданку и засел за кустом. И больше всего достается бедняку, дом его разрушили, совсем разрушили. Легче дважды родить, чем выюк углей на базар доставить...

Белобородый старик поддержал его:

— Разве ты не слыхал, говорят: «Бойся хорошего, которое приходит на смену плохому». У женщины спросили: «Которым мужем ты больше довольна — первым или вторым?» — «Чтобы и на того и на другого перешли мои болезни!» — ответила она. Теперь

¹Имам Риза — чтимый мусульманами-шиитами имам, гробница которого находится в Мешхеде (Иран).

всякий норовит попользоваться за счет крестьянина, каждый лезет к нему с требованием: «Молчи и давай!»

— Подушный налог!

— Земельный налог!

— Военный налог!

— Одним словом: молчи, выкладывай!

Кадир прислушивался к их разговорам. Смотреть вниз, на долину не хватало сил. Чтобы несколько отвлечься от тоски по дорогим лицам, оставленным там, он лег на спину и стал любоваться плывшими по небу белыми, как снег, причудливыми облаками.

Двинулись дальше. Мужчина с белой бородой ехал рядом с Кадиром.

— Дальше ехать небезопасно, — говорил он, — разбойники пошаливают. Спрячь свое оружие под выюками, а то еще и нас подведешь.

Разобрав ружье, Кадир завернул его в попону и привязал к брюху мула.

На каждом шагу они ждали нападения разбойников.

Перевалили через три горные вершины. Одна из них, самая высокая, над которой парят орлы, напоминала заколдованную крепость, о которой рассказывается в сказках. Некоторые из этих скал, оттого ли, что в течение тысячелетий были свидетелями страшных событий, или от воздействия дождя и снега, блестели, точно отточенные ножи.

По обочине дороги валялись камни, из-под которых вылетали горные куропатки. Над головами путников, точно свистящие пули, проносились стаи турачей. В створе двух гор открывалась зеленая полянка, по которой протекал родник с холодной, как лед, вкусной водой. На крутых спусках путники спешили и вели мулов осторожно и медленно, с ужасом глядя вниз и поминутно призывая аллаха. Миновав спуск, они вздыхали с облегчением, радуясь, что

избегли встречи с грабителями. На подъемах они ускоряли шаги, с надеждой глядя вверх.

Приблизились к Джыр-Джыру. Это было, как говорили, самым страшным из всех ущелий. Вода в нем давно высохла. По преданию, здесь когда-то зарезали грудного младенца. Поэтому иссяк родник, а находившееся поблизости село пришло в разорение. Даже птицы покинули эти места, и ущелье стало убежищем змей и прочих гадов.

Проезжавших по этому ущелью путников охватывал трепет. Все умолкали и двигались, широко раскрыв глаза, ожидая всяких ужасов.

Путники притихли. Слышен был лишь стук копыт мулов, на который отзывалось горное эхо, такое гулкое, что, казалось, скалы, нет, не скалы, а сами небеса раскалывались, падали в адскую бездну.

Белобородый угольщик потушил свою трубку. Ехали вереницей, по два человека, теснясь друг к другу, как отара овец, боящихся нападения волка.

Белобородый, мигнув Кадиру, шепнул:

— Поезжай скорее!

Чтобы не шуметь, они не били мулов нагайкой, лишь прищипывали их пятками.

Приближался вечер. Нигде не было видно признаков жилья. Эта таинственная тишина еще больше усиливала тревожное состояние, путники боялись даже глотать слюну. Чем ниже спускались в ущелье, тем сильнее охватывал всех страх. Все пугало: из-за каждого куста и камня они ожидали появления врага.

По склону горы пробежал заяц. Над вершиной горы пролетали орлы.

Тени удлинялись, солнце собиралось скрыться. Путники пристально вглядывались в кусты, камни и затененные места.

Внизу, сквозь ветви низкого дуба, Кадиру показалась какая-то фигура, похожая на человека. Казалось, он смотрел на спускавшихся

людей, прикрыв рукою глаза. Кадир незаметно толкнул спутника ногой и прошептал:

— Человек!..

— Что ты? — вздрогнул старик.

— Вот стоит!..

Старик нахмурился и всмотрелся вперед: лицо его побледнело. Темная фигура продолжала стоять неподвижно, наблюдая за ехавшими. Вдруг снизу донесся грозный окрик:

— Ни с места!¹

Путники вздрогнули. У кого-то шарахнулся мул, упал с седла хурджин. Всмотрелись вперед: группа людей, одетых под цвет скал, прицеливалась в угольщиков. Их окрик прокатился в горах, оглушив, как удар молота по голове.

Больше всех был встревожен Кадир. Не знал, что делать. Погонщики остановились, подняли руки вверх. Последовал их пример и Кадир.

Окружив их, бандиты принялись за грабеж. Они говорили и действовали так быстро, что погонщики не могли прийти в себя.

— Раздевайтесь!¹

— Стой, не то убью!²

— Не шевелись!

— Я заставлю заплакать твою мать! — кричали они.

В этих грозных окриках грабителей, говоривших то по-армянски, то по-азербайджански, не все было понятно угольщикам.

У белобородого мужчины отобрали лезгинскую шаль, у Кадира тулуп, у молодого человека — папаху, чарыхи, узорчатые носки. Пошарили по карманам, нашли деньги. Один из нападавших, краснощекий брюнет, с волосами, падавшими на брови, почему-то отнесся к Кадиру с подозрением. Его пристальный взгляд бросил Кадира в дрожь.

— Кто ты?

Кадир сразу не нашелся, что ответить. Вспомнил завернутое в попону и спрятанное ружье. «Пропал, — думает, — узнают, что еду служить, и изрубят на куски!»

Хотел что-то сказать, но не мог пошевелить языком.

— Кум, он тоже угольщик, — вмешался белобородый, — ездил продавать выюк углей. Человек он не бывалый, ну и испугался...

Тот поверил ему. Грозя Кадиду пальцем, он сказал:

— Я не тронул тебя только потому, что ты не гянджинец! А им я головы отрублю! Пусть только случай подвернется!..

Белобородый мужчина сразу смекнул, в чем дело:

— Нет, кум, клянусь верой, он не гянджинец, он бедный человек: из-за куска хлеба потащился в город. Ты сам видишь, что у нас общего с гянджинцами? Клянусь верой...

Разбойники спустились вниз и скрылись за деревьями. Один, держа палец на курке, караулил путников, не позволяя им трогаться с места. После того как скрылись его товарищи, исчез и он.

Погонщики с облегчением вздохнули. О вещах не горевали: были рады, что живы остались. Приказ о назначении Кадира, удостоверение и некоторые другие нужные бумаги остались в кармане тулупа, унесенного разбойниками. Это вызвало у Кадира сильное беспокойство. У него в кармане рубашки сохранилась лишь бумага, выданная старшиной.

Было совершенно темно, когда они доехали до вершины горы. Каждый год в эту пору склоны этих гор покрывались палатками и кибитками кочевников. С тех пор как начались беспорядки, пропала вся прелесть кочевков. Приезжих было мало. То и дело происходили грабежи.

Из опасения ли потерять кочевки или боясь нападений, но в этом году начальство очень рано, задолго до подъема кочевников, раскинуло здесь палатки, устроило канцелярию, поставило стражу. Начальник должен был водворить здесь порядок и принять все

меры, чтобы положить конец бесчинствам.

Близко поставленные друг к другу полукругом, палатки походили на женщин в белых чадрах, сидящих в ожидании представления.

Над средней палаткой развевался синий флаг. Несмотря на траурный месяц Магеррам, из палатки доносилась музыка. По временам выходили мужчины с закрученными усами, в погонах, со шпорами.

По-видимому, это и было место, куда получил назначение на службу Кадир.

Он протиснулся с погонщиками. Совершенно разбитый ездой, он начал потирать колени, ходить взад и вперед, чтобы размять онемевшие ноги. Войти в палатки он не осмеливался. Шагах в двадцати от палаток были поставлены два столба с какой-то надписью. От этих столбов по зеленой траве была проведена белая черта, по-видимому обозначающая какую-то границу.

Кадир прислонил ружье к столбу. Темнота сгустилась, с трудом можно было разглядеть людей, изредка проходивших по дороге. Шум в палатках не стихал.

К Кадиду приближался незнакомый человек невысокого роста. Издали Кадиду показалось, что он танцует под музыку. Когда же подошел ближе, оказалось, что он хромает: человек направился к палатке.

— Дяденька, — окликнул его Кадир, мне нужно видеть начальника, у меня бумага к нему. Как мне найти его?..

Тот пристально посмотрел на Кадира и резко ответил:

— Невежа! Говорить надо не «дяденька», а «эфенди»! Что там еще за письмо у тебя, давай!

Это был сотрудник начальника по наружной части, принимал адресованные тому бумаги и всякие письма, доставляемые посыльными. За такого посыльного и принял он Кадира. Но тот сказал, что прислан сюда на службу, и передал бумагу. Человек

чихнул: Кадиру показалось, что он сделал это умышленно, чтобы посмеяться над ним, но потом заметил, что человек нюхает табак.

Сотрудник начальника взял бумагу и, прихрамывая, ушел.

Спустя некоторое время вернулся и сказал:

— Стой здесь и никого не пропускай. Ты назначен караульным. Понял?

— Слушаюсь!

Итак дело Кадира уладилось, он был уже няжххлпра щадилась, он был уже на службе. Радостная улыбка заиграла у него на лице.

Став между столбами, Кадир выпрямился и повернулся лицом к дороге. Он не знал, как нужно держать ружье: хотел взять на плечо, но вспомнил, что часовые не держат его так, и, взяв ружье обеими руками на перевес, начал ходить взад и вперед.

Низенький мужчина снова подошел к нему, ткнул кулаком в бок и, взяв за руку, подвел к столбу. Поставив ружье прикладом на землю, он велел Кадиру держать его правой рукой и ушел.

Кадир был и смущен и в то же время доволен. Теперь уж он стоял, как настоящий часовой.

Темнота сгущалась. Приятная прохлада дня сменилась резким холодом. Из освещенных палаток доносились беспорядочные крики и возгласы.

— Да здрав... Будь здоров!.. Эфенди, чокнемся!.. Еще, да еще! Еще!..

Крики сливались с громкими звуками музыки, образуя невероятный шум. Слышался хриплый женский смех и пронзительные вскрики. Нетрудно было догадаться, что кутившие мужчины, заигрывая с охмелевшими женщинами, щиплют или кусают их.

Весь поглощенный своей службой, Кадир рассеянно прислушивался к этим голосам. Его здесь никто не знал и не замечал. Чтобы завоевать себе сколько-нибудь сносное положение, ему надо было служить с полным усердием, отличиться.

Начальник и другие важные лица, проходя мимо него, будут присматриваться и, если он не понравится им, возьмут его за уши и выбросят вон: «Убирайся прочь, мужик!»

Одна эта мысль ужаснула Кадира, и он, вынув платок, вытер лицо, застегнул воротник и застыл на месте.

Кто-то шел по направлению к палатке, и когда приблизился, Кадир рассмотрел усатого человека, одетого в чоху с газырями, в золотистой бухарской папахе. Незнакомец хотел перешагнуть через начерченную на земле границу, но Кадир преградил ему путь.

— Нельзя! — повелительно сказал он, ударив прикладом берданки о землю.

Тот внимательно оглядел Кадира.

— Кто поставил здесь этого олуха?

— А вы кто?

— Я приближенный начальника. Мне можно пройти.

— Я ничего не знаю. Мне велено никого не пропускать!

— Но это ко мне не относится.

— Нет, и к вам относится, вы тоже похожи на человека.

Не успел Кадир закончить фразу, как у него загорелось ухо. Удар был так силен, что у Кадира потемнело в глазах: он зашатался, но кое-как овладел собой, устоял на месте. В нем заговорило самолюбие. Он даже не взглянул на своего обидчика. Не думая о последствиях, ни о чем не размышляя, ударил его прикладом в грудь. Тот перекувырнулся, папаху отлетела прочь, блеснула лысина, точно свежелуженая посуда.

— Спасите меня от этой собаки! Погибаю!.. вопил незнакомец, растянувшись на земле.

С этими словами он вытащил из ножен кинжал. На крики выбежал сотрудник начальника. Увидя его в таком положении, хлопнул себя по коленям:

— Что с тобой, Мешади Сулейман?

Тот вскочил, хотел наброситься на Кадира, но его удержали. Чтобы избежать лишнего шума, сотрудник разогнал прибежавших людей. Мешади Сулеймана под руки увели в палатку. Кадира потащили к начальнику.

А в палатке вино уже успело сделать свое дело. Все были пьяны и потеряли власть над собой.

Дамы в коротких шелковых платьях, обвешанные блестящими украшениями, разомлели настолько, что готовы были растаять воском в объятиях мужчин. Один из кутивших вместо дамы обнимал ее шляпу, другой валялся на полу под столом и никак не мог подняться.

Начальник оказался смуглым молодым человеком в золотых погонах. Он спал, прислонившись к стене. Ворту у него торчала кость от баранины, вложенная Сурейя-ханум. Врывавшийся в палатку ветер играл платьями женщин. Самой трезвой из всех присутствующих была болонка, самое любимое существо ханум. Черед был ее. Сидя во главе стола, она исправляла обязанности тамады; будучи сама трезвой, она с интересом оглядывала общество пьяных, то наостряя уши, то равнодушно их опуская. Порой она издавала звук, похожий на «хаф», потом начинала почему-то тихо визжать и вдруг неожиданно умолкала. Со стороны можно было подумать, что это милое существо давно мечтало о таком обществе, где не было порядка, и о таком столе без хозяина и теперь, дождавшись исполнения своей мечты, чувствует себя наверху блаженства.

Скандал с Мешади Сулейманом никого не отрезвил. Каждый, кого трясли за плечи, мычал:

— Хмм... кхе... и снова засыпал.

Будить же начальника никто не осмеливался.

Мешади Сулейман разозлился еще более и хотел уже уходить. Но сотрудник побежал за ним, пытаясь успокоить его.

— Мешади бек, будь уверен, что он будет наказан за нанесенное тебе оскорбление! Будь уверен.

За неумение обращаться с важными господами Кадира сняли с поста у палатки начальника и послали караулить пастбища, отобранные у армянских крестьян.

При этом ему сказали внушительно:

— Если не убьешь нескольких гяуров и не докажешь свою преданность нации, будешь уволен... и понесешь наказание.

— Эфенди, у меня кончился хлеб. И денег нет...

— Бери у крестьян, обойдись как-нибудь...

Кадир никак не мог понять, что значило это «как-нибудь».

Как требовать хлеба у бедного, погибающего от нужды крестьянина, который, с трудом собирая малую толику дров и мелких орехов или выжигая угли, не имеет возможности ни продать, ни променять их на хлеб?

Кадир положил ружье на землю и, скрестив руки, уставился на чиновника канцелярии.

— Что ж ты стал?

— Можно ли голодным идти в караул:

— Почему же голодным? Мало ли в реке камней?

Он позвал младшего сотрудника по наружной части:

— Сбегай к Аббасу, возьми хлеба, скажи — начальник требует. Бери побольше.

Два месяца и двадцать один день караулил Кадир пастбища. И все это время страх, тревога, неуверенность ни на минуту не покидали его. Он не мог понять, не мог объяснить себе, зачем он здесь, какую цель преследует и чем все это кончится. Тучи все более сгущались. Положение становилось все хуже и напряженнее. Народ был в смятении. Беспорядки усиливались. Совершенно потерявшее голову начальство каждую минуту давало новые распоряжения. Распространялись тревожные слухи.

Весть о поражении при крепости Аскеран разнеслась по всему яйлагу, повергнув всех в уныние, усилив растерянность.

Начались нападения на армянские села. Жгли, резали, разрушали. Дым от пожарищ застилал небо. С мулами и арбами спешили за награвленным. Неожданная добыча развлекала офицеров, подавленных было сообщениями о поражении на фронте. Делили добычу с азартом; из-за жемчужного ожерелья разругались друг с другом Салтанет и Сурейя-ханум, а начальник и штабной офицер чуть не подрались и не пустили в ход оружия.

В деревнях рассказывали, что, когда ссора была улажена, начальник, нежно обнимая офицера, говорил:

— Ах, душечка, что о нас подумают люди? Тут происходит национальная война, гибнет религия, а ты ссоришься из-за какого-то ожерелья! Разве не стыдно? Стыдно! Клянусь твоей жизнью, стыдно! Давай обещаем друг другу, что между нами таких передраг больше не будет! Давай поклянемся святым имамом! Чтобы ни ты, ни я! И всё! Конеч!..

В этот вечер, в виду тревожного положения, караульным были даны особенно строгие указания.

В горные аулы были посланы люди для сбора вооруженных крестьян. Во все стороны неслись верховые. Поговаривали о том, что ожидается наступление армян из соседних сел.

Кадир стоял на своем посту. Взгляд его пронизывал темноту. Нащупав камень, он присел и погрузился в думы. Была глубокая ночь. Объятый тревогой, Кадир вспоминал о покинутой семье, рассуждал о своей службе, думал об охвативших весь край, и низменность и горы, беспорядках.

Вдруг до него донесся какой-то шорох. Он вскочил, затаив дыхание прислушался. Шум доносился справа, со стороны армянского пастбища, расположенного в лесу Чалыш.

Несмотря на все усилия, он не мог ничего различить. Было темно,

небо и земля, казалось, слились, образовав огромное темное пятно. Чувствовалось приближение густого тумана. Кадир хотел было зажечь спичку, чтобы осмотреться, но вовремя спохватился.

«Ах, ты дурень! Что ты делаешь? Или хочешь выдать себя врагу?»

Кадир снова сел, прислушался. В ушах стоял звон. Он ясно различал глухой шум недалеко. Кто-то двигался прямо на него. Он прилег за камень и застыл. Не было сомнений, что кто-то двигался в темноте, и двигался к Кадиду.

Ужас сковал его. На теле выступил холодный пот. Смерть в образе страшного скелета стояла перед ним. Ее вид заставил Кадиду затрепетать. Не помня себя от страха, он чуть не выронил из рук ружья.

Кадиду показалось, что кто-то окликнул его и потом начал что-то рассказывать ему, настаивать на чем-то. Голос этот шел издалека, из каких-то глубин, но был настолько могуч, что потряс его похолодевшее, истерзанное тело, заставил его забыть обо всем на свете. Здесь, в одиночестве, во мраке, полном ужасов, Кадид помнил лишь семью, бедную, несчастную семью, брошенную в деревне из-за пустых обещаний.

Тяжелый вздох вырвался у него из груди. В памяти ожили минувшие дни, полные нужды, но такие приятные дни, проведенные с семьей. Кадиду было ясно, что, от чего бы он ни отвык в этих страшных местах, на государственной службе, он не может отвыкнуть от своей семьи, перестать любить ее.

Перед глазами встало родное село, весна, агукающая Фахира, баюкающая ее Гумри, пятнистая кошка. Вот Фахира, раскрыв объятия, бросается к нему. Гумри с мольбой зовет его: «Иди к нам! Нам ничего не надо, даже хлеба! Ничего! Только вернись!»

Шорох и сопение приближались. Кадид вздрогнул, очнулся. Вглядевшись во мрак, заметил приближающееся пятно. Вначале оно

было похоже на движущуюся точку, которая, приближаясь, росла и увеличивалась. Уже явственно слышался шорох травы от шагов. Таинственное существо медленно прошло через пастбище и появилось у края дороги. Показалось, будто фигура была одета в бурку.

«Должно быть, это кто-либо из армян, — подумал Кадир, — очевидно, они хотят окружить меня. А может, они даже не замечают меня? Или, может, думают, что я сплю и хотят схватить меня живым?»

Чем ближе становилась загадочная фигура, тем сильнее билось у Кадира сердце; в голову лезли всякие страшные мысли.

В нем проснулось чувство самосохранения. Еще теснее прижавшись к земле, он положил палец на курок. Черная фигура была уже в нескольких шагах. Один прыжок, и она могла вцепиться Кадире в горло.

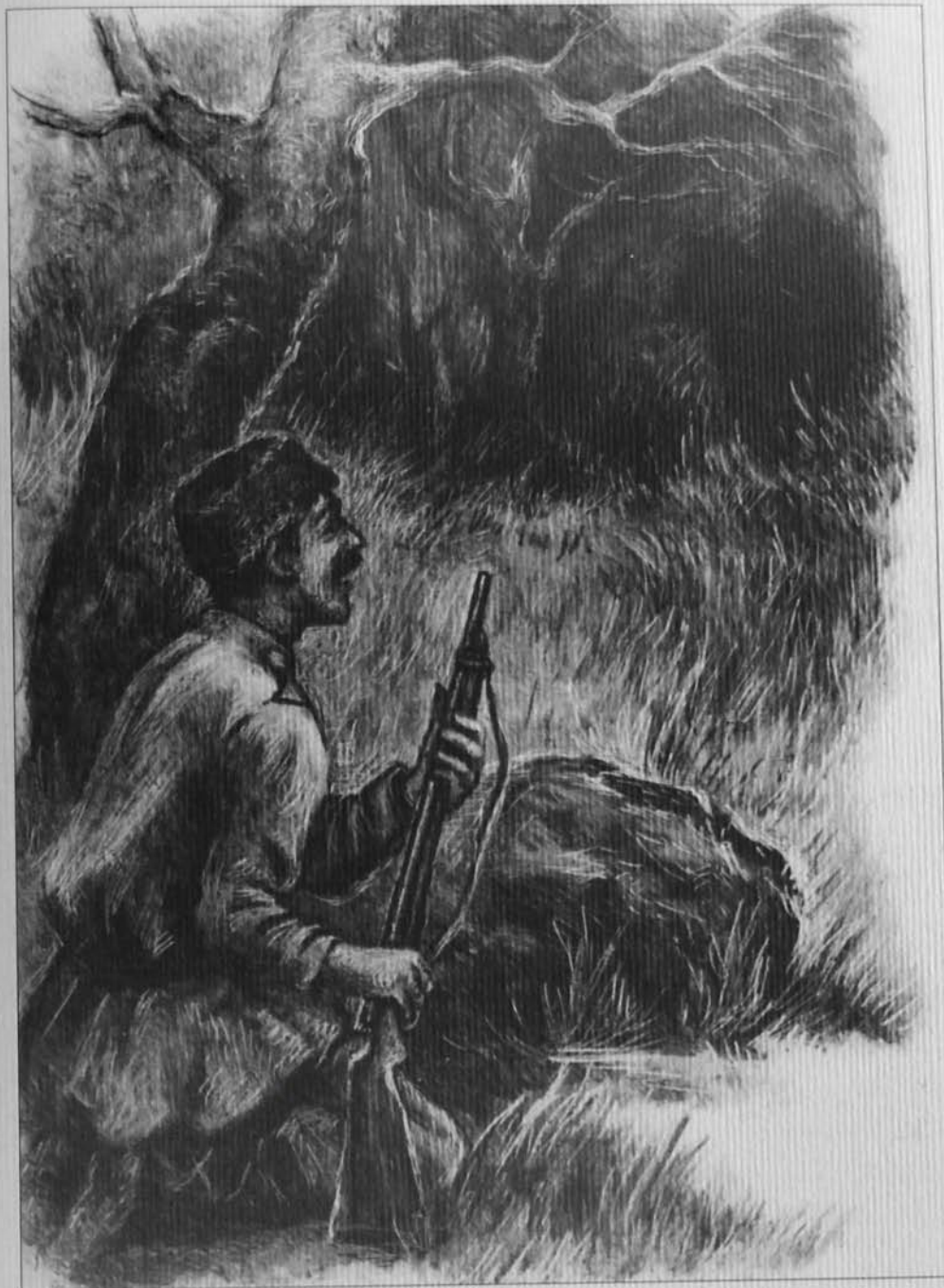
«Помоги, аллах!» — беззвучно прошептал Кадир, крепче прижал приклад ружья к плечу, напрягся всем телом и, закрыв глаза, нажал на собачку.

Вылетевшая во мраке пуля свалила темную фигуру. Она рухнула, как гора. Раздался протяжный, жалобный стон. Хор лягушек в глубине оврага затих. Где-то залаяла собака. Раскаты выстрела рассеялись и затихли, в тумане запахло порохом.

Кадир был вне себя от волнения.

Раньше он не мог без содрогания видеть зарезанную курицу, а теперь убил этого великана?! Итак, он был уже убийцей? У него мутился рассудок. Он не помнил, когда разорвал ворот рубахи. Несколько минут он не чувствовал ни жизни, ни смерти. Он словно горел в огне. Пот, струившийся по лицу и по спине, постепенно привел его в себя. Надо были кинуться к врагу, снять с него оружие.

«Должно быть, он не один, — подумал Кадир. — Наверно, его товарищи притаились за кустами: они не уйдут, пока не отомстят».



Кадир продолжал лежать за камнем, крепко прижимая к себе берданку и держа ее наготове. Еще сильнее прилип к земле. Ствол ружья стукнулся о камень. Кадир вздрогнул. Прислушался. Ничто не нарушало настороженной тишины.

Холод пронизывал его: казалось, вместе с холодным, горным воздухом в рот ему набивают снег.

Он сунул в рот подол чохи, чтобы согреть себя дыханием. Холод усиливался. Казалось, совершенное им преступление и проклятие невинно убитого исторгали у горы глухие стоны.

Потом его охватила радость. Ведь он убил врага, он удостоится милостивого взгляда начальника! Завтра соберутся люди и будут смотреть на него и убитого им! И этот дуралей начальник опять будет болтать о нации.

Вслед за этим он почувствовал глубокое раскаяние. Кто научил его отнимать жизнь у тех, кто жаждет жизни, уничтожать тех, кто борется за жизнь, орошать землю кровью, чтоб только жить самому?

Он почувствовал отвращение к себе.

Ему показалось, что руки его покрыты волчьей шерстью, а пальцы кончаются когтями тигра. Эти руки, привыкшие к поручням сохи и к ручке серпа, потеряли свою святость, чистоту, и это наполняло его душу раскаянием, скорбью.

Он снял руку с курка и, прислонившись головой к стволу ружья, забылся.

Прохладный ночной ветер поднял и понес его в неведомый мир. О нет, это вовсе не неведомый мир, а его родная деревня, его участок. Кадир пришел на этот участок, чтобы проверить урожай или сжать ячмень. Внезапно засверкали молнии, загрохотал гром и полил ливень. Мутные потоки стали омыwać ему ноги, потом поднялись до колен и выше. Вот вода подняла и понесла его, понесла вместе с камнями и деревьями, овцами и людьми.

В стороне от потока стоит на возвышении Гумри и плачет и в

отчаянии бьет по коленям. Вдруг она исчезает из виду и снова появляется. Кажется, она ищет Кадира, а тот, плывя по воде, хватается то за каменную глыбу, то за деревянный ствол, на мгновение задерживается, стирает с лица облепившую его глину и зовет, кричит изо всех сил: «Гумри! Гумри! Где девочка? Где ты оставила ребенка?»

А Гумри в этот страшный момент как будто играет с ним в прятки, то показывается ему, то скрывается. Она ничего ему не отвечает и, кажется, не слышит его.

«Слышишь, Гумри, это я! Почему молчишь? Разве не видишь, как я тону? Гумри!»

Кадир вдруг очнулся. Казалось, собственный голос пробудил его. От холода тело его одеревенело и ежа лось в комок. Он рад был, что только что виденные им ужасы оказались сном. Он провел ладонью по лицу, произнес молитву, славящую Магоммеда, и огляделся вокруг.

Не мог понять, где он. Видения кошмарного сна еще витали перед его глазами. Холодный ветер освежил лицо. Чувствовалось приближение рассвета. Звезды бледнели и гасли. Кругом не было никого. Откуда-то с горы слышались стук копыт и фыркание лошади.

Снизу, из глубины оврага, донесся плач ребенка.

Эти звуки росли, увеличивались и, сливаясь, образовывали своеобразную музыку, музыку жизни. Это придало Кадиду бодрости. Он приблизился к мертвецу и ахнул: перед ним лежала убитая буйволица!

Безумная радость охватила его: хотелось кричать, смеяться...

И вдруг вспомнил, что с него потребуют возмещения убытков, сдерут с него кожу!

Кадира обуял страх, ему так захотелось иметь в эту минуту около себя друга, дальновидного и мудрого друга. Ему думалось, что такой

друг, любящий его, плюнул бы и сказал: «Так-то ты хотел стать одним из первых людей в селе?! Что ты болтаешься здесь?»

Но желанного друга не было. Где было найти его?

Сев на камень, он укрепил лапти. Потом, ступая по кочкам вспаханной земли, спустился вниз и направился прямо к городу.

БЕШЕНЫЙ ГОРОД

Кадир увидел большое стечение народа, толпившегося на базаре. Была невообразимая толчея. Сапожники в передниках, выбежавшие из своих мастерских босые, с инструментом в руках, продавцы папирос с ящиками под мышкой, бакалейщики, держа большие лотки, городовые с винтовками, извозчики — все двигалось, шумело, волновалось.

Агабала, набожный мусульманин, потрясая длинной, огненно-красной бородой, кричал из задних рядов:

— Уберите проклятого! Надо упиться кровью врага ислама!

Одноногий Кязим, ходивший на костылях, до блеска натертых от долгого употребления, вышагивал зараз чуть ли не по пяти метров. Его знал весь город. У него были длинные и пышные, настоящие генеральские усы. Голову его украшала огромная белая казачья папаха, служившая ему также и подушкой, отчего она была плоская, словно книга. Во время первого армяно-мусульманского столкновения он отличился, разграбив и разрушив армянское селение Азад, за что от губернатора получил в награду табакерку; в этом же бою он и потерял ногу. Одно время он пробавлялся по чайханам, толкуя о падении духа ислама. Он страшно всем надоел. Владельцы чайханы прозвали его «беспольным клиентом».

Однажды, не зная, как выпроводить его, служитель чайханы сказал ему:

— Пожалуйста, выйди, надо подмести чайхану!

— Ничего, я постою здесь в сторонке, а ты себе подметай.

— Нет, я не могу подметать при людях. Выходи.

Но, видя, что бесцеремонный клиент не уходит, служитель заорал:

— Это тебе не тенистый уголок под ивами!

И, вытолкав его на улицу, с шумом захлопнул двери.

Кровь бросилась в голову Кязиму.

— Я защитник нации, я обратил в пепелище дома врагов ислама, а ты меня так бесчестишь?! — завопил он и так ударил костылем по оконным рамам крытой галереи, что разнес вдребезги все стекла.

Собрался народ; стали улюлюкать, свистеть, стучать, бить в медные тарелки от весов, как в ладоши. Подоспели городовые, засвистали, стали разгонять народ. Ошеломленный этим шумом Кязим был вконец опозорен.

Теперь, пробиваясь через толпу, одноногий Кязим скакал чуть не по головам людей.

— Подождите! Я покажу ему, гяуру... — неистово вопил он, размахивая папахой.

Слова Кязима потерялись в массе ругательств и проклятий. Их явственно услышал лишь богомольный Агабала и, самодовольно ухмыльнувшись, пробурчал:

— Ждать некогда, приятель! Надо спешить поскорее поделить добро гяуров! Тут медлить нельзя!..

Толпа вливалась во двор мечети. Люди спешили туда, чтобы посмотреть, как делят между «служителями нации» разграбленное в армянских деревнях добро, а может быть, и принять активное участие в дележе. Одноногий Кязим считал себя наиболее заслуженным из всех «служителей нации», потерявшим на этой службе ногу, а поэтому рассчитывал на самую большую долю при дележе. От разыгравшейся жадности он даже чмокал губами.

Богомольный Агабала заметил загоревшийся в глазах Кязима жадный огонек и злорадно усмехнулся:

— Агабала должен лежать мертвым, чтобы такие безмозглые дураки могли получить что-нибудь из добычи!..

И вдруг, покрывая все голоса, раздался душераздирающий крик Кязима:

— Ой, умираю!..

Кто-то в суматохе больно наступил ему на здоровую ногу. Взвизгнув от боли, одноногий Кязим поднял костыль и опустил его на чью-то голову с такой силой, что у того кровь брызнула фонтаном и мигом залила все лицо.

Месть за придавленную ногу успокоила одноногого Кязима, но многие удивились, что одним ударом палки он так разбил голову. Но никто, кроме Кязима, не знал, что на нижнюю часть костыля было насажено множество гвоздей дляковки лошадей.

Вне себя от ужаса и негодования, пострадавший бросился к Кязиму и, схватив его за обрубок отрезанной ноги, отбросил обидчика далеко в сторону. Кязим поднялся, отряхнул папаху и стал просить у раненого прощения. Тот отвернулся. Тогда одноногий Кязим стал умолять и уговаривать:

— Не сердись, земляк! Пойдем получим нашу долю, а потом, если хочешь, убей меня, — ни слова не скажу. Умоляю тебя, не то останемся без добычи! Ведь я пострадал на этом деле, — и он ударил по обрубку ноги, — нельзя упускать случай!..

Когда Кадир вернулся в чайхану, было далеко за полдень, но она была еще полна посетителей.

На стене, на видном месте, висел портрет какого-то паши. Вокруг одного столика сидели несколько человек и о чем-то шептались.

Кадир стоял у окна и задумчиво смотрел на улицу. Вдруг откуда-то сзади послышался крик:

— Эй, мусульмане, не пускайте!..

Все бросились к кухне и сгрудились такой тесной толпой, что в комнате стало еще теснее. Глаза всех с жадным любопытством были устремлены в кухню.

— Не тронь!

— погоди, не убивай!

— Прикончь!

— Отойдите!..

Кадир находился впереди всех. Толпа из всех сил напирала на него, но он кое-как держался.

Кричавший был высокий, красивый мужчина с черной бородой. Он был взят под подозрение, так как был корабейником и имел длинную бороду.

Кочи Кербелай-Аббасали, держа наган наготове, кричал:

— Конечно, это еврей! Я его прикончу!

— Братья мусульмане, я шиит толка Али¹. Клянусь Меккой и Мединой, я мусульманин!..

Но вооруженные винтовками, опоясанные патронташами свирепые служители нации и поклонники Али с глазами, налитыми кровью, не верили ему. Чтобы заставить толпу отступить, Кербелай-Аббасали выстрелил два раза в потолок кухни. Посыпалась штукатурка. Толпа, как овечье стадо, заведшее волка, шарахнулась в сторону и бросилась бежать: со звоном разлетались стекла, затрещали ворота, аробшики хлестнули лошадей, чья-то корзина попала под колеса и разлетелась в щепки.

Кербелай-Аббасали приставил наган к самому рту жертвы.

— Стой! — закричал мясник Гасан, бросаясь между ними. — Вы убедитесь сейчас, что он еврей! Говори правду: шиит ты или гяур?

— Мусульманин я. Чем хочешь, поклянусь.

— А ну, скажи, откуда ты?

Вопрос мясника Гасана потонул в поднявшемся общем гвалте. Раздался крик торговца сеном Абдуллы:

— И допрашивать нечего. Отойди в сторону. От тебя толку не будет!..

Его поддержал чей-то повелительный голос из задних рядов:

¹Али — четвертый халиф, глава шиитов.

— Чего тут долго разговаривать? Ему назначена одна пуля. Всадите ему в башку, пусть отправится на тот свет, там разберутся. Незачем время терять. Допрос учинят ангелы инкир-минкир. Раз попался, надо кончать. Еще улизнет, чего доброго!..

Испугавшись, что в суматохе могут прикончить и его самого, мясник Гасан поспешил скрыться в толпе.

Остановитесь, мусульмане! — крикнул Абдулла, подняв руку. — Ради Хазрет Аббаса подождите!..

Все, даже распростертая на полу, с печатью смерти на лице несчастная жертва, посмотрели на него. Торговец сеном нагнулся и, упершись руками в колена, спросил:

— Ты мусульманин?

Искра надежды блеснула на лице спрошенного.

— Конечно, брат мой! Я шиит, приверженец Али, шиит!..

— В таком случае, скажи, сколько у кошки ног? Ну-ка, скажи?

Мясник Гасан, снова вынырнувший из толпы, не на шутку рассердился:

— Нашел время загадки загадывать!..

— Кошка тут ни при чем.

— Торговцу сеном кошка нужна, чтобы крысы не жрали его товаров.

— Нет, кошка тут ни при чем.

— Очень даже при чем! — огрызнулся Абдулла. — Не мешайте, дайте решить дело по справедливости.

Все остолбенели, пораженные неожиданностью и загадочностью его вопроса.

Кочи поставили ружья на землю; минуту царило полное молчание. Потом снова зашумели голоса:

— Отвечай же!

— Говори, сколько у кошки ног?

Казалось, чернобородый мужчина понял смысл заданного ему вопроса.

— Пощадите, мусульмане! — проговорил он с отчаянием в голосе и, подняв кверху руки, жалким, дрожащим голосом прошептал: — Кошка, у кошки...

— Ну, скажи же, сколько ног у кошки? — воскликнули все хором.

— У кошки, у кошки... две ноги сзади...

Кербелай-Аббасали рассвирепел. Ударив его кулаком в грудь, он разразился руганью. Тогда тот произнес громче:

— У кошки две ноги сзади, две...

— Всего, всего сколько?

— Две с левой стороны, две...

— Скажи, сколько всего, не то убью!

Кербелай-Аббасали стал заряжать наган. Допрашиваемый поднял четыре пальца, желая сказать, что у кошки четыре ноги.

— Языком говори, если не хочешь сейчас же погибнуть! — крикнул торговец сеном.

Кербелай-Аббасали стал целиться.

— Я стреляю!

Заслонясь обеими руками, жертва с трудом выдавила:

— У кошки... у кошки ног... читири...

— Ага, видали? — воскликнул со злорадством Кербелай-Аббасали.

И в то же время раздался выстрел; за ним последовали еще выстрелы — шак-шак-шарак! Чернобородый коробейник дернулся всем телом и, словно спеша отвернуться от коварного мира, упал ничком. Как у голубя, пронзенного электрическим током, голова его беспомощно припала к земле; вытекшая изо рта кровь омочила землю, образовав на ней большой вопросительный знак.

Наблюдая все эти ужасы собственными глазами, Кадир, простодушный крестьянин, покинувший родную хижину в поисках лучшей доли, не мог понять смысл того, что он видел. Казалось, весь мир кружился вокруг.

«Что это за дела, что за вражда, что за бесчестие?!»

Кадиру стало дурно. Он не мог стоять на ногах. Кое-как дотащился до стула и упал. В висках стучала кровь, в глазах темнело: прислонив голову к холодной стене, погрузился в мрачные думы. Перед его глазами предстала семья — голодная, голая. У него же не было ни денег, ни возможности помочь ей. Как вернуться в деревню с пустыми руками!

В конце площади он опять завидел толпу. Подумал, может быть, вора поймали или умер кто-нибудь? Направился туда. Оказалось, ни то, ни другое. Около оружейных мастерских был открыт новый рынок для торговли оружием. Здесь чинили ружья и револьверы, проверяли их бой, считали патроны.

Продавец, чтобы обмануть покупателя, стрелял, покупатель тоже стрелял, чтобы не быть обманутым, и оба нисколько не думали о прохожих.

Народу было так много потому, что это был день открытия оружейного базара. Приехал и губернатор со своей свитой.

Сидя на лошади и поглаживая закрученные усы, он обратился к народу с такой речью:

— Господа мусульмане!

Один из полицейских вытянул руку с плеткой и крикнул на беспорядочно галдевшую и двигавшуюся толпу:

Эй, вы там, потише!

Толпа мгновенно стихла, словно в пруд с множеством лягушек бросили камень. Люди сбились в тесную кучу, как стадо овец.

Тела людей, жаждавших услышать речь губернатора, были плотно прижаты друг к другу, как если бы это было одно. Только головы двигались и сотни пар глаз впились в толстые, темные губернаторские губы.

— Господа мусульмане! Как и «предполагалось»¹, это для нашей нации в некотором роде «достижение». Здесь можно купить всякого рода ружья, револьверы, патроны. Правительство ислама издало «приказ», что каждый гражданин может покупать оружие.

¹Все слова в кавычках губернатор произносил по-русски.

Много ружей попало в наши руки от русских «эшелонов». «Известно», какой был угнетатель Николай: он не разрешал мусульманам иметь оружие, не «доверял» нам, не брал наших сыновей в солдаты. Если, скажем, почему - либо сосед поссорился с соседом, «предположим», Сафарали с Курбанали, то им приходилось действовать «лопатой» или «кнутом».

На лице губернатора появилась улыбка; он взглянул на городских. Те зашевелились и поспешили громко засмеяться. Их хриплые голоса напоминали хлопанье наседок.

Губернатор продолжал:

— «Смешно!» «Неужели» крестьяне не должны носить оружие? А еще считаем себя потомками Теймура и Чингисхана и хотим стереть с лица земли гяуров-врагов. Теперь у нас есть оружие; кто желает, пусть придет, возьмет разрешение и купит себе оружие. Мы знаем, кому дать, но только с «условием» — высоко держать знамя ислама. «Так что» ваш «губернатор» очень рад, что сегодня у вас открылся оружейный базар.

Кадир был настолько захвачен всем тем, что пришлось ему наблюдать в городе, что вовсе забыл о своих делах. В чайхане у него украли вещи и ружье. Чайчи полагал, что их украли сельчане, которых уж и след простыл. Для того чтобы напасть на их след, нужны были деньги, помощь, совет. А всего этого у Кадира не было, не было и надежды найти воров. И остался Кадир ни с чем. По поводу кражи произвели дознание, учинили допрос, но все попусту. Кадир был убежден, что кражу совершил сам чайчи, но, не имея доказательств, молчал.

Выйдя из чайханы, он пошел куда глаза глядят. Силился забыть про голод и не дать другим заметить, что он расстроен.

Лихорадка, голод, усталость, беготня в полицию вконец измучили Кадира.

Базар был полон всяких товаров; здесь можно было достать все что угодно. При виде массы вкусных яств и фруктов у Кадира потекли слюни.

Он вошел в чайхану, где его не знали. Встретили довольно любезно.

— Что прикажете подать?

— Чаю, сыру и хлеба, да побольше.

Наевшись досыта, Кадир заказал еще чаю вприкуску. Ковыряя в зубах и уставившись на крепкий чай, он раздумывал, как бы уклониться от платежа. Подумал было заплатить шерстяными чулками, но решил, что за это вернее всего выругают и прогонят его.

Вдруг его точно осенило. Он нагнулся, выглянул в окно, будто заметил кого-то, потом вскочил и выбежал, крича:

— Эй, Гумбет, Гумбет, стой! Послушай!

И, притворяясь, что хочет догнать приятеля, смешался с толпой.

Солнце заходило, тени удлинялись. Кадир бесцельно шатался по улицам, не зная, куда пойти, что делать. Он знал одно, что в таких городах все зависит только от состояния кармана. Ни врачей, ни лекарства против болезни безденежья не существует.

Кадир свернул в сторону и сел у стены. Стал снимать чулки. Не для того, чтобы совершить омовение, а продать их ради куска хлеба. Перед глазами встала Гумри; он видел ее пальцы, проворно вязавшие петли. Она сама вымыла шерсть для чулок, выкрасила в отваре гранатовой корки и села вязать с именем Кадира на устах.

ЖАЖДА

«Нежные, как шамамы, точно из мрамора выточенные, атласные груди!...»

Бибир бек не мог забыть ту дождливую, грозовую ночь, когда он стоял у окна Гумри. Он старался еще раз представить себе соблазнительное зрелище, виденное тогда, чтобы, хоть вспоминая, почувствовать себя счастливым. Страсть сжигала его. Хотя негодование и решительная неуступчивость Гумри огорчали его, но влечение к ней с каждым днем становилось все сильнее и пламеннее.

— Убирайся вон чудовище, не то я так крикну, что соберется весь свет!

Эти слова бек слышал у порога дома Гумри вчера вечером, но они до сих пор еще звучали в его ушах и точно камнем били его по голове. Что же было ему делать, если ни оскорбления, ни угрозы, ни даже, пожалуй, пуля не могли заставить его забыть «нежные, как шамамы, точно из мрамора выточенные груди»? ..

Он грыз длинные колючие усы, хмурился, точно его кололи иглой, и, насупившись, положив руку на грудь (это была его обычная поза, когда он задумывался), устремлял взор в одну точку.

«В сущности, влюбленный должен терпеть мучения», — думал он, вспоминая слова старого поэта Физули: «Сколько бы ни мучила меня возлюбленная, мне все же отрадно!»

Недаром плачут влюбленные, взывая: «О, любовь! О, любовь!»

Если не будешь терпеть страдания, то, достигнув цели, не почувствуешь наслаждения. Это не подать, чтобы взвалить на плечи крестьянина и заставить добровольно принести к твоим дверям. Здесь, как говорится, надо потихонечку, помаленечку...

В этот день он и в канцелярию не пошел. Позвал к себе Бездельника.

— Знаешь, в чем дело, Бездельник?

— Знаю; есть бог и есть его помощники.

— Кто это?

— Пока что бек!

Бибир беку это польстило.

— Ах ты, дурная голова! Будь я богом, разве горе точило бы мое сердце?

— Не дай бог, что ты говоришь! Если умрешь, кто будет о нас заботиться...

Бибир бек слегка ударил его по носу концом трубки и прервал на полуслове.

— Послушай, что я тебе скажу.

Он выглянул из окна во двор. Около тендира сидела Кысса-

ханум и следила за выпечкой хлеба. Бебир бек стал говорить тише. Его голос походил на шипящий звук, выходящий из горлышка бурдюка.

— Не разевай пасть, точно чувал! Если услышу, что проговорился, конечно твое дело! Шкуру с тебя спущу!

— Что ты, бек! — стал уверять Бездельник. — Разве я такой подлец! Я у вас во дворе, сам ведь знаешь...

После такого вступления Бебир бек закинул ногу на ногу и, наклонившись, к Бездельнику, спросил:

— Что нам делать с этой Гумри? Сукина дочь, строит из себя такую недотрогу, что просто не подступиться.

— Эх, бек, это в характере женщины. Породистую лошадь трудно оседлать. Но ты не церемонься, схвати, скрути, и все тут.

— Я у тебя совета спрашиваю, хоть ты и слуга, а ты что за вздор городишь, глупец? Поди, позови Чепель.

Чепель-Саялы была женщина, прошедшая сквозь огонь и воду. Она умела распутывать самые сложные дела, произносить заклинания и ворожить. Она заранее знала, кто на ком женится, какая женщина собирается разводиться и за кого думает выйти замуж.

Все попавшие в затруднительное положение или запутавшиеся в обстоятельствах приходили к ней за помощью. Приходили даже из других деревень, приносили полные хурджины подарков и подношений. Говорили, что у нее есть темная комната, куда она никого не впускает и где держит джинов.

Известность Саялы простиралась от линии железной дороги до берега Куры.

Вот почему ее прозвали «Чепель». Ни один молла не писал без нее заговора; ни одна гадалка не гадала без нее. Бездетные или подверженные болезням женщины получали исцеление от Чепель.

У нее можно было достать любые целебные снадобья, например верблюжий помет, волос черной кошки, шкуру ежа, печень черепахи, воду весеннего дождя, двойной миндаль, мозги сороки,

крыло голубя, волчий жир... Не каждому доверяла она эти «лекарства»; знала, кому можно дать.

Были люди, которых Чепель-Саялы даже близко к себе не подпускала.

— Иди, иди, сынок, у меня нет для тебя лекарства! — говорила она.

Обыкновенные недуги она излечивала во мгновение ока. Многие молодые женщины говорили ей:

— Тетя Саялы, аллах дал тебе священную благодать. Клянусь матерью, я всем обязана тебе. Я ненавидела своего мужа, а теперь, слава аллаху, живу припеваючи. Что же делать! Он тоже богом создан: в состоянии заработать кусок хлеба!..

— Ах, милая! Если девушку предоставить самой себе, она выйдет замуж или за зурначи или за халвачи. Я же устраиваю вашу жизнь, и добро, которое я вам делаю, уменьшает мои грехи.

Сев рядом с Чепель-Саялы, Бебир бек начал длительные переговоры. С трудом удалось ему уговорить ее устроить его дело за одно шерстяное покрывало и отрез лезгинского сукна для ее сына.

— Я уступаю тебе только потому, что ты старшина, а то какая собачья дочь возьмется за такое трудное дело? Подумать только, совратить замужнюю женщину!.. Грех-то какой!

Бебир бек очень обрадовался. Но поставил следующее условие: Чепель должна была сделать так, чтобы Гумри влюбилась в бека и сама бросилась ему в объятия. Ребенка же должна была оставить мужу.

Искушенная в этих делах Чепель твердо обещала уладить дело.

— Недаром меня прозвали «Чепель». Сиди себе спокойно дома и жди. В сердце Гумри я зажгу такой огонь, что она, сжигаемая им, сама прибежит к тебе. Твоими поцелуями она потушит пожирающее ее сердце пламя.

Эта речь очень понравилась Бебир беку. В порыве радости он

опустил руку в карман и, вынув синенькую, вложил в ладонь Чепель.

— Пусть это поможет твоим силам, тетка Саялы. Считай, что я мертв, и оживи меня! Приворожи-ка эту собачью дочь!

— Будь покоен, бек!

— Покажи свое мастерство!

— А ты будь щедр!..

День клонился к закату. Шум и гам во дворах усилились. Женщины возились под навесами. Одни подавали жнецам айран, другие доили коров, третьи, присев у пустой скатерти, грустно смотрели в одну точку.

Гумри смолотила собранные на сжатой ниве пшеничные колосья, очистила и получила чашку зерна, которое и поставила вариться. Фахира ковыряла пальчиком землю, собираясь кушать ее.

Взяв девочку на руки и стряхнув с ее пальцев глину, Гумри стала кормить ее. Вдруг скрипнула дверь, и в комнату с трудом пролезла Чепель (она была очень широка в бедрах).

При виде Чепель у Гумри екнуло сердце. «В недобрый час принесло ее. Храни нас, аллах!» — подумала она.

— Салам-алейкум, дочка! Как себя чувствуешь? Не болеешь ли? Как управляешься? Ребенок здоров? Настроение хорошее, да? — тараторила Чепель. — Хорошо ли чувствуешь себя? Каково настроение? Здорова ли?

Чепель всегда говорила очень быстро, а тут еще больше торопилась, чтобы не дать Гумри опомниться, и сыпала словами, как говорится, без запятых и точек:

— Так, значит, здорова? Совсем здорова? Ничего не болит? И настроение хорошее? А как живешь? Не скучаешь ли, милая? Пусть все твои болезни перейдут ко мне, старухе.

Чепель остановилась. Взглянула сурово, потом хлопнула себя ладонями по коленям и, переменяв тон, воскликнула:

— Ах, пепел на мою голову! Ах, да буду я вашей жертвой! Вы



посмотрите, нет, вы посмотрите, что она, бедняжка, ест, — лук и хлеб! О, горе! Везде столько фруктов, а ты что ешь?

Она так стонала и причитала, что со стороны можно было подумать, будто ее, бедняжку, колют толстой иглой или с глубокой раны срывают прилепившуюся повязку.

Произнесла последнее слово, старуха села.

— Ты не виновата. Лучше умереть, чем жить сиротой. Если был жив твой отец... Да что говорить!.. Ты, подобная луне, чего ради ты вышла за этого голыша? Из-за тебя у игитов... Присмотри за ребенком, упадет... Так я говорю: у игитов так болело сердце, что они с радостью жизнь отдали бы за тебя. Ох, несправедливый мир, перевернись он вверх дном! Кривая Кысса — жена бека, и зовут ее госпожой Кысса, а такие, как Гумри, достаются батракам! Киш... Киш!.. — прервала она себя, отгоняя кур, потом продолжала трещать: — Достаются батракам и вынуждены жевать лук. Ну разве это жизнь! Ты же совсем извелась, так истаяла, что можешь в игольное ушко войти... Несчастливая!..

Она говорила так же торопливо, как голодная курица клюет зерна. Не давала Гумри даже рот раскрыть. Разговаривая, в то же время ерзала, переходила с места на место, шарил глазами по всей избе.

— Как-то шла я по улице, заглянула в окно; вижу — эта кривая Кысса, эта мерзкая Кысса, точно скисшее тесто, расплылась и сидит. Перед ней служанки и слуги суетятся, а на скатерти чего только нет! Даже падишах бы позавидовал! Какие сливки, какое масло, чай внакладку! Белого хлеба с маслом уже не ест, говорит — противно!

— Так уж создан свет, тетя Саялы: у одного всего в избытке, а у другого ничего нет.

— Нет, дочка, это к мужчинам относится, — возразила Саялы. — А женщина — что медовая пчела: садится на один цветок, потом перелетает на другой. Зачем ей садиться на листок ракиты? Что она там возьмет? Но ты не огорчайся! Ни у кого свет не горит до

утра¹. Потухнет свет и у Кыссы!..

Чепель понизила голос и наклонилась к самому уху Гумри; от нее пахло плесенью, как от долго лежавшего в сыром подвале замшелого кувшина.

— Дай муштулуг! — шепнула она.

— А что случилось?

— Дай муштулуг!

— Дай бог, чтобы с хорошими вестями, тетя Саялы! Очень беспокоюсь я. Сколько времени, как он уехал, а все никаких вестей. Время тревожное, не знаю, что с ним случилось. Ребенок тоже вспоминает его, плачет, не унимается.

Чепель пренебрежительно махнула рукой:

— Ах, брось, пожалуйста! Что ты нашла в этом голыше Кадире? Я другую приятную весть хочу сообщить тебе. Еще никто не знает. Дай же муштулуг. Я скажу тебе кое о ком, кто получше Кадира! Дай муштулуг!

Гумри молчала. Чепель, кряхтя, встала с места, кинула взгляд на окно и дверь и, подсев к Гумри, тихо произнесла:

— Счастливица ты! Только между нами! Знаешь ли, какое счастье тебе привалило?

При этом Чепель слегка ущипнула Гумри за холодную щеку и хотела погладить ей волосы, но Гумри быстро отстранилась. Она все еще ничего не понимала. Чепель, ковыляя и переваливаясь, подседа к ней еще ближе и продолжала:

— Счастье улыбнулось тебе. Но смотри, никому ни слова! Бебир бек влюбился в тебя. Он умирает от любви, ах ты, счастливица! Дожила ты до светлых дней!.. Дай бог нам хоть часть твоего счастья!

Гумри смутилась, густо покраснела, потом побледнела. Закусив губу, отошла в сторону; некоторое время стояла молча, опустив глаза. Потом во взгляде ее блеснула необычайная твердость. Было видно, что она приняла серьезное решение, которое приведет в

¹То есть счастье недолговечно.

исполнение, чего бы это ей ни стоило!

— Это не новость, — заговорила она после недолгого молчания, — ты малость опоздала, старуха. Только бек сильно ошибается, и ты вместе с ним. В чем дело? Разве у меня нет мужа? Что же из того, что он беден? Я тоже дочь бедняка! Я не променяю его ногтя на сто таких собак, как бек. Пусть пойдет, обманет эту кумушку Сакину или эту курицу Месъму. Стыд и позор ему на голову! И тебе, старуха, должно быть стыдно. Одной ногой в могиле стоишь, а чем занимаешься! Или вы думаете, у бедняка нет чести?

Гумри говорила возбужденно; с каждым словом горячилась все сильнее, слова, как раскаленные угли, вылетали из ее уст.

Высказав все, она схватила веник и принялась убирать и подметать комнату. Это должно было означать, что старухе Чепель надо убираться вон.

Та хорошо понимала это, но виду не подавала. Она не ожидала такого ответа от этой кроткой на вид, скромной жены бедняка; но сдержалась и с видом терпеливой матери продолжала:

Замолчи, замолчи! Позор на голову того мужчины, который не в состоянии добыть для своей семьи даже кусок черствого хлеба! Ты молода, многого не понимаешь и болтаешь попусту. Чего ради ты живешь с ним — голодная, голая, в темной избе? Бросив тебя одну, он небось гуляет в горах и по садам! Кто знает, с какой армяночкой развлекается он там. Неужели тебе не жалко губить свою молодую жизнь? — Чепель повысила голос: — Да буду я жертвой того, кто установил шариат! «Кябин уступаю — считаю себя свободной!»¹ Как говорится: «Я вышла замуж ради жизни сладкой, а не для лишений и страданий!» Дочка моя, воспользуйся случаем, раз счастье улыбнулось тебе, не то потом будешь жалеть. Я, любя тебя, говорю. А что до Бебир бека, господина села, то мало ли у нас девушек охотно пойдет за него!

¹ По шарнату так говорит желающая развестись женщина, отказываясь от кябина, то есть суммы, которую по брачному акту муж обязался уплатить жене в случае развода.

Последних слов Гумри не слыхала, так как вышла во двор. Когда она вернулась, Саялы все еще продолжала гресть. Сурово посмотрев ей в глаза, Гумри сказала:

— По годам ты мне в матери годишься; пришла ко мне в гости — милости просим. Но если ты явилась за таким делом, если ты намерена оскорблять меня подобными предложениями, то да будет тебе стыдно! Подло поступает и бек и те из его прихлебателей, которые болтают обо мне. Откройте уши — услышите: пусть он оставит меня в покое, понятно? Или он считает меня беззащитной и хочет воспользоваться отсутствием моего мужа? Нет, нет! Не бывать этому!

Гумри замолчала; Чепель подняла руку, горячо хотела еще что-то сказать, но Гумри не дала ей говорить.

— Отправляйся туда, откуда пришла! Ты седая женщина, побереги свое достоинство, а то я не посмотрю на то — большой он человек или маленький!

Гумри с такой силой захлопнула дверь за старухой, что, казалось, эту дверь никогда больше не придется открыть.

Ведма проклятая! Чтобы тебе омочить седые волосы в своей же крови!..

Старуха Чепель слышала все это, но делала вид, что ничего не слышит. Ее мозг сверлила одна горькая мысль: «Не видать мне ни чадры, ни лезгинского сукна!»

Столь решительные действия Гумри привели старуху Чепель в полную растерянность, но она еще надеялась поправить дело. Вернувшись домой, впала в сильное раздумье. Проверила все заговоры, которые были при ней. Наступила ночь, а она все не ложилась, глядела на звезды, творила заклинания, внимательно всматриваясь в Млечный Путь.

Когда вся деревня засыпала, Саялы чувствовала в ногах силу упыря, обретала вдруг прозорливость и остроту чувств. Этой ночью она ходила между домами Бебир бека и Гумри, словно

протягивая сложную основу для тканья. Прочитала молитву, славящую пророка, и стих из корана, села, встала, побежала, остановилась, сожгла волос тринадцатилетней кошки и развеяла по ветру. Забросила в хижину Гумри щепку от старой метлы, разломанную на сорок кусков.

Но ее талисманы и зелья действовали плохо. По-видимому, ни один из духов не соглашался помочь ей в этом деле, так как Гумри по-прежнему упорствовала. Неудачу своих махинаций Чепель приписывала тому, что Бебир бек недостаточно верующий человек. Бебир бек поспешил совершить намаз, несколько дней постился и даже пожелал записать свои сердечные чувства на стих корана и запись забросить в мечеть.

Чепель все еще не отказывалась от своего намерения, хотя все ее попытки продолжали оставаться тщетными.

Когда Бебир бек спрашивал ее, как подвигается дело, она отвечала:

— Все зависит от тебя, бек! Если ты очистишь свое сердце, сегодня же можно все уладить. И еще вот что: ребенок у нее, ребенок! Это плохо. Любовь Гумри передается ребенку. Гумри бросила ребенка к ногам джинов, а те жалеют малютку, не подходят. С малюткой и духи считаются и люди. Что сделаешь с ребенком? Все дело от этого и страдает.

Старуха так и не справилась со своей задачей; не особенно доверяя обещаниям и совсем не полагаясь на щедрость Бебир бека, Чепель сошла со сцены.

Тогда начал действовать молла с повязанной губой. Настоящее его имя было — молла Мирза Магоммед. Нижняя губа у него была прокушена девушкой, пытавшейся защититься от его нежностей. От укуса образовалась рана, получился нарыв. В течение двух месяцев он не мог совершать религиозные обряды. С тех пор молла закрывал незаживающую рану крошечной кукольной подушечкой и перевязывал губу белым платком, за что в народе его прозвали «Молла с повязкой». Настоящим же именем — молла Мирза

Магоммед — его называли лишь родные и близкие.

Ему и поведал свое горе Бебир бек.

— Ты тоже, ахунд, испытал немало горя. Помоги же мне.

И обещал в случае удачи подарить ему гнедую лошадь. А молле лошадь, пусть и не гнедая, была очень и очень нужна: ведь он обслуживал четыре села. В дни траурного месяца — магеррам, когда он пел марсие, не успевали высохнуть слезы верующих в одном доме, как уже начинали плакать в другом. Пение марсие так потрясало слушателей, что они предоставляли ему лошадь для поездок и обеспечивали ему питание.

Но он страстно хотел иметь собственную лошадь, потому что на чужой лошади долго не поездишь. Ведь он тоже человек, у него тоже есть потребности, он мечтал о том, чтобы, подгоняя собственного коня плеткой, подыматься на зеленые горы, скакать по дороге, сопровождая кочевников, а иногда поохотиться, «попользоваться дарами природы».

Молла верил обещанию бека. Воодушевленный надеждой заработать лошадку, он явился к Гумри преподать ей урок шарията.

Покашливая (в виде предупреждения), вошел в лачугу Гумри. С порога спросил:

— Кхэ, кхэ... Дома Гумри-ханум?

Гумри не дала ему присесть.

— Чтoб шарият поразил тебя в спину! Чего ты шляешься по домам, где нет мужчин? Проваливай к черту!

Она громко кричала, как бы желая учинить скандал.

— Постой, погоди! — старался успокоить ее молла. — Послушай, что я хочу сказать тебе. Ведь я ради твоей же пользы пришел...

Он не успел досказать. Гумри схватила железный совок для мусора и такхватила его по боку, что молла ахнул. Уж этого молла никак не ожидал. Не помня себя от страха, потеряв в бегстве один башмак, он зажал в кулаке подол одежды и поспешил выбраться из дома.

— Божье проклятье на тебя, окаянная Айша!¹

Куры начали клевать башмак и вытащили его на двор. Потом его схватила собака соседа и выбежала с ним на улицу, точно хотела вернуть его хозяину, которого и след простыл. Постыдилась ли она прохожих, или испугалась детей, или же не выдержала тяжести башмака с подбитым железом каблуком, но бросила башмак на самой середине улицы.

В полдень, спасаясь от жары, все попрятались в тени деревьев. Башмак продолжал лежать на солнцепеке.

История с башмаком стала «притчей во языцех».

Все село судачило о нем и смеялось.

Завидев моллу, жители говорили нарочито громко, чтобы слышал молла:

— Дядя молла, почему башмаки у тебя непарные? Всюду, у родника, в поле, на сельской площади, по домам, только и было слышно:

— Слыхали новость? Молла-то, оказывается, покушался на честь жены Кадира!

Многие поражались, слыша это. Иные благочестивые люди не хотели верить, другие же не придавали этим словам особого значения, говоря:

— Знаем этого старого развратника! У него к каждому волоску бороды по чертенку привязано.

— Вот бессовестный! Не молла, а настоящий банщик! Молитву арабскую так тянет, что просто уши вянут.

— Разве не эта арабская молитва причина наших несчастий?

Этим, однако, дело не кончилось. Число его прихожан значительно уменьшилось. А сирота Акбер, взгромоздившись на забор и грозя пальцем в сторону моллы, кричал:

— Теперь ни один собачий сын не позовет тебя хоронить покойника!

Все эти разговоры сильно подействовали на моллу; он выглядел

¹ Айша — жена пророка Мухаммеда: по мнению шиитов, она была легкомысленна.

настоящей мокрой курицей. Ах, как он раскаивался, что из-за лошади пошел на это дело! Встречая близких и знакомых, он отводил их в сторону и начинал рассказывать «суть дела»; клялся, божился, что он ходил к Гумри по поручению Бебир бека.

— Да покарает его аллах! Ведь он старшина. Как его ослушаешься! Видно, уж так было суждено!

Представьте себе, положение моллы было очень тяжелое. Чепель-Саялы, та хоть вышла из этой истории невредимой, а этот молла не имел даже такой удачи. История с башмаком стала для него вопросом жизни или смерти. Боясь гнева Бебир бека, он не смел выступить на народе и при всех сказать в свое оправдание:

«Люди добрые! Я ходил к Гумри по поручению старшины. Да покарает меня меч святого Али, если я польстился на чужую жену! Почему вы не верите мне?.. Клянусь священным кораном!..»

Он не смел сказать этого вслух; поэтому, если где-нибудь ему случалось видеть нескольких человек вместе, он опускал голову и, неловко поклонившись, молча проходил дальше.

Объяснения, которые молла нашептывал своим друзьям, переходили из уст в уста. Дошли они и до слуха Кыссы-ханум. Сперва она не поверила; как стояла с котелком в руке, так и застыла от удивления. Известие это поразило ее в самое сердце. Накинув чадру, она поспешила к Гумри.

Вечерело. На улицах никого не было. Отозвав Гумри к навесу около тутового дерева, она стала заклинять ее сказать правду.

Заклинаю тебя жизнью твоего единственного ребенка, заклиная этим куском хлеба, скажи мне всю правду. Я не буду дочерью своего отца, если не накинута на голову Бебира женское покрывало!

Гумри ничего от нее не скрыла. Кысса была довольна Гумри, которая оказалась очень обходительной и кроткой. Узнав все подробности, вернулась обратно. Не прошло и получаса, как в центре села на балконе красивого кирпичного дома разыгрался чудовищный скандал.

Кысса-ханум происходила из бекской семьи Багманлар. Уже

двадцать пять лет, как она была полновластной хозяйкой в доме Бебир бека. Хотя она и затевала иногда ссоры с Бебир беком из-за его любовных походов в городе и в отдаленных деревнях, но особенного значения им не придавала, так как все это происходило не здесь, а где-то в другом месте, и она не видела этих грешков своего мужа.

Но теперь было похоже на то, что бек, окончательно потеряв совесть, серьезно задумал жениться и посадить на шею Кыссы-ханум какую-то деревенскую бабу.

При одной мысли об этом глаза Кыссы-ханум начинали бешено сверкать, и сердце готово было лопнуть от злости.

Перед ее мысленным взором еще раз прошли двадцать пять лет ее господства в этом доме. Лицо ее стало мрачно, как у человека, решившегося на самоубийство. Охваченная потребностью облегчить душу, готовая, как фарфоровую чашу, разбить все: и дом, и потомство, и счастливую семейную жизнь, она, босая и с непокрытой головой, выскочила на балкон. Было уже темно. Она села и, положив руки на колени, закрыв глаза и открыв рот, начала вопить, как обиженный ребенок:

— Ва-а-ай! Несчастная я! Все меня бросили! Кто мне поможет? Ва-а-ай!..

Прислуга растерялась. Еще никогда не случалось слышать им такие дикие вопли, тем более от Кыссы-ханум. Один лишь раз причитала так истошно и рвала на себе волосы мать Ага-киши у смертного одра своего сына.

Голос Кыссы вызвал на дворе переполох: испуганные лошади заржали, утки загоготали и разлетелись по всему двору; на шум сбежался кое-кто из соседей; даже жнецы, только что вернувшиеся с поля и ужинавшие под навесом, оторвались от еды и полезли на заборы.

— Какое несчастье постигло нашу госпожу?..

С балкона бека доносились крики, шум, гам, топот ног, но в темноте ничего нельзя было разглядеть.

Кысса-ханум, без чадры, лежала на балконе, бесчувственная, как бревно. И никто не мог сказать, когда она лишилась чувств. Подоспевшие соседи решили, что ее ужалила змея. Принесли лампу, осмотрели ее всю, но ничего не обнаружили. Поднесли к лицу зеркало. Она дышала. Тогда принялись растирать ей виски, брызгать водой, массировать ноги, руки, давали нюхать дым — словом, всячески старались привести ее в чувство.

Бек стоял в изумлении.

Что с ней случилось? Ни с того ни с сего...

Кысса-ханум уже пришла в себя, но из злобы на бека не открывала глаз, притворяясь мертвой.

Ее подняли и перенесли на постель.

Дети плакали; слуга, делая вид, что собирается заплакать, держал платок у своего рта.

Бек в душе радовался, думая: «Наконец-то избавлюсь от нее!» — и, чтобы его надежды оправдались, дал в душе обет зарезать барана и раздать жертву бедным.

Заметив, однако, что на него смотрят, он скривил лицо, стараясь казаться убитым горем, потом поднес к глазам платок и, откликаясь на плач детей, громко зарыдал:

— Охо-охо-охо...

ВЕСТЬ

Опасаясь беспорядков и всяких неожиданностей, многие в этом году не поехали на кочевки. На такую поездку могли рискнуть лишь те, кто был хорошо вооружен и имел вооруженную охрану.

В начале лета Бебир бек решил отправить семью в горы. Чтобы задобрить Кыссу, он подъехал к ней с такой речью:

— Душечка, ты изведешься здесь от жары. Дай, я отвезу вас в горы и оставлю при вас охрану. Семьи Салман бека и Аслан бека тоже там. Сам я не могу оставить село на произвол судьбы; но тебе

и детям незачем оставаться здесь и мучиться в эту жару. К тому же говорят, жара будет отчаянная.

Если бы подобное предложение он сделал Кыссе в другое время, она, конечно, согласилась бы. Но теперь, понимая, что переживает Бебир бек, она не сомневалась, что он остается здесь ради Гумри, чтобы заставить ее бросить мужа и выйти за него. Вот почему он хочет сплавить семью!

— Нет уж, извини! К черту! Пускай все погибнет: и село, и дети! Если хочешь ехать в горы, собери всех и отвези. А если не едешь сам, так молчи и сиди на месте. Без тебя я никуда не двинусь.

Отлично зная характер Кыссы, бек понимал, что если он будет настаивать, то ему придется выслушать кое-что и похуже этого.

К вечеру с кочевки вернулись несколько человек из сгрази. Как всегда, они привезли новости.

Бек велел разостлать на балконе ковер; все уселись и принялись за шашлык, запивая его туговой водкой; покончив с этим, полакомились дыней, все время услаждая себя приятной беседой.

По словам приехавших, армяне были окончательно разгромлены. Было убито бесчисленное множество людей. Черный Аслан также погиб. Тело его нашли уже разложившимся.

— А сколько награбили вещей!.. Клянусь твоей головой, бек, я видел такие дома, что перед ними дом Насреддин-шаха ничто! А шелковые платья, а постели!.. Короче, все, кто участвовал в походе, вернулись домой, нагруженные добром. Офицеры брали вещи, что поценнее да полегче. Нам же было все равно. Мы хватали все, что попадало под руку. Я привез детям и жене на платье. Три дня грабили в захваченной деревне. Я видел аскеров, которые удирали с никелированными самоварами на плечах. А какие там прелестные девушки! От родниковой воды они румяны, как яблочко!..

Слушая Мешади Джангира, Бебир бек попыхивал трубкой и жмурился. Упоминание о хорошеньких девушках совсем взволновало его, ему представилась Гумри во всей своей красе.

Мешади Джангир вдруг приподнялся на локте и стал рассказывать интересную историю, которую только что вспомнил.

— Когда село было взято и перестрелка прекратилась, мы бросились грабить дома. Кое-где еще слышались одиночные выстрелы. Все старались захватить дома побогаче. В одном доме я взял граммофон и уже выходил, когда услышал за собой женский голос: «Братец, если ты мусульманин, возьми и меня с собой!»

Я оглянулся и вижу: женщина с растрепанными волосами, с полным, широким лицом. В то время как все удирали от нас, она спускалась по лестнице, направляясь ко мне.

«Я мусульманка, — сказала она, — меня взяли в плен три месяца назад».

Я всмотрелся в нее. И вдруг подумал о Гамбаре из Авазы. Ты слышал, что его жена исчезла в горах? Спросил, как ее зовут. Оказалось, я не ошибся, это действительно была жена Гамбара. Мы с товарищем переглянулись.

Женщина кинулась мне в ноги, начала умолять взять ее. Я поднял ее, хотел везти с собой. Но тут товарищ шепнул мне на ухо: «Что ты, одумайся! Не станешь же ты брать с собой женщину, которая ходила по рукам?!»

Я вспомнил, что ее касалась рука гяура. Кровь бросилась мне в голову. Я перестал владеть собой и уж не помню, как изрубил ее на куски!..

Эти рассказы, несмотря на то, что они были свежи и интересны, не занимали Бебир бека. Он слушал рассеянно. Убаюканный шумом кипящего самовара, он погрузился в свои думы.

Продолжая рассказывать об убийствах и грабежах, Мешади

Джангир иногда похлопывал себя по коленям, и тогда Бебир бек вздрагивал и, очнувшись, начинал ругать армян, желая показать, что слушает рассказчика со вниманием.

Мешади Джангиру было известно отношение бека к Гумри, но он не показывал вида, что знает об этом. Сейчас он собирался сообщить беку самую приятную для него весть. Устроившись поудобнее, он начал с воодушевлением:

— А твой батрак ведь приказал долго жить! Армяне убили!

— Хм... Да... Дела мирские!..

Было ясно, что бек не понял.

И, чтобы разбудить его, Мешади Джангир воскликнул:

— Что за «хм, хм?» О каких мирских делах ты говоришь?

— Да о всяких, вот странно...

— Да понял ли ты, что я сказал?

— А что ты сказал? Разве не о мусульманском деле ты говорил?

— Слушай же меня хорошенько: Кадира убили!

Бебир бек нахмурился. Перегнулся к Мешади Джангиру. Выронил трубку.

— Что-о? ..

— Кадир!.. Кадир приказал долго жить!..

Черное, рябое лицо бека озарилось улыбкой. Еще ближе глядя в лицо Мешади Джангира, он прошептал:

— Кадир? Муж нашей Гумри?

— Он самый, муж Гумри!..

Последние слова Мешади Джангир произнес особенным тоном: «Муж Гумри!»

— Кадира?

— Кадира!

— Убили?

— Прикончили!

— Гяуры?

— Гяуры-кумовья!¹

— В горах?

— Нет, на дороге. В ущелье Джарчи мы задержали трех армян; в их карманах оказался паспорт Кадира; видимо, напали, когда он ехал в горы, убили и обобрали... Не бойся, я не оставил его кровь неотомщенной: наместо одного мы с троих спустили шкуры!..

Рассказывая, Мешади Джангир что-то искал в кармане под патронташем; потом вытащил из-за голенища бумажку с пятнами крови и бросил ее перед беком. Паспорт напоминал могильный камень написанное стерлось, невозможно было разобрать.

Взяв паспорт в руки, бек почувствовал какой-то непонятный страх. Пропитанные кровью листки стали тверды, как картон. Казалось, когти смерти оставили свой отпечаток на затуманенном лице Кадира.

Через минуту прилив радости сменил страх.

Вскочив с места, бек принес Мешади Джангиру тарелку отборного винограда:

— Прислали в подарок дочери Багманлара. Кому же есть его, как не такому дорогому гостю, как ты! Кушай на здоровье!

В дверь постучали. С трудом переводя дух, вошел Гамбар. Подал руку Мешади Джангиру и поспешно поцеловал его в лоб.

— Теперь я буду спать спокойно! — начал он. — Ты справился с сукиной дочерью как следует! Хвала твоим рукам!.. Ты точно подарил мне весь свет! — И, не дожидаясь ответа, повернулся к беку. — Видишь, видишь, бек! Я говорил тебе, что не оставлю так, не позволю, чтобы моя жена...

Не договорив, он хлопнул папашой об пол; хотел что-то добавить, но от движения папахи вдруг погасла лампа, и он

¹ Обычно мусульмане, говоря про армян, называли их «кирве», то есть кум.

договорил в темноте:

— Клянусь честью, будь я проклят, я сам бы разыскал ее и изрубил на куски, если бы этого не сделал Мешади Джангир. Я — авазинец! Во мне течет кровь Али!

Ты тот богатырь, который вошел в сад.
Пятьдесят тысяч лягушек отправил в ад!

поддакнул бек.

Мешади Джангир засмеялся.

— Нет, приятель, это похоже на иронию...

После ухода гостей Бебир бек почувствовал в себе прилив молодости и силы. Он умылся, надел чоху, повязался серебряным поясом, натянул высокие сапоги, повесил часы с цепочкой и вышел из дому.

Весть о смерти Кадира, дойдя до низенькой сакли, повергла ее обитателей в отчаяние. У Гумри сердце словно выскочило из груди и ударилось о камень; ей казалось, будто бросили ее на дно моря и взгромодили на нее тяжелые горы. День и ночь оплакивала она своего мужа, причитала, повторяя его имя (до тех пор никто не слышал из ее уст имени Кадира) и призывая смерть.

А маленькая девочка, видя мать в таком необычном состоянии, находилась в каком-то отупении. Скорбь Гумри была тяжелее постигшего ее несчастья. Она жаждала смерти, но не находила ее. Дыхание спирало, будто скалы легли ей на грудь, не давали дышать.

«Будь здорова, береги ребенка!..» — вспоминала Гумри. Ведь это было так недавно! Всего четыре месяца назад, впервые расставаясь с семьей, Кадир просил ее: «Береги ребенка!..»

Печаль, тоска, нужда, голод — вот из чего состояло все

существование Гумри. Но теперь были позабыты и голод и нужда. Несчастный, голодный ребенок сосал ее пустые груди, плакал, плакал и опять сосал.

Несчастье Гумри ничего не изменило в селе. Ни на кого не подействовало. Лишь всадники, скакавшие взад и вперед и все выкрикивавшие «нация», «родина», проезжая мимо дома Гумри и слыша ее горестные стенания, посмеивались над ней.

Один Мешади Ислам сочувствовал Гумри, но был бессилен помочь ей. Потеря товарища, которого он любил, как брата, оглушила его.

Его жена Телли сварила кушанье, и они отправились навестить Гумри. Телли взяла на руки ребенка, чтобы Гумри могла хоть немного отдохнуть. С выражением сочувствия явились также Бебир бек и молла. Как только все сели, молла провозгласил «фатиха». Все зашевелили губами, беззвучно произнося слова молитвы. Никто ничего не говорил, каждый ждал, что скажет другой.

Скрывая свою радость, столь неожиданно, словно небом, ниспосланную радость, бек хмурился, стараясь казаться опечаленным. Он даже пролил бы несколько слезинок, если только мог. Это тронуло бы Гумри. Опустив голову и держа платок у лица, он время от времени покашливал, как плачущие, и сморкался. Молле показалось, что горе несчастной семьи подействовало и на бека. Поэтому, воздержавшись от речи, он лишь глубоко затянулся трубкой и сразу выпустил дым.

Подождав еще немного, он поджал под себя ноги и заговорил:

— Не горюй, дочка. Всякое живое существо должно вкусить смерть. Кадир погиб от руки гяуров, защищая религию. Его дух пребывает в раю вместе с нашими святыми покровителями. Терпи и утешайся ребенком.

Бек дополнил его речь:

— К чему так убиваться? Правда, Кадир умер, но ведь мы-то живы! Честь его семьи — это наша честь. Мы жизни своей не пожалеем ради того, кто пал за честь нации. Мы не оставим тебя в нужде. Не сокрушайся же так сильно! Пока мы живы, тебе не о чем беспокоиться.

Молла поспешил поддержать бека:

— Конечно! Не мусульмане мы, что ли?

Покойный был честнейший игит! — продолжил бек другим тоном. — Его имя будет переходить из уст в уста, ибо он умер, защищая нацию...

Телли не дала ему договорить:

— Эх, старшина, жалеющих сироту найдется много, а вот чтобы кормить ее — на это охотников-то мало! Лучше бы Кадир не погиб и нация бы не славилась его имени!

Это разозлило бека. Как это — «жалеющих сироту найдется много?» Ведь говорит не кто-нибудь, а он — старшина!..

— На что нам имя? Были бы сыты и жили спокойно. ..

Это не понравилось беку. Что значит жалеть сироту и не кормить ее? Здесь старшина говорит, не так ли? В другое время Бебир бек больно ударил бы Телли по губам, но, учтя обстановку, ответил мягко:

— Ах, Телли, Телли! Уж, наверное, мы понимаем, что говорим. Мы знаем, что хотя Кадир и был батраком, но был сознательным батраком, способным пожертвовать жизнью ради нации. Нам известно также и то, что его имя записано и представлено губернатору. Я везде говорил и опять скажу, пусть и твой муж Мешади Ислам услышит: если бы все наши батраки были так же сознательны, как Кадир, наше дело пошло бы далеко вперед. Но, к сожалению, большинство дерется из-за куска хлеба, грызется из-за кости...

Мешади Ислам понял, на что намекает бек. Он слышал, что во многих городах и селах происходит борьба между богатыми и бедными. Там появились люди, которых называют «балшавет»¹ и которые хотят уравнивать бедняков с богатыми. От этого слова «балшавет» беки впадают в бешенство. Всякого, кто осмелится говорить о них, бьют и сажают в подвал.

Мешади Ислам догадался, кого имел в виду бек, говоря: «грызутся из-за кости». Он хотел собраться с мужеством и ответить: «Лучше сесть криво, но говорить прямо. А ведь балшаветы-то говорят правду...»

Но не решился. Было неудобно говорить это в доме, где был траур: Гумри могла обидеться. К тому же он не знал точно, что значило слово «балшавет», которое его очень занимало.

Чтобы богатые и бедные были уравнены! Были уравнены! Золотые слова! Конечно, правы те, кто так говорит, только плохо, что им дали название «балшавет». Почему же они «балшавет»? Почему правдивое слово называют «балшавет»?

Мешади Ислам никак не мог разобраться в этом вопросе; он изумлялся, почему такие умные люди не нашли себе лучшего имени.

«Если б спросили меня, — думал он, — я выбрал бы для них прекрасное имя. Ни «балшавет», ни «свобода», ни «нация», — я назвал бы их «справедливость». Если бы это не понравилось, то — «правое дело», или «верный путь».

Гумри, волей-неволей слышавшая эти речи, сидела отвернувшись к стене и тихо плакала.

Сегодня был третий день, как было получено известие о смерти Кадира. Телли хотела застегнуть ей ворот рубахи¹, но Гумри не позволила.

¹Исковерканное слово «большевик».

¹В первые дни траура у близких родственников покойника ворот рубахи бывает расстегнут

Мешади Ислам сделал жене знак, чтобы она не настаивала.

После того как бек и молла ушли, Мешади Ислам высказал Гумри искреннее соболезнование и предложил ей перебраться в его дом, но Гумри не согласилась: она предпочла остаться в своей низкой и темной лачуге, чтобы не дать потухнуть семейному очагу.

Нет, братец Ислам! Ваш дом для меня все равно, что отчий. Но все же лучше мне остаться здесь. Ничего со мной не случится. Голова и руки есть; пойду работать, поступлю прислугой и буду кормить своего ребенка, — отвечала она на его уговоры.

После «смерти» Кадира бек несколько не сомневался, что его обет услышан и он достигнет желанной цели. Он только ждал, чтобы истекли сорок дней траура, и тайне от Кыссы понемногу готовился к свадьбе.

Иногда он посылал Гумри через Бездельника полный платок сдобных хлебцев. Когда Бездельник первый раз принес их Гумри, она выругала и Бебир бека, и Бездельника.

Посыльный хотел вытянуть ее разок плеткой и крикнуть: «Держи язык за зубами!», но вдруг вспомнил: «Ведь она уже не жена батрака; Бебир бек бережет ее для себя. Если услышит, с живого меня кожу сдерет!» — и ушел с бекской посылкой обратно.

— Не взяла, бек, и вдобавок меня выругала. Говорит: не смей больше показываться сюда!

Бек вскипел, пихнул Бездельника ногой в живот, заскрежетал зубами.

— Разве я не приказывал тебе оставить хлеб и так вернуться? Чего же ты, сын свиньи, болтал лишнее и вызвал ее на ругань?

Бек заподозрил, что Бездельник задел Гумри, как обычно задевают женщин, и в нем вспыхнула ревность; он топнул ногой и закричал:

— Сын свиньи! Я тысячу раз говорил тебе: не разговаривай!

Положи хлеб и ступай прочь.

После этого случая каждый раз, когда Бебир бек посылал Гумри хлеб, дыню или что-либо другое, Бездельник, недолго думая, уносил все это к себе домой. А когда бек спросил его однажды, он притворился изумленным и ответил:

— Клянусь жизнью старшины, она с радостью принимает все, что вы ей посылаете! Она уже совсем не та. Что хочешь дай отнесу ей!

Это сообщение беку очень понравилось. Он успокоился, решив: «Горе и нужда надоумили ее. Шутка ли, голод не свой брат! Даже льва укротит. Хлеб такая вещь, что лисицу может превратить в льва, а льва в лисицу. Мир — это хлебопекарня. Кто печет, кто жрет. Каждый старается сесть поближе к тендыру».

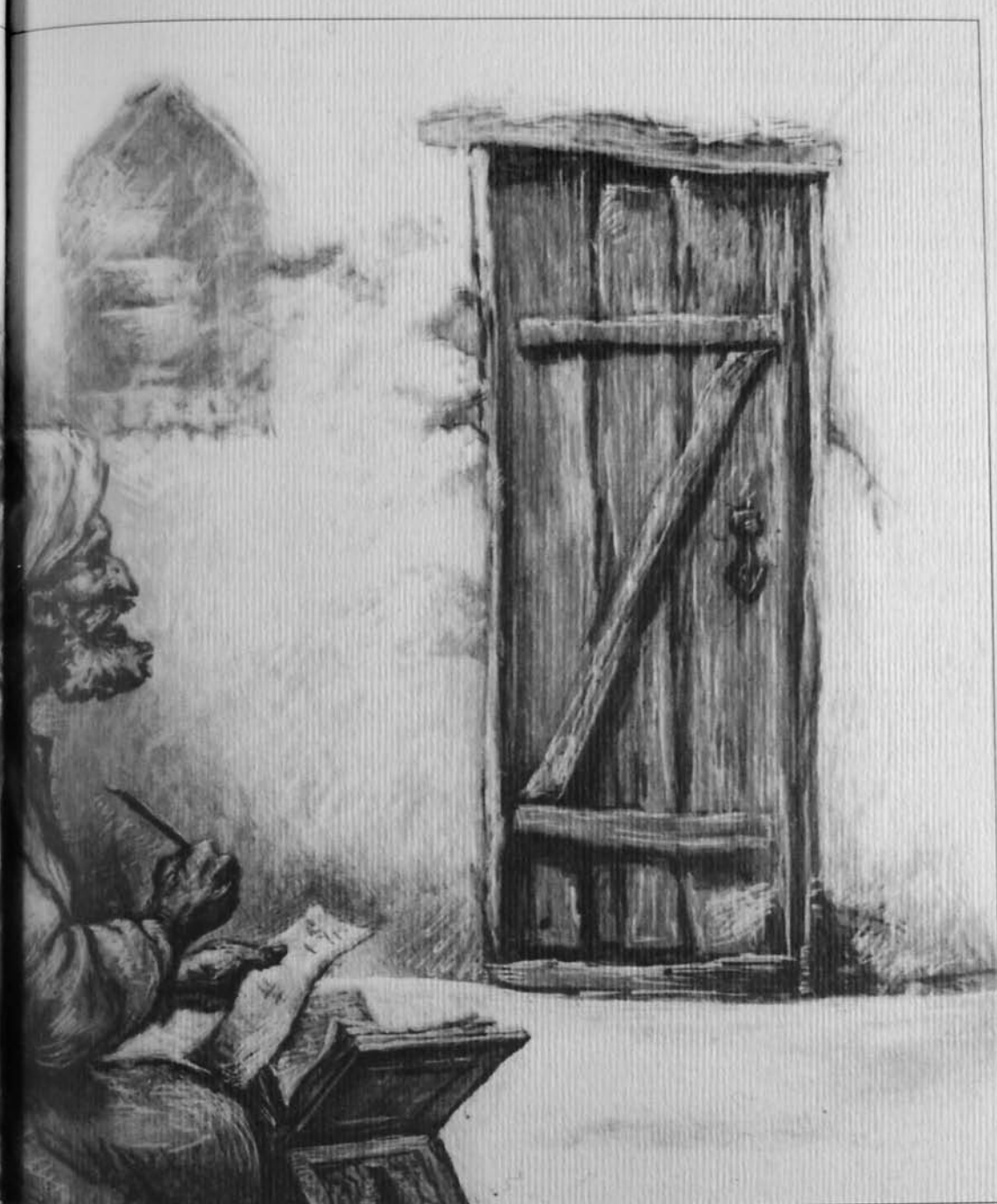
Жена Бездельника за последнее время каталась как сыр в масле. Другие нуждались даже в хлебе, ей же приносили полные платки булочек, целые корзины винограда, масло, творог и всякую другую снедь. Сидя напротив жены, Бездельник ел, приговаривая:

— Ешь досыта, дочь пекаря! Если будет угодно судьбе, потанцуешь на свадьбе бека, и мы расквитаемся. Лишь бы нам насытиться, а остальное хоть провались!

Когда по распоряжению бека Бездельник должен был отправиться к приставу, он привел к Бебир беку своего восьмилетнего сына и сказал:

— Вот, бек, если нужно будет послать что-нибудь Гумри, дай этому мальчику, он отнесёт. Будь покоен, он лучше меня знает, как это делается.

Гаджи Гусейн оглядывал избу и двор и в уме оценивал их. Уже второй раз приходил он к Гумри, предлагая освободить избу. Гумри просила, умоляла дать ей отсрочку до осени. Почесывая одной рукой полинявшую бороду, а другой перебирая четки, он отвечал:



— Видишь ли, дочка, как вдову, я пожалел тебя, целых десять дней молчал. Десять дней тому назад ты должна была сдать мне двор. И по шариату, и по закону я был бы вправе выселить вас. Я не сделал этого; совесть не позволила. Но дело в том, что я продал двор лавочнику, и тебе придется перебраться. Царствие небесное Кадиру! Будь он жив, я давно получил бы свои деньги. Но что я могу сделать с вдовой? Мы обязаны щадить ее честь. Мы же мусульмане. Так и быть, прощаю тебе арендную плату за десять дней.

После этого он откуда-то прослышал про отношения бека к Гумри. Будучи человеком дальновидным, он сразу смекнул, в чем дело, и больше уж не осмеливался подходить ко двору Гумри.

«Все равно, — думал он, — сыграют свадьбу, Гумри увезут. И дом со двором останется за мной мирно, тихо, без всяких скандалов».

А между тем у бека шла усиленная подготовка к свадьбе. Чего только не делал бек, чтобы побороть упорство Кысса-ханум!

— Послушай, — говорил он, — не будь душой. Я беру ее как служанку, она будет помогать тебе по дому. Одумайся, с ума я сошел, что ли, чтобы равнять с тобой вдову какого-то батрака! И сам ведь я человек родовитый. Смешаю ли я свою кровь с кровью служанки?

Ярость Кысса-ханум увеличивалась день ото дня. Женщина просто житья не давала мужу:

— Делай что хочешь, но помни: меня зовут дочь Багмандаров! Я все вверх дном переверну!

Но бек не придавал ее угрозам никакого значения. Он считал, что со смертью Кадира вопрос о Гумри решен окончательно. После того как все будет совершено «в полном соответствии с требованиями адата», что может сделать Кысса? В худшем случае

бросит детей и уйдет в дом родителей. Ну и пусть!

Гораздо больше он был озабочен тем, как бы смягчить сердце Гумри. Начал подсылать к ней соседей и знакомых. Они приходили к Гумри и, каждый по-своему, принимались уговаривать ее:

— Ты молода и прекрасна как роза! Не век же сидеть тебе вдовой? Такое ли теперь время? Почему мужчины могут жениться по четыре и пять раз? Поздравляем тебя! Не раздумывай! Выходи с богом и будь счастлива!..

И вот однажды в ветреный, пыльный вечер Гумри сидела в своей комнате и плакала. Перо в руках моллы скрипело, выводя кривые, косые буквы на брачном акте. Бек поручил своим свидетелям не перечить воле Гумри и записать неустойку на случай развода в таком размере, в каком она потребует.

Он говорил:

— Все, что есть у меня, да будет принесено ей в жертву!

Гумри хотела бежать, спрятаться от своих мучителей.

— Не пойду, не пойду, не хочу я замуж! Сама прокормлю своего ребенка, сама!..

Эти слова звучали беспомощно и безнадежно, как жалобное бление несчастного барашка, схваченного волком. Когда она порывалась встать, женщины хватили ее за руки и «успокаивали». Чепель-Саялы, наклонившись к Телли, шептала ей на ухо:

— Ясно, что она должна плакать! Ведь ее несчастный муж умер молодым! Но в душе она довольна. Да почему ей и не радоваться? Счастливица, попадет в богатый бекский дом, будет жить барыней! ..

— Ты меня спроси о ней! — тихо, но резко возражала ей Телли. — Я знаю, что она, несчастная, переживает. Она терпеть не может бека. Говорит, что и мужа ее погубил этот кабан! Откуда, говорит, мы знали, что такое служба? Зачем нужно было посылать Кадира в горы? Чтоб бек онемел, чтоб он сломал себе обе ноги! Не дал ему, бедному, жить спокойно. Обманул несчастного и послал

навстречу горячей пуле.

Она повторила эти слова и проклятия так же горячо и нетерпеливо, как произносила их сама Гумри.

Не кончив еще писать брачный акт, молла устремил взор на дверь, ведущую во внутреннюю комнату. Он ждал сладкого чая, но никто не приносил его. По принятому обычаю он кашлянул.

— Кхэ-кхэ!..

Под актом замысловато расписался. Подпись его была похожа на запутанный узел аркана или на круглого, с лапками, кра,а. Так же расписался он и за поверенную Гумри — Телли и за поверенную бека — Чепель.

Потом, убрав перо, начал потирать руки и, так как кашель не помогал, он заржал как лошадь:

— Имаа-иаа-аа!..

Все слышали этот голос, но не догадывались; для женщин все это было непонятно. Только Мешади Ислам, проезжавший мимо на арбе, услышав с улицы ржание моллы, понял, чего хотелось ахунду, и сердито пробурчал:

— Ах ты проклятый! Мало получил корму, вот и ржет!

Терпение бека истощалось. Он старался еще до наступления холодов покончить с этим делом. Во время приготовлений к свадьбе часто случалось, что кто-нибудь чихал один раз¹. Это пугало бека. Чтобы рассеять свои сомнения, он как-то попросил Чепель погадать. Гадание показало, что соединение утренней звезды с Млечным Путем предвещает счастливое окончание дела.

До свадьбы оставалось три дня.

С самых отдаленных сел съезжались друзья и приятели бека. Из города пригласили музыкантов. Послали в Кельбеджер за ашугом Алескером².

Женщины говорили, что на свадьбу старшины приедет сам пристав и что будет даже вино. Кысса-ханум возмущалась, говоря, что не допустит в дом вина. Бек хоть и поколотил ее за строптивость,

¹ У суевверных мусульман один чих не к добру, а два обещают удачу.

² Алескер — прославленный поэт-ашуг, умерший в 1926 году в возрасте 100—105 лет.

но упорства ее не сломил. Уже два дня, как Кысса, забрав детей, перебралась к своему двоюродному брату Ган-Сары. Как ни любил тот свою сестру, однако ее приход был для него неприятен, так как ему вовсе не хотелось портить отношения с беком. Поэтому он начал умолять Кыссу:

— Дорогая сестра, я не могу взять на себя такую ответственность. Лучше тебе уйти и не подвергать меня неприятностям! Живи у кого-нибудь другого. Я тебе найду такое место. Только уходи. Я хорошо знаю, что за человек Бебир бек.

Куда могла пойти Кысса-ханум в такое трудное время? Она знала, что если уедет из деревни, бек не только не будет огорчен, но, напротив, почувствует себя совершенно свободным и преспокойно завершит начатое дело: сыграет торжественно свадьбу и возьмет Гумри в дом; чего доброго, еще откроет сундуки с ее приданым и бросит к ногам молодой жены ее шелковые платья.

Представляя себе эту сцену, Кысса-ханум из себя выходила, места себе не находила, не ела, не пила.

— Да провалится дом того, кто причинил мне это горе! Да останутся его дети сиротами! .. — проклинала она. — Пусть он не знает улыбки! Пусть байрам ему трауром обернется!

О том, как ненавидит Гумри ее мужа, Кысса-ханум хорошо знала. Она решила пока выждать, подготовиться и в самую ночь свадьбы устроить большущий скандал.

Узнав об этом, Ган-Сары испугался, как бы его не заподозрили в соучастии, и под предлогом, что ему надо построить хлев для скота, уехал из села на берег Куры.

Жена Ган-Сары не выдержала:

— Что же? Выходит, что нам надо уходить из своего дома и поселиться где-нибудь в развалинах. Так, что ли?

— Я пробуду у вас не больше пяти дней, — мягко отвечала ей Кысса-ханум. — Я—божья гостья, только выжду, что будет дальше. Вас беспокоить не буду...

— Пять дней! Пять дней! Твой муж будет беситься, каждый день

брать по новой жене, а ты будешь по дворам ходить? Слыханное ли это дело, милая? И с чего это вы вспомнили нас, родственников? Небось когда налог распределяли, так нас и знать не хотели, а теперь?

Кысса-ханум решила, что лучше вернуться домой, нежели переносить такие упреки. Дома она по крайней мере будет, как шип, колоть глаза мужу.

И вот однажды утром, когда бек, пыхтя и сопя, подымался с постели, увидел Кыссу, храпевшую у него под боком. Он ничего не сказал, только подумал: вот так-то, перебесилась да затихла!

Женщины, ждавшие от бека подарков, чуть ли не ежеминутно прибегали к Гумри. Поздравляли ее.

Чепель-Саялы, оживившая мечту о новой чадре, просто из кожи лезла вон, извиваясь, как гармонь. Точно старшая в доме, она, расталкивая женщин, проходила на почетное место, садилась, начинала говорить, стараясь перекричать всех.

Накануне свадьбы она чуть свет пришла к Гумри и принесла ей кисет хорасанской хны, душистое мыло, духи, пудру и банные простыни. Она хотела испустить ее. С тысячей ужимок она подробно передавала Гумри слова бека:

«Скажи Гумри, что я жизни для нее не пожалею. Попроси, чтоб она купалась в сенях; там увидел я ее во время купания и полюбил».

Страшная тоска охватила Гумри под вечер. Что-то нещадно угнетало ее; она нигде не находила себе места.

Фахира играла во дворе под тутовым деревом. Гумри разожгла очаг, чтобы испечь лепешки. Сидя у огня, она глубоко задумалась. Вспоминала прощание с Кадиром в то весеннее утро; представила себе его приветливое, веселое лицо. Глядя в одну точку и силясь вызвать в памяти образ любимого человека, она думала: «Почему человек сам, своими руками, роет себе яму? Почему я не почувствовала тогда, какая беда ожидала Кадира? Почему сама же послала его навстречу смертоносной пуле? Если б тогда мне шепнули на ухо: «Не отпускай его! Кадир идет на смерть, не

отпускай! ..», я бросила бы к его ногам Фахиру, обняла бы его и удержала!»

Мысли Гумри путались; казалось, какая-то темная завеса опускалась перед ее глазами.

Ночь для нее была полна страхов. Все село спало. А мать, потерявшая сон, покой и надежду, прижав к себе ребенка, слушала шепот ночи. Прорвав облака, луна осветила землю молочным светом. Ребенок взглянул вверх. Матери показалось, что это в последний раз вспыхнул потухающий светильник ее жизни. Крепко обняв Фахиру, она наконец заснула.

...Горе ее отвердело, как камень, и ударило бека по голове. Разорвались путы, и она, освободившись от них, взлетела на небо.

В солнечной стране на песчаном холме сидит Гумри, ожидая Кадира.

На полосе света приплыл к ней Кадир и обнял ее. Взмолвленная, трепеща от счастья, Гумри хотела рассказать ему про свои мучительные переживания. Жизнерадостный смех Кадира, как яркий свет, рассеял ее страхи. Легко, точно птичку, подхватил он Фахиру и посадил себе на голову, потом, подняв Гумри на руки, полетел на крылатом коне. Они опустились в сад, полном цветов. Кадир принес ей букет прелестных роз, свежих, душистых и еще покрытых росой. Гумри погрузила в них свое лицо. Вдруг лепестки роз рассыпались и, превратившись в шелковые одеяния, легли на руки Кадира. И Кадир одел Гумри и Фахиру в золотую парчу.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Выбравшись из чайханы, Кадир почувствовал себя растерянным. Он шел, сам не зная куда. В этом большом городе он чувствовал себя таким одиноким и лишним, а встречавшиеся люди казались ему такими чужими! Они проходили мимо понурив головы, угрюмые и злые; иные поднимали на него глаза, и в их взглядах он читал глубокую ненависть и насмешку.

С усталых лошадей и мулов, через разбитые окна вагонов конки, сквозь распахнутые ворота дворцов люди, казалось, смотрели на Кадира со злобой; это еще больше расстраивало его. Ему все казалось, что они вот-вот бросятся и начнут бить его, валять в грязи или с размаху швырнут его в арбу с кирпичами и закричат со злорадным смехом: «Чего ты шляешься в этом городе? ...»

Тысячи мыслей кружились в голове Кадира. «Мне не везет, — думал он. — Бросил Гумри одну и ушел. Это не может пройти безнаказанно. Ведь она ждет, терзается беспокойством, мучается. За что бы я ни взялся, все пойдет прахом. Не будет мне светлого дня. Мне надо вернуться домой, к семье!...»

Кадир дошел до окраины города Джабир-агзы. Здесь город точно делится надвое. Посмотришь наверх — тесно прижавшиеся друг к другу кирпичные дома, дымящие трубы, полуразрушенные базары, одинокие минареты, старые чинары, покрытые гнездами ворон, неподвижно застывший город. И кажется, землетрясение превратило все вокруг в развалины, а дождь и снег пригнули их к земле. Сморщенный, пыльный воздух полон каких-то смутных шумов. Слышны ружейные выстрелы. Точно погребальная молитва муэдзина, они передают горам весть о том, что еще одна семья, ютившаяся в лачуге, осталась без кормильца. Печальный, скорбный город!

Начиная с Джабир-агзы и ниже панорама резко менялась: было просторно и светло; казалось, природа предавалась отдыху.

Молодые тополи, вбивавшие корнями влагу из оврага, походили на тонкие, одинокие колосья, выросшие на клеверном поле.

Зеленели грядки лука; шелковый ус кукурузы играл янтарным блеском; под широкими, плотными листьями прятались дыни, точно поджидая кого-то; кочаны капусты отливали серебром; из садов доносился запах фруктового компота; через белую, длинную садовую изгородь свешивались на дорогу ветви грушевых деревьев, словно приглашая прохожих: «Пожалуйста, отведайте груш!»

Но никто не слышал их зова. Печальные, потерявшие надежду люди, проходившие по дороге, не подымали голов, чтобы услышать

шепот желтых, сочных груш.

Спелые, сочные, сладкие плоды падали на землю; прохожие наклонялись, брали эти вкусные фрукты, но никто не смотрел на деревья, никто не благодарил их. А бывали и такие, что, подпрыгнув, обрывали ветви и калечили бедное дерево.

Выйдя из тесных переулков на это открытое место, Кадир вздохнул с облегчением.

Хотелось одним прыжком перемахнуть через это поле и оказаться в своем селе, сады которого чуть виднелись вдаль. Но он колебался. Ему было стыдно после шестимесячного отсутствия возвращаться домой с пустыми руками. Вот он перед ним — его дом! Как выросла Фахира! Она лепечет «батя» и ищет его.

— Батя принесет тебе гостинца, — успокаивает ее Гумри сладким обманом.

А Фахира, точно видя отца, протягивает руки к городу и зовет его, быстро шевеля пальцами:

— Иди, батя, иди!..

Все возвращавшиеся из города тащили награбленное добро: кто из армянских сел, кто с базаров, кто из покинутых домов. Все стало вверх дном. Всяк, кто имел в руках берданку, был уже всемогущ. Лишь такие, как Кадир, бедные, беспомощные люди, продолжали терпеть нужду.

Горечь этого сознания терзала Кадира. Он почувствовал глубокую ненависть к старшине. Ведь это он, негодай, перевернул его спокойную, хоть и бедную, жизнь. Ушло время жатвы и уборки. Впереди лютая зима, а у него нет даже горсточки муки или зерна. Время смутное. Ах, как он, негодай, одурачил его своими уговорами!

«Чтоб тебе провалиться с твоей «нацией», собачий сын! Оставь меня в покое, дай мне заняться делом. Да онемее твой язык, желавший мне добра! На кой черт мне твой ислам, твоя «нация»? Моя «нация» — это кусок хлеба, который я должен доставать, чтобы мой ребенок не голодал! Наплевать мне на «нацию», которую верховодит такая обезьяна, как Бебир бек!...»

Кадир шел вдоль садовых стен, в тени гранатовых кустов. Навстречу двигались арбы и всадники; одни ехали налегке, другие, перекинув через седло палас или овцу, везли их продавать. Он внимательно вглядывался в них, ища знакомые лица; и, не находя их, медленно опускал голову.

Раскаяние, стыд перед семьей и тревога угнетали Кадира. Он не знал, как покажется семье, которую покинул почти полгода тому назад.

Солнце, стоявшее в зените, строго глядело на Кадира многозначительным взглядом и, казалось, говорило: «О люди! Зачем алой кровью обагрена земля?»

Этот стих он слышал в городе от одного умалишенного, бродившего по улицам. И думал: «Правда в устах сумасшедшего!»

Спасаясь от жары и желая достать чего-нибудь для Фахиры, Кадир перелез через забор; кусты ежевики были покрыты черной, спелой ягодой. Раздвинув палкой кусты, он вдоволь поел; хотел собрать в платок, но вспомнил, что ведь и дома у заборов ежевики много и не стоит нести ее отсюда.

В саду работали крестьяне, собиравшие виноград игрушки.

— Подойди, братец, поешь винограда, — окликнули они Кадира.

Работавших было более пятидесяти человек. В круглых, похожих на офицерские папахи, корзинах они несли виноград к мастерам; некоторые ножницами очищали гроздья от гнилых ягод.

Мастера, стоя на коленях, укладывали виноград в ящики. Двое мальчиков забивали гвоздями крышки. Кадиру указали на один ящик и предложили поесть. Он отправлял в рот «тавризский» виноград, таявший во рту, как сахар ягоды были прозрачные, чистые и упругие. Казалось, что, попав в рот, они тотчас претворялись в кровь.

Не будучи в силах скрыть свою печаль, Кадир сказал:

— Пять месяцев, как я покинул свою годовалую девочку. Ах, если б я мог отнести ей хоть одну грушу!

Услыхав эти слова, сборщики принесли груш.

— Бери, бери сколько хочешь, наполняй карманы!

Мальчик, забивавший ящик, принес сросшиеся румяные яблоки. Это еще больше понравилось бы ребенку. Положив яблоки и груши в шапку и завязав виноград в платок, Кадир вышел на дорогу.

— Спасибо вам, братцы, — сказал он на прощание.

— Счастливый путь! — ответили сборщики нестройным хором.

От города до Кобулара верст пятнадцать — двадцать, а по почтовой дороге и того больше. Кадир шел через сады по кратчайшей дороге. До села добрался ночью. Все спали. Нигде не было видно света; низенькие сакли, как сказочные хижины колдунов, были темны и страшны.

Не было слышно даже собак. Из конюшен доносилось фыркание лошадей и мычание быков. Пять месяцев отсутствовал Кадир и теперь, увидев родные места, почувствовал огромную радость. Представил себе дом, семью, друзей и невольно ускорил шаги. Сердце сжималось от неизвестности. Одна мысль занимала Кадира — как дома?

Перелез через забор. Когда вошел во двор, месяц, словно приветствуя его, откинул свой покров и засиял над селом. Во дворе, на паласе, спала Гумри, а в ее объятиях прикорнула, как котенок, маленькая Фахира Волна радости захлестнула Кадира. Сердце учащенно забило, лицо просияло. Охваченный порывом отцовской любви, он наклонился к раздумывавшейся щеке ребенка и поцеловал ее. Показалось Кадиру, что девочка, не просыпаясь, прошептала:

— Не целуй! Ты почему нас бросил и ушел? Я на тебя обижена.

Гумри казалась еще более печальной, чем в час разлуки. Она лежала уронив голову на плечо, точно подстреленная голубка. Кадир взял в руки ее голову и долго, долго всматривался в любимые черты ее лица.

В это время Гумри снилось, как она, одетая в шелковое платье, жмется к мужу, вдыхает аромат чудесных роз.

Кадир перестал владеть собою, хотелось закричать от радости, но не было голоса.

Тяжелое раздумье охватило его. Где-то в глубине зашевелилась

мысль, не грешно ли будить мать и ребенка, что спят так сладко! Не видя наяву ничего отрадного, они, быть может, хоть во сне перенеслись в иной, сказочный мир и смеются и радуются, уверенные в счастливом будущем.

К тому же он сам был страшно утомлен дорогой; ноги зудели от усталости. Кадир принес из постельной ниши старое одеяло, подложил под голову свою одежду и уснул рядом с Гумри.

Этой ночью Бебир бек собирался пойти на свидание с Гумри.

Он вставал уже второй раз. Всякий раз, как он собирался взять шерстяной платок, в котором были завязаны конфеты и яблоки, и выйти, как Кысса-ханум, бодрствовавшая, точно караульный сторож, быстро поднимала голову и, заметив двигавшуюся по комнате тень, окликала:

— Кто это?

Чтобы не разбудить детей, Бебир бек отвечал ей шепотом:

— Это я, на двор иду, чего орешь?

И он снова ложился в постель. Безумная страсть, одолевавшая его, не давала спать. Перед его глазами появлялись нежные, как шамамы, беломраморные груди Гумри, предмет его любовной тоски в течение стольких месяцев! В воображении он обнимал Гумри, закрыв глаза, шевелил губами.

Сидел в темноте в постели, обняв колени и прислонившись к подушкам, и думал, думал, потел, вытирал пот одеялом и ждал, ждал, чтобы уснула Кысса. Скоро Кысса стала шуметь и свистеть носом, как бурлящий котел. Бек бесшумно встал, взял платок с гостинцами и на цыпочках спустился по лестнице. Растолкав Бездельника, приказал:

— Иди за мной! Тихо! Не шуми!..

Главное было — выйти со двора. А там, если Кысса, проснувшись, обнаружит, что его нет дома, она непременно спросит жену Бездельника. А той уже было сказано, что отвечать: пристав, мол, вызвал по секретному делу.

А Бездельника бек брал с собой для того, чтобы тот с ружьем в руках караулил у входа, пока он сам будет любезничать с Гумри.

Страстное нетерпение подавило в нем страх и тревогу. Он жаждал поскорее добраться до постели Гумри, обнять ее «мраморное» тело:

«Ради твоей любви, я готов на всякие страдания! О красавица!»

Бездельник взвел курок.

— Иди, бек! Не бойся, — и птица не пролетит!

Бек сделал ему знак держать дуло ружья в другую сторону.

— Ничего не предпринимай и жди. Когда скажу: «Бей!» — тогда стреляй.

Бек перешагнул через изгородь; он шел на цыпочках; в руках у него болтался узелок с подарками. Подойдя к постели Гумри, он заметил неподалеку завязанный в узелок платок, полный чего-то.

Переведя взгляд на постель Гумри, он опешил. Протерев глаза, вгляделся внимательно: да, сомнения не было: рядом с Гумри лежал мужчина могучего сложения и спал.

Бека охватил страх. Затаив дыхание, он попятился назад.

Бездельник, заподозрив что-то неладное, спросил шепотом:

— Что случилось, бек? Стрелять?

У бека точно отнялся язык; невозможно было разобрать его слова. Притянув к себе Бездельника за ворот рубахи, он чуть слышно проговорил:

— Беда, беда!

— А что?

— Беда стряслась со мной, чтоб черт тебя побрал!

— Не бойся, бек! Что случилось? В чем дело?

— Рядом с нею... Что за оказия?!..

— Но что же, что рядом с нею? ..

— Рядом с ней мужчина!..

— Что ты, бек, тебе померещилось! — пробормотал Бездельник, давясь от смеха.

— Померещилось? Я тебе говорю, лежит здоровенный мужчина!

— Да нет же, тебе померещилось!

— Ничего не померещилось. К ней пришел самый настоящий, живой мужчина с подарком, завязанным в платок. Не слепой же я.

Лежит рядом, обняв ее зашею.

Бездельник едва сдерживал разбиравший его смех.

— А вдруг да явился хозяин? Дай вернемся, придешь завтра, а то еще, чего доброго, нарвешься на неприятность! ..

У бека подгибались колени, дрожали руки, сердце бешено колотилось, в глазах рябило. Схватив Бездельника за куртку, он тащил его, говоря:

— Иди сюда, иди и посмотри сам! Надо же понять, что за история такая? Что за дело приключилось с моей законной женой?

Они пошли на цыпочках, осторожно, оглядываясь по сторонам. Приблизившись к спящим, начали шептаться:

— Гляди-ка! В самом деле, а? Ну, видел?

Собравшись с духом, Бездельник хотел подойти к изголовью спящих и посмотреть внимательно, чтобы увидеть, действительно ли это мужчина.

Один из спящих зашевелился; старшина поспешил улепетнуть, пригибаясь, как огородный вор. Когда он прыгал через забор, платок развязался и яблоки покатались по улице; несколько штук упало в водоем. Лягушки прервали свой хор.

Бездельник смеялся, зажав рукой рот.

— Бек, поаво же из этого ничего не выйдет!

— Не бойся, дуралей! ..

— Да ведь сам видишь, — занята она...

Бек молчал, не отпуская полы Бездельника.

Крепко держа его, он тянул к себе, умоляя:

— Погоди! Дай же понять, что это приключилось с моей законной женой?

Держась друг за друга, они снова осторожно направились к спящим, поминутно озираясь по сторонам. Подойдя ближе, слышали храп мужчины.

Бек уже не сомневался, что с Гумри спит любовник.

Честь бека была задета! Кровь бросилась ему в голову, глаза полезли на лоб.

Однако он все еще не верил своим глазам: протирали их платком и опять глядел. Стоял у постели и, вне себя от изумления, таращил глаза на спящих.

— Бек, так и есть — хозяин вернулся! — прошептал Бездельник, потянув его за полу. Гиблое дело, вернемся!

Серая кошка, спавшая на крыше курятника и испуганная их появлением, прыгнула прямо на голову ничего не подозревавшего бека. В том состоянии, в каком был бек, ему показалось, что на его голову опустился тяжелый, как камень, мягкий предмет. Но когда серая кошка запустила когти в его тщательно выбритое лицо, он бросился к забору. Споткнулся, упал; боясь, что спящие встанут и погонятся за ним, он ужом пополз среди колючек и кое-как выбрался со двора. Бездельник, раньше него перепрыгнувший через забор, смотрел на бледневший восток.

— Ей-богу, бек! — сказал он. — Дело становится опасным. Ночь на исходе. Как-нибудь потерпи сегодня, а завтра, если не удастся с этой, мы подыщем тебе другую...

Бек выругал и его и спящего мужчину. — Подай мне ружье! Я заставлю плакать его мать!..

Не успел он договорить, как на его голову снова опустилось что-то тяжелое, но уже далеко не мягкое. То была месть Кыссы-ханум.

Она так заехала деревянным молотком по голове мужу, что у того затрещал череп.

— Ах ты, старый пес! — кричала она. Ты чего это в ночную пору шляешься по чужим дворам? Оставил дома жену и гоняешься за распутными девками? Пусть покроется бесчестием мой головной платок, если я не заведу себе дюжину любовников!

Крик Кыссы-ханум переполошил все село. Уже рассвело. Казалось, солнце в это утро поспешило с восходом, чтобы всему миру показать разыгравшееся на этом маленьком дворике событие.

Бек мгновенно исчез, точно испарился.

Подходившие к забору Гумри спрашивали друг друга:

— Кто умер? Что за шум?

Каждый по-своему объяснял причину переполоха; одни говорили, что от разрыва сердца умерла Гумри, другие — что задушили ее ребенка, а третьим казалось, что это кричал человек, которому вспарывали живот.

Старый караульщик мира — солнце, поднявшись, осветило заспанные, перепуганные лица.

Крики разбудили Кадира, но, опьяненный сладким утренним сном, он не обратил на них внимания и натянул одеяло на голову.

Гумри, открыв глаза и увидав рядом с собой мужчину, вскочила как ужаленная и, не будучи в состоянии вымолвить ни слова, как была, с непокрытой головой и босая, кинулась к калитке.

На ее вопли собрался народ. Она плакала, царапала щеки, била себя по коленям. Ей показалось, что в ее постель влез старшина.

Все старались успокоить ее, хотя никто не понимал, в чем дело. Собравшимся показалось, что удар был нанесен Гумри и кричавшая также была она.

Видя, что Гумри выбежала на улицу, Кадир последовал за ней, чтобы узнать, в чем дело.

На улице происходило настоящее столпотворение. Село ходуном ходило. Гумри плакала, Кысса-ханум кричала, ругая ее. Женщины, окружив их тесным кольцом, старались их успокоить.

Когда Кадир подошел поближе и, улыбаясь, протянул руку соседу Ага-Магомеду, желая поздороваться с ним, тот в ужасе отскочил от него и заорал:

— Мертвец, братцы, мертвец!..

Увидев Кадира, которого все считали умершим, толпа рассыпалась, как испуганное стадо. Все бросились бежать. Женщины произносили молитву. Вызвали ахунда. Переполошилось все село.

Разговоры о вурдалаке переходили из уст в уста.

ПРЕПИРАТЕЛЬСТВА

Это был один из обычных вечеров в деревне.

По пыльной дороге с пастбищ возвращается сытая, довольная скотина, радуясь не то тому, что и на этот раз избежала зубов волка, не то встрече с сосунками и предвкушению сладкого сна.

Мешади Ислам складывает снопы в стога. Мелек-Ниса заботливо доит пятнистую хозяйскую корову. Сорвавшийся с привязи теленок, захватив в рот пальцы женщины, сосет их.

Двухколесные арбы, покончив с тяжелыми принудительными повинностями, передвигаются медленно, словно побежденный богатырь, стеной будто корова от родильных мук.

Куры ждут зерна, собаки — похлебки, лошадь — чистки и ухода, волы — кормушки; а Гаджи Гусейн, сидя на почетном месте у камина, крикает в ожидании плова.

Несмотря на холодный ветер, споры и пересуды на сельской площади не прекращаются. Это открытое, засоренное навозом место расположено между низеньким забором, разрушенной стеной мечети и мясной лавкой и считается центром села. Здесь находит верное направление путник, потерявший дорогу. Здесь теряет свою независимость батрак, жнец, рабочий, приходящий сюда, чтобы продать себя за кусок хлеба. Здесь сельчане сводят счеты с теми, кто украл у них поливную воду. Здесь же мирятся раскаявшиеся враги.

На этой открытой площади лавочник наживаетеся, а крестьянин теряет, молла говорит, а крестьяне слушают. До самого вечера здесь никого не бывает, но с наступлением сумерек закипает жизнь.

Здесь можно узнать новости со всех концов света: о войне, голоде, беспорядках, смерти, воскресении, рождении, об удачах и несчастьях. Здесь сталкиваются ветры, дующие с севера и юга, и расходятся дальше по земле; вызванные их столкновениями ливни разливаются, как водопад, и каждый может выпить глоток этой

воды и найти в ней вкус, которого он ищет.

Все собирающиеся на этой площади принимают участие в общем-разговоре. Словом, площадь выполняет роль газеты, телефона и телеграфа.

Когда распределяют воду, набирают аскеров, раскладывают налоги и собирают деньги на мечеть, здесь происходит нечто похожее на светопреставление.

Грубые и нежные, ясные и глухие голоса сливаются, звенят, гремят, и от них, как от столкновения кремня и железа, сыплются искры.

В этот вечер собрание сильно затянулось, и народ долго не расходился.

Иные из женщин потушили огонь под котлом; другие, накрыв ужину, сидели в ожидании хозяина, отгоняя мяукающую голодную кошку. Были и такие, что, накинув чадру, отправились на сходбище, чтобы, прислонившись к воротам, подслушать, о чем так долго толкуют мужчины.

Чем гуще становился мрак, тем громче раздавались голоса. Люди говорили, не видя лиц собеседников. Впрочем, это и не было необходимо: ведь эти лица были им так хорошо знакомы!

Предметом сегодняшних споров были не налог, не набор аскеров и не распределение воды.

Собравшиеся горячились, толкуя о вещах, которые, пожалуй, не касались их лично.

«Кому должна принадлежать Гумри?»

Случай с Кадиром заставил сельчан забыть обо всех других делах. Весть о его возвращении с молниеносной быстротой долетела до ближайших сел, и всяк, повествуя, как заправский ашуг, норовил поразить своим рассказом воображение собеседника.

Высказывалось много различных мнений. Одни считали это «игрой судьбы». Другие связывали случай с воскресением Кадира с беспорядками и смутами, охватившими весь мир.

— Мир!.. Если так продолжится, то горе тому, кто имеет только одну козу¹. Многие воскреснут, но и очень многие должны будут умереть. Еще при отцах и дедах было замечено: если закат алый, то рассвет будет дождливым; раз год начнется с неудачи, то за бедой пойдет беда.

Бездельник Агабала и подобные ему говорили:

— Непостижимое это дело! Невозможное!

И при этом недоуменно махали рукой, как плетью.

«Кому должна принадлежать Гумри?»

Этот вопрос, точно какая-то тяжесть, лежал у всех на сердце. И каждый бился над тем, чтобы так или иначе разрешить его.

Торговец Ага-Алескер доказывал, ссылаясь на коран, что в таких случаях право на Гумри может иметь тот, кого выберет она сама. А молла с повязкой толковал иначе.

— Согласно авторитетному толкованию корана, если трое почетных, справедливых людей засвидетельствуют, что муж умер, брак с ним считается расторгнутым.

Следовательно, Кадир оставался ни с чем, и Гумри должна была сделаться неотъемлемой собственностью бека, ибо не трое, а целых пятеро «борцов за дело ислама», вернувшихся из похода на армянские села, принесли известие, что Кадир убит.

По словам ахунда, Кадир обязан был сообщить жене о том, что он жив.

Это разъяснение многим показалось правильным; были и такие, кому жалко было Кадира; Мешади Ислам решительно отверг толкование моллы.

— Вздор! — говорил он. — Человек уехал на чужбину, а теперь вернулся обратно. Что можно возразить против этого? Все это проделки бека. Он хочет насильно завладеть Гумри.

Гаджи Гусейн, не вынимая трубку изо рта, прервал Мешади Ислама:

— Хочет? Нет, вы посмотрите! Хочет, говоришь? Что значит

¹ То есть, кто беден, тот скорее погибнет

«хочет»? Эй ты, свинопас! Разве она не законная жена бека?

— Небось давно уже все покончили, — добавил кто-то двусмысленно.

Мешади Ислам покачал головой:

— Ай-ай! Хорошо же ты знаешь Гумри? Да она на него и плюнуть не захочет!..

— Если предоставить покойника самому себе, — возразил, крикнув, Гаджи Гусейн, — то он гроб испачкает. Женщина дала согласие, и брак совершен. Пусть Кадир не то что воскреснет, а хоть на небо ползет, дела все равно не поправить!..

Слова Гаджи Гусейна сильно задели Султанали — товарища Кадира. Он работал тут же, неподалеку, прочищая водосток на крыше своего хозяина, и слышал все, что говорили на площади.

Султанали слез, держась за рамы окна, и, выслушав слова Гаджи Гусейна, сказал:

— Конечно, Гаджи, кто силен, тот и прав. Бек унесет Гумри, как волк ягненка, а домом и двором завладеешь ты.

— Не болтай лишнего! Не твоего ума это дело! Или и ты на Гаджи лаять стал? Тоже разговаривает!..

— А что, Гаджи, не по душе тебе пришлось? — вставил Мешади Ислам.

— Дело ясное, у бедняка даже законную жену отнять хотите. Но... — начал Султанали тихим, но злым голосом.

Гаджи Гусейн вынул трубку изо рта. У него трясся подбородок, изо рта текла слюна.

— Ты что это позволяешь себе болтать лишнее, ах ты, лиса! Или голове твоей надоело держаться на шее?

— От лисы слышу. Лишнее болтаю не я, а подобные тебе почтенные Гаджи! Что ты можешь мне сделать? Кого пугаешь?..

Мешади Ислам поднялся с места.

— Кого пугаешь?

— Кого пугаешь? — продолжал Султанали. — Что может быть хуже нашей теперешней жизни? Чернее черной краски не бывает.

Пример гянджинских беков воодушевил вас. Где теперь совесть!

Назревало столкновение. В напряженной атмосфере запахло порохом. От шуток и прибауток, которыми всего час тому назад обменивалась толпа, не оставалось и следа. Глаза налились кровью.

Гаджи посмотрел на Султанали, тот — на Гаджи. Казалось, они взглядами хотели пронзить друг друга. Ни один не собирался уступать.

— Старый пес!

Эти слова, сказанные с полным убеждением, Султанали подтверждал уничтожающим взглядом и чувствовал себя облегченным.

Впепед выступил Мешади Джангир.

— От этой свиньи мазутом несет; объелся, таскаясь по чужим дворам, вот и бесится с жиру! — произнес он.

Это придало смелости Гаджи, и он залпом выпалил слова, давившие ему сердце:

— Ах вы, сволочи, балшавет! Что вам здесь — Арассея¹, что ли?

— Дядюшка Гаджи, а чем это раздуло тебя брюхо? — насмешливо спросил Мешади Ислам.

Немного не хватало, чтобы Мешади Джангир проткнул пальцами глаза Султанали.

— Я в порошок тебя сотру. Изничтожу так, что трава на твоей могиле не вырастет!.. Раскрой хорошенько глаза и посмотри на меня!..

— Апчхи! Да не может быть!..

То нарочно чихнул Мешади Ислам в ответ на угрозы Мешади Джангира.

Стоявшие в сторонке и ожидавшие, чем кончится эта стычка, нейольно рассмеялись. Это еще больше напугало и разгорячило Гаджи и Мешади Джангира.

Мешади Джангир хотел схватить Султанали за ворот, но тот вырвался. Тогда Мешади Джангир кинулся на него, пытаясь схватить

¹ Россия

его за горло; Султанали, извернувшись, как угорь, выскользнул у него из рук, размахнулся и, ударив его кулаком, в висок, перемахнул через стену и скрылся. У Мешади Джангира искры посыпались из глаз, он зашатался и, чтобы не упасть, прислонился к стене.

Гаджи хотел броситься на Мешади Ислама, но его удержали, В это время подоспел молла с повязкой, на ходу завязывая кушак:

— Да будет проклят шейтан! Что, это за ссоры в эту пору! Расходитесь!

Было совсем темно. Косой свет из окон, пронизывая темноту, падал на суетившиеся фигуры. Услышав шум на площади, многие бросали ужин и спешили сюда узнать, в чем дело. Опоздавшие очень жалели, что не застали ссоры в разгаре.

Вернувшиеся домой мужчины за ужином рассказывали своим женам обо всем случившемся, преувеличивая и раздувая. Особенно восхищались они ударом Султанали.

Женщины считали причиной этой ссоры Гумри и, делая по ее адресу осуждающий жест, говорили:

— Пепел тебе на голову! Не хочешь идти в дом бека, так подыхай себе! Чего же народ мутишь?

Ночью Султанали ушел из села. Глаза его горели гневом и злобой, грудь теснила жажда мести, сжатые кулаки показывали несокрушимую волю к борьбе.

Гаджи долго не мог прийти в себя. Казалось, сознание его было окутано туманом. Он не мог усидеть на месте и, едва передвигая подгибавшиеся ноги, поплелся к Бебир беку.

— Я — старый пес, угу-угу!.. Я — свинья, угу-угу! Мне, угу-угу, раздуло живот! А старшина сидит себе и кушает бозбаш!..

Жена бека вышла в другую комнату.

Пережевывая кусок, бек встал навстречу гостю и сальными, блестящими при свете лампы пальцами указал Гаджи на место, приглашая его сесть.

Проходя через площадь, бек своими ушами слышал всю историю, однако, чтобы «не осложнять дела», поспешил пройти мимо. Теперь

по настроению Гаджи он видел, что дело приняло серьезный оборот. Выпрямившись, он принял суровый вид и в позе «служителя нации» стал слушать Гаджи.

По мере того как Гаджи говорил, его нижняя губа вытягивалась, точно резиновая, и текли слюни. Он хватал себя то за живот, то за голову, упоминая о своей чести, клялся Меккой. Его отрывочные восклицания вроде: «Помощь! До какого дня? Слуга! Холм! Колодец! Борода! Пристав! Завтра!» — еще можно было кое-как понять, но вся речь, прерываемая хныканьем и причитаниями, была совершенно невразумительна.

Бебир бек начал угощать его. Потом долго беседовал с ним. У него оказался готовый план борьбы с Кадиром и другими «бандитами». Не надо спешить и беспокоиться. Он так обделает дело, что все уладится.

— Во-первых, — старался он растолковать своему гостю, — нельзя допустить, чтобы Кадир, став снова Кадиром, свободно разгуливал по селу. Я такую заварил кашу, что Кадир вовек не забудет ее вкуса!..

Набив трубку дешевым табаком, бек умял его большим пальцем и закурил. Гаджи, пыхтя и фыркая, как сильно навьюченный осел, скривил лицо, отвернулся и зажал пальцами нос. Бек понял, что старику не понравился запах серы.

— Ты вот спички боишься, что же ты будешь делать завтра, когда выступишь на поле брани защищать интересы нации? — произнес бек.

Гаджи поперхнулся, точно принимал горькое лекарство, отвернулся в сторону, откашлялся, чихнул и пришел в себя.

— Ну что, — продолжал бек, — хорошее я задумал дело? А знаешь, как?

— Как?..

— Видишь ли, дело это такое, что нужно иметь в руках доказательства. По документальным данным Кадир умер тринадцатого числа месяца сафара...

— То есть подход в день окаянного убийцы святых... — прервал его Гаджи.

— Свидетели знают, что показать. В документе сказано: «такой-то пал от руки армян как жертва». Но слово «жертва» написано по ошибке, это мы исправим... ничего. Словом, сказано, что этот человек помер. С Гумри же брак совершен по закону. Значит, конечно! Не какой-нибудь ведь прохожий марсиехан совершил брачный акт! Там есть подпись почтенного ахунда, и печать приложена, и неустойка в несколько сот золотых в пользу женщины указана. Все сделано по закону. Понятно? Пусть теперь идет куда хочет. Я имею правовзять к себе свою законную жену. А насчет того, что Кадир воскрес, нет ни одного свидетельского показания. Вот на этом-то я его и прихлопну. Что скажешь, а? Если ты, сын свиньи, воскрес, то где твой документ, где твои доказательства?

— Хм...

— Так-то вот! Много шляется тут всяких шалопаев. Если каждый из них будет приходить и заявлять: «Я — Кадир», кто ему поверит? Слава богу, тут есть власти, управляющие народом. Пристав очень со мною считается. Пусть Кадир кричит сколько ему угодно: «Я — Кадир!» — кто ему поверит? Имя Кадира вычеркнуто из списков моего села. Если кто-нибудь нарочно назовется этим именем и появится здесь, разве я сумасшедший, чтобы впустить его в село? Может ли унесенный на кладбище мертвец вернуться назад?.. Конечно, нет! Вышвырну его, клянусь твоей головой, ни одного дня не позволю остаться здесь!

— Неужели, бек, тебе трудно распорядиться, чтобы бросили эту свинью в собачью конуру и покончили с ним? — сказал сердито Гаджи.

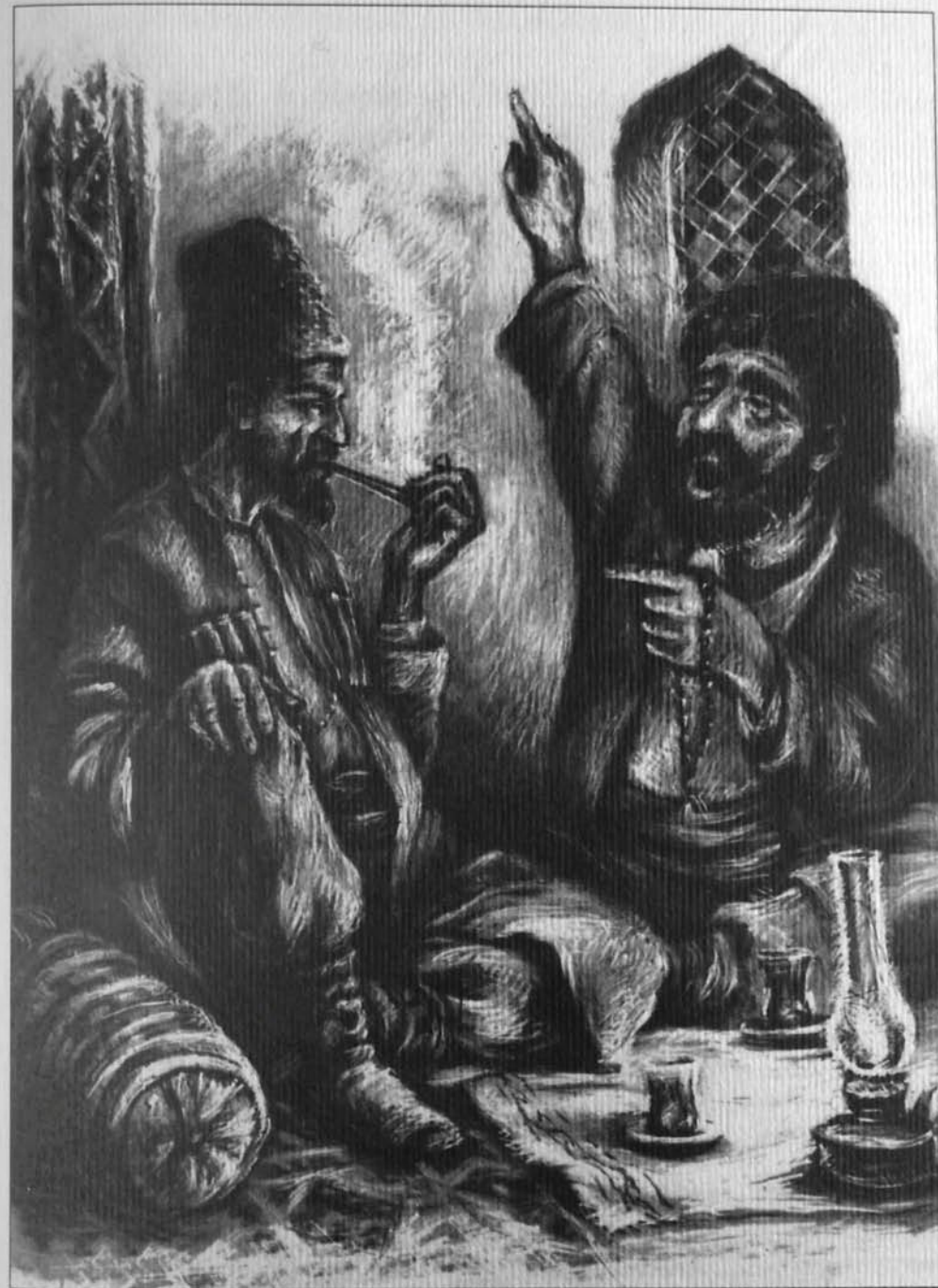
— Не имею права.

— Что? ..

— Не имею права.

— А как же ты смог сослать брата Тат-Гамида на остров Нарген? Неужели Кадир такой уж дракон, что ты прав на него не имеешь?

— Нет, Гаджи, я не то хочу сказать право — то Я имею. Спасибо друзьям, я могу даже всё село поджечь. Пристав никогда не



сделает мне упрека. Несомненно, мы имеем права над нацией. Но дело вот в чем. Кадир умер, его нет в числе живых и если сегодня я посажу его под арест, завтра он моими же словами меня крыть будет: «Если я умер, скажет, как же ты арестовал меня? Разве можно арестовывать мертвого?» Вот почему я не трогаю его. В этом нет никакой нужды. Завтра я выгоню его из деревни. Старшины соседних сел тоже предупреждены. Кто впустит в село мертвеца, вставшего из могилы? Так и сгинет он сам собой.

— И кончено?

— Ясно, кончено!

— Ну и сказал!.. — с этими словами Гаджи отвернулся к стене.

Бек понял, что тому что-то не понравилось в его плане, и силясь припомнить, в чем его ошибка, но хриплый голос Гаджи помешал ему:

— Ты спишь!.. Весь свет вверх дном стал, а ты почитаешь себе! Ты думаешь, Султанали меня поносил или Мешади Джангиру дерзил? Нет! Тут дело посерьезнее. Сегодня он меня обругает, завтра, глядишь, ахунду наругит, а послезавтра и до тебя доберется! Ни с правительством не считаются, ни шариата не признают. Так распустились, что перещеголяли даже русских балшаветов. Сидят на корабле, да еще капитану глаза колют.

Высказав это, Гаджи умолк.

Молчал и старшина. Но скоро снова раздался хриплый голос Гаджи.

— Нет, старшина, говорил он еще увереннее. Так не годится! Я отправлюсь в город и там поговорю. Дело не в одном Кадире...

«С одним врагом справиться нетрудно, беда, если наступление поведут с четырех сторон!..» — вспомнил он стихи поэта.

Им подали крепкого чаю.

Жена позвала бека к двери; тот отошел, что-то пробурчал и снова вернулся.

— Ты не понял меня, Гаджи. Ты сначала узнай, что я говорю. Увидишь, что я сделаю с Султанали! ..

— Ничего ты не сделаешь!

— Клянусь твоей головой, дело у меня в кармане!

С этими словами он вынул из кармана кисет с табаком, четки, ножик, печать; поискав еще, вытащил измятую бумажку. Наклонившись к Гаджи и мигнув ему, тихо сказал:

— Если даже сто лет проживешь, все равно не сумеешь так проникнуть в проделки Султанали, как я. Я только не хотел открывать тебе.

Бек встал, кинул взгляд на окно, велел жене никого не впускать, сел, поджав под себя ноги, и начал шепотом:

— Тебе тоже известно, что Султанали — сторонник балшаветов. Пристав прислал мне секретное письмо, чтобы я проследил и раскрыл дела этого плута. Ты же слышал, что в Багмане слуга рябого Кязима убил своего хозяина и скрылся. Сына Гаджи Ага-киши зарезали. В городе начались волнения среди рабочих. Говорят, вчера на мыловаренном заводе Джаббара Кечиева разбили котлы. На вокзале рабочие бастуют. Все это и возбуждает деревенскую гольтьбу, придает им смелости, делает их дерзкими. Начальник приказал приставам составить списки изменников нации. Вот мы и составляем. Поодиночке спровадим этих негодяев; твоего «приятеля» тоже «определим» этой ночью, — я про Султанали говорю. Его уведут сегодня ночью, а там остальных потихоньку, поодиночке... Точно как коршун уносит цыплят по одному. Уж будь покоен. Пусть я буду собачьим сыном, если не уничтожу это семя!.. Мы всех их знаем. Ты только не торопись. Твое дело — присматриваться, приглядываться и, если что заметишь, доносить мне. Я говорил с приставом.

В доме было тихо. Гаджи с интересом слушал бека. Когда он узнал, что ожидает Султанали, у него polegало на сердце. Он думал: «Хорошо бы, когда его арестуют, стать в стороне и, плюнув ему в лицо, ударить по голове да сказать: «Подыхай, балшавет, сын балшавета! Сгнивай в тюрьме! Ну, каково тебе?»

Бек свернул разговор на другое.

— Я хочу отпраздновать свадьбу, — сказал он совсем иным тоном. — Что ты скажешь?

— Отчего нет, отпразднуем!

— Будь уверен, отпразднуем ее так, как твоей душе угодно! — воскликнул бек, вставая.

Так и не впустили Кадира в деревню. Все — и взрослые и дети, — завидя Кадира издали, кричали: «Хортдан!» Вышедший из могилы мертвец наводил на всех ужас. Никто не подпускал его близко. Лишь в своей семье и среди друзей он встретил сочувствие и поддержку. Однако это еще не давало права на жизнь. Один из друзей, услышав в соседнем селе о воскресении Кадира, так выразился о нем:

— Очень глупо сделал, что воскрес. Он думал, что живые тут халву едят? Несчастный, отказался от такой благодати, как смерть, и прибежал сюда! Жить, мол, хочу! Ну и живи, черт с тобой! Я посмотрю, как ты будешь жить без еды, без питья, без гнезда, без пристанища! Это не жизнь, а хуже смерти. Околевай за день сто раз, тогда поймешь, что значит могильный покой!

И все-таки, вопреки всему, Кадир страстно хотел жить. Он хотел, собрав все силы, сколько их у него было, крикнуть на весь свет, что он жив, не умер и не хочет умирать, но не хватало голоса. Ему казалось, что люди, дома, улицы, воды, деревья — все, все готово подтвердить слова бека. Все, даже многократно им вспаханные и скошенные поля, получив дар слова, насмехались над ним, говоря: «Вы поглядите на него! Что нужно здесь этому мертвецу?»

Переживания первых дней, казавшиеся Кадиру сном, постепенно превращались в действительность. Ни его фактическое существование, ни его уверения, ни заявления свидетелей не могли доказать его право на жизнь.

Старшина настаивал на своем. Трудно было зачеркнуть то, что было записано на бумаге. Кадир пошел к служителю религии ахунду и попросил помочь горю. Он требовал, чтобы шариат рассмотрел его дело и высказал свое отношение ко всем беззакониям, которые были допущены против него.

— Слыхал, сын мой, слыхал, — сказал ахунд, — на том брачном акте есть и моя печать. Дело очень сложное. Говоря по справедливости, и тебя винить нельзя, ведь ты тоже не знал. Но три всеми уважаемых человека подписались на свидетельстве, и брак был совершен; на нем имеется подпись духовенства. Все в точности, по

закону. Я прямо поражен твоим воскресением.

Кадир ничего не понял из разъяснений ахунда.

— То есть как это, ахунд-ага? Ведь я не умирал, чтоб воскреснуть! Поймите, я не умирал! Не знаю, кто это выдумал? Благодарение аллаху, со мной ничего не случилось! Неужели вы не видите, что я жив и здоров?

— Нет, сын мой, дело не в этом. Умер ли ты или жив — это безразлично. Раз три заслуживающих доверия свидетеля, духовенство и почетные лица подписались и решили, что можно возразить против этого? Ты — один, а это — решение десяти. Ты — Кадир, а они: Бебир бек, Мешали Джангир, Мир Гамбар и другие важные персоны! Глава шариата не станет из-за одного человека жертвовать пятью другими и не выставит их лжецами. Твоя смерть пришлась очень кстати. Что ж из того, что ты не умер! Разве мало места на земле? Иди куда тебе угодно и устраивайся. Кто его знает, много ли осталось тебе жить в этом бренном мире. Что тебе нужно от этих людей?..

— Ахунд, я с этим несогласен. Умный человек так не станет говорить. Я пойду к самому Шейх-уль-исламу и открою ему все. Пусть узнают они, как вы в деревнях искажаете шариат, как вы поддерживаете сторону старшин, попираете истину и не хотите видеть меня — здорового, живого человека! Я все ему скажу и попрошу у него ответа. Посмотрим, кто достоин смерти. Что из того, что я беден? Разве на бедняков и батраков не распространяется божья благодать? Разве не стало справедливости на земле?

— Воля твоя!

— Хочу попросить вас об одном.

— Все, что в моих силах.

— Я прошу, чтобы до получения ответа от Шейх-уль-ислама вы не позволили справить свадьбу Гумри. Если городские власти и Шейх-уль-ислам тоже не признают меня живым, тогда делайте как хотите!

Ахунд подумал и, кивнув головой, сказал:

— Пусть будет так.

И Кадир с Мешади Исламом отправились в город.

ЗИМНИЕ НОЧИ

Воскресение Кадира хоть и не вырвало Гумри из рук старшины, но свадьбу задержало надолго. Молла с повязкой, приведя толкование Фазили Дербенди¹, доказывал, что в подобных случаях необходимо подождать решения главы духовенства.

Поэтому, чтобы обезопасить Гумри и от Кадира и от старшины, решили временно поместить ее в дом какого-либо почетного человека.

И вот ее с ребенком на руках, с заплаканными глазами, отвели в дом ахунда. Гаджи Гусейн поспешил завладеть саклей Гумри. На дворе под тутовым деревом был разостлан палас, и Гаджи принял участие в угощении, которое устроил в его честь новый арендатор двора.

Гумри не хотела идти в дом ахунда. Она предпочитала остаться в своей бедной лачуге, где она жила со своим любимым мужем хоть и впроголодь, но все же счастливо. Ей хотелось остаться одной под закоптелым бревенчатым потолком своей избы и плакать, чтобы в горячих слезах излить терзавшее ее горе. Но ей отказали даже в этом утешении и, ссылаясь на «честь, стыд, совесть» и священные законы шариата, отдали ее в дом ахунда в качестве аманата.

Жена ахунда, Ширин, была приветливая и гостеприимная женщина. Проникшись жалостью к Гумри, она всячески старалась утешить ее.

В этот вечер в доме ахунда встретились два человека с совершенно разными настроениями. Насколько печальна и грустна была Гумри, принеся в этот дом слезы и уныние, настолько весел и жизнерадостен был ахунд. Совершив омовение, он с мокрой красной бородой, с которой капала вода, и с засученными рукавами заглянул в комнату Гумри и, поздоровавшись с ней, сказал:

¹Известный в свое время ученый-теолог

— Дочка, считай, что это твой собственный дом. Не надо горевать. Как велит глава шариата, так мы и поступим.

Дело совсем не такое сложное. Не падай же духом! Как бы дело ни решилось, ты вдовой не останешься.

Чтобы утешить Гумри и в то же время выполнить веление божье, он разложил перед собою большие, толстые книги в сафьяновых переплетах и принялся выбивать из них пыль; потом уселся и, поджав под себя ноги, раскачиваясь, начал читать авторитетные толкования. Все, что читал ахунд, было посвящено добродетельным женщинам, временным бракам, брачным актам.

Вечером в одной из книг он прочел следующий рассказ:

«Езид — сын Моавие, да будет проклято имя его, влюбился в жену Абдуллы — сына Кэба. Езид, окаянный, был детина рослый. Он поведал отцу о своем горе. Моавие вызвал Абдуллу из Медины и назначил его на важный пост. Затем, оставшись с глазу на глаз с ним, сказал:

— Мой сын Езид, к несчастью, вырос дурнем. Я решил лишить его наследства, сделать тебя моим наследником и мою единственную дочь, сокрытую от людских взоров, отдать тебе в жены. Разведись же с женой и переезжай сюда из Медины.

Абдулла — сын Кэба — от радости упал в обморок. Пригласив к себе моллу, он поручил ему отправиться в Медину и развести его с женой.

Тому же самому молле Моавие втайне от Абдуллы поручил, чтобы он, разведя Абдуллу, тотчас же обвенчал его жену с Езидом.

Молла был рябой, некрасивый и нищий старик.

Сев на верблюда, он отправился в Медину и, явившись к жене Абдуллы, сына Кэба, сказал ей следующее:

— Если желаешь пользоваться всеми благами жизни, жить в богатстве и довольстве, окруженная слугами, то выходи замуж за Езида. Если же хочешь прожить на этом свете скромно, но зато быть счастливой в будущей жизни, если хочешь в день пришествия

благоденствовать в раю, наслаждаться вечным счастьем, беседовать со святыми, пить священную воду и гулять в раю, то выходи замуж за меня...»

Тут молла с повязкой прервал чтение, поднял голову и многозначительно посмотрел на Гумри. Прикорнув в углу и закрывшись чадрой, Гумри кормила ребенка. Чтобы привлечь ее внимание, молла кашлянул:

— Ты посмотри, как поступила достойная жена Абдуллы...

— Как же она поступила?

— «Жена Абдуллы, будучи добродетельной и верующей женщиной, подумала и сказала: «О, пресветлый шейх, пусть Езид подавится своим богатством, а на верность Абдуллы мне наплевать! Я желаю выйти за тебя. Читай же молитву о браке!»

Кончив чтение, молла с повязкой опустил голову потом, кинув исподлобья взгляд на Гумри, отхлебнул чаю.

— Ну, каково, Гумри-ханум?

— Да что же! Рассказ!..

— Да, рассказ, но очень важный. Ты видишь, какие бывали добродетельные жены? Да-а-а, не чета теперешним женщинам, которые прельщаются богатством и прочей суетой. Не то было в те времена!..

Не успел ахунд снять очки, как в комнату вошел старшина; отряхнув о дверной косяк свою большую желтую бухарскую папаху, он сказал:

— Ужасный дождь!

И стал вытирать ноги.

Ширин поспешила встать. Ахунд что-то пробормотал в ответ. Ему показалось странным появление старшины в такой поздний час, и он сказал:

— Что случилось, бек? Какими судьбами?

— Ничего, все благополучно.

Бек сел. Ширин наострила уши, надеясь услышать что-нибудь новое.

Муки Гумри возобновились. Ее охватило возмущение, но ей ничего не оставалось, как молчать. Ахунд поднял глаза на старшину. Старшина видел, что тот не догадывается об истинной причине его прихода. Довольный этим, он решил действовать осторожно и, чтобы цель его посещения показалась еще более значительной, стал попыхивать трубкой, обдумывая в то же время, с чего начать разговор. По дороге сюда он подготовил уже тему для беседы, но при виде Гумри все вылетело у него из головы.

И вот, дымя трубкой, он старался вспомнить, о чем хотел говорить. Ахунд же, думавший, что разговор опять будет про убийства, сторал от любопытства.

— Так вы говорите, бек, что все благополучно?— переспросил он, не стерпев.

— Конечно, благополучно. Что же могло случиться?

Снова воцарилось молчание. Ахунд не сомневался, что бек собирается говорить об очень важном предмете. Весь превратившись в слух, он устался на гостя.

— Да, так вот, э-э-э... Что я хотел сказать? .. Ах, черт побери, все мои мысли спутались! — начал бек, чувствуя, что больше молчать нельзя. Но снова замолчал, так как никак не мог найти тему для разговора.

Ахунд забеспокоился. Может, его жена и дети позволили себе что-нибудь такое, что обидело бека? Он пристально оглядел жену с головы до ног. Как будто ничего; только вот видны пальцы ног, выкрашенных хною. Как только он кашлянул, Ширин своей широкой и длинной юбкой прикрыла их.

Старшина начал:

— Да, м-м-м, ахунд, ты совершенно не интересуешься судьбой нации.

— То есть как?

— Да так!

— Может, опять есть какие-нибудь известия насчет армян?

— Конечно, есть!..

— Уж не взят ли Аскеран?

— Будет взят!.. Когда придет время...

— Когда же? Или мусульмане уже вошли в город?

— Бог даст, и в город войдут и в село войдут. Почему бы им не войти?..

Тема для разговора была найдена. Бек успокоился и заговорил увереннее.

— Я страшно волнуюсь. Я предпочел бы быть закованным в цепи, чем переживать это. Сколько ни просил пристава отпустить меня на фронт, ни за что не отпускает. «Если, говорит, и ты оставишь село, кто же будет защищать женщин и детей?» Но, клянусь святыми, ахунд, я не выдержу! Как? Быть побежденным? Подобаает ли это игиту? Раз отправляюсь на фронт — или умру, или одолею врага. Я пришел узнать, что ты мне посоветуешь?

Ахунд прервал его:

— М-м-м, я вас знаю. Да благословит вас аллах, вы обладаете мужеством Али. У кого чистая кровь, тот лопатками не коснется земли. Я советую ехать. Если тебя увидит Мехмандаров¹, поспешит прижать тебя к сердцу.

Бек решил, что приятель хочет спровадить его, чтобы потом самому овладеть Гумри. «Так нет уж, старая лиса, — сказал он про себя, — не удастся тебе попользоваться Гумри! Не по зубам орешек! Где уж ослу понять вкус шафрана. Нет уж, извините!»

Был поздний час. Бек собрался уходить; никто его не задерживал. Ахунд был очень обрадован: ему казалось, что бек немедленно отправится воевать с армянами.

— Счастливого пути, бек! Желаю удачи!

Пора было укладываться спать. Из уважения к Гумри ахунд приказал постелить себе в маленькой комнате. Гумри вышла во двор; проходя через переднюю, она слышала какие-то звуки,

¹ генерал С. Мехмандаров — мусаватский военный министр.

точно с крыши счищали снег. Но лишь после, войдя в комнату, поняла, что это ахунд почесывается в постели.

Ахунд велел Ширин постелить для Гумри шелковую постель, говоря: «Она — божий гость, надо быть с ней любезными».

Погасили свет. Все затихло. Словно тяжелая нужда, сон прикрыв дома черными крыльями.

Все живое сомкнуло глаза. Только серебряные часы ахунда с портретом шаха на крышке тикали в кармане его архалука.

Ахунду не спалось; лежа в темноте, он перебирал в памяти одно за другим все существующие в мире блага и пришел к выводу, что женщина — это «царица всех благ». В особенности такая, как Гумри — «королева красоты». Поистине — это настоящая гумри!¹ «Да буду я жертвой ради матери, давшей ей это имя!»

Ему показалось, что прочитанный вечером рассказ не остался без влияния на Гумри. Ее покорное молчание и почтительное поддакивание доказывали, что Гумри одобряла образ действий жены Абдуллы и сама хотела бы быть такой.

«Хотела бы, конечно! Иначе высказалась бы...»

Желательное предположение сильнее нежелательной истины!

Страсть сжигала ахунда.

«Каждую из быстротекущих минут используй по своему желанию».

Когда он вспомнил это изречение Омара Хайяма, ему показалось, что у него выросли крылья. Он встал; чтобы не производить шума, не стал одеваться, лишь набросил на себя черный ночной халат и вышел в переднюю. Взявшись за ручку двери, произнес молитву и осторожно приоткрыл дверь. Потом бесшумно, как вор, боком проскользнул в комнату, где спали женщины, и остановился, чтобы осмотреться. Если бы кто-либо проснулся, он притворился бы, что ищет спички. Убедившись, что все спят глубоким сном, он произнес еще молитву и, как яще-

² Гумри — горлинка.

рица, растянулся на полу. Потянулся рукой к шелковой постели у окна; проведя рукой поверх одеяла, определил положение спящей. Затем, согрев руку под мышкой, осторожно просунул ее под одеяло; пальцы его коснулись теплых, мягких икр спящей; сердце у ахунда сильно забилося, словно собиралось выпрыгнуть из груди.

Представилась ему Гумри, с ее нежным взглядом и чарующими глазами. Он хотел откинуть страх и благоразумие и обвить поясом вокруг ее нежного стана. Еще раз мысленно послал проклятие шейтану и задышал отрывисто. Что-то спирало ему грудь, щекотало в горле, и ему хотелось кашлянуть. Еще минута, и он бы закашлял; но он с трудом удержался, зажал рот рукой и несколько раз бесшумно проглотил слюну.

Прикосновение его руки к телу женщины не встретило сопротивления, и он готов был воскликнуть в радостном порыве: «Ах, Гумри-ханум, моя желанная!» и заключить ее в свои объятия. Но этого он не мог сделать, так как в комнате были «посторонние». Он окончательно утвердился в убеждении, что вечернее чтение благотворно повлияло на Гумри и что она согласна принадлежать ему. Оставалось прочесть лишь молитву о временном браке, чтобы все было по закону!..

Во тьме ночи, тяжело дыша, ахунд шевелил губами и весь мокрый от пота мысленно произносил слова брачной молитвы.

...Достигнув своего, ахунд, довольный и радостный, словно наевшись меда с маслом, вернулся в свою постель. Опьяненный победой, он почувствовал прилив бодрости и сразу осмелел.

«Недаром меня называют «молла с повязкой!» — говорил он про себя. — Пусть Бебир бек хоть головой об стенку бьется, а Кадир пусть сколько хочет воскресает. Все равно истина возьмет верх! Гумри, переносящая адские муки, будет, точно в раю, наслаждаться в моих объятиях. А если после этого она и не захочет быть моей, то это неважно! Как говорят: «Сорви цветок, отбрось шипы».

Однако от этого сравнения его покорило. В самом деле, разве можно сравнивать бело-мраморное, благоухающее тело Гумри с шипами?

И опять ожили перед его взором прекрасные формы Гумри. На этот раз на ней не было ни чадры, ни одежды. Как обнаженная райская гурия, стояла она и ждала свидания с ахундом.

Это придало ахунду мужества. «Как знать, — подумал он, — может, больше не представится такой удобный случай? Зачем же зевать, почему не выпить еще живительной влаги, раз есть возможность?»

Он встал. На этот раз ничем не накрылся. Быстро пошел вперед, словно глаза его проникали сквозь мрак. Он двигался теперь не как неопытный и трусливый огородный воришка, а шел смело и уверенно, как бывалый грабитель.

Войдя в заветную комнату, ахунд пошел на цыпочках. Полез под одеяло. Обнял женщину. Ахунд переживал самые счастливые минуты своей жизни.

Казалось, все окружающее завидовало ахунду. По двору пронесся ветер; что-то сорвалось с дерева и, упав, зазвенело. Прокричали петухи.

Ахунд боялся, что проснется его жена. Но он ошибался: ему следовало бояться собственного пробуждения. Так и случилось. Он проснулся. С трудом оторвался от блаженного сна, раскрыл глаза и... так и застыл.

Женщина, которую он держал в объятиях, была его жена Ширин! Обычно он месяцами не подходил к ней, так как она ему была противна. Ширин удивилась поведению ахунда в эту ночь, но истинного смысла его не поняла.

— Что с тобой сегодня? Не пойму!.. Ахунд прикусил палец. Раздосадованный, сконфуженный и опечаленный, точно его корабли потонули в море, он вернулся к себе, проклиная сатану. Никогда еще не бывал он так обманут и посрамлен!

Одно лишь утешало его, что никто, кроме него самого, не знал, как жестоко он обманулся.

«Аллах не выдает тайн и моей тайны не выдаст... Иншаллах не выдаст!...»

Воскресения Кадира в городе не признали, а за то, что он попытался воскреснуть, его посадили туда, откуда не было возврата.

Когда об этом было получено извещение «главы шариата», старшина взялся за дело. Всех приходивших к нему гостей он теперь угощал сладким чаем и жареным барашком. Начались усиленные приготовления к свадьбе.

— Ребята, — говорил бек своим друзьям, резвясь и радуясь, точно восемнадцатилетний юноша. — Вы не смотрите на то, что я женат. Моя настоящая свадьба будет только теперь. Я женюсь на такой прелести, как Гумри. Чего там болтает Кысса-ханум? Я сделаю ее рабыней Гумри и заставлю прислуживать ей!..

Так говорил он для того, чтобы заставить замолчать злые языки, которые называли его «пятидесятилетним юношей»¹.

Когда это дошло до ушей Кыссы-ханум, она чуть не лопнула от злости. В кровь разбила себе голову и, забрав троих детей, хотела босая уйти из дому, но ее удержала Гумри:

— Не бойся, Кысса-ханум. Мне совестно перед тобой и твоими детьми, но в то же время я удивляюсь твоей наивности. Будь у меня тысяча тел и все покрыты паршой, и тогда бы я не допустила к себе Бебир бека! Пусть эти приготовления не огорчают тебя. Дай бог здоровья Кадиру. Одного имени его мне достаточно. Эти приготовления не к свадьбе, а к чьему-то трауру! Если состоится свадьба, то небеса расколются и упадут на землю.

Кысса-ханум поверила словам Гумри, которая, точно арестант, была заперта в отдельную комнату. Верила она потому, что Гумри была честна, искренна и правдива. После этих слов Кысса почувствовала к Гумри симпатию; она заходила к ней, ласкала ее

¹Так называется очень популярная в народе азербайджанская оперетта.

ребенка. Но чувство ревности и ожидание чего-то тревожного продолжали мучить ее. Ей было невдомек, чем кончатся эти приготовления: не то к свадьбе, не то к беде. Стоя на балконе и скрестив руки на груди, она глядела на предсвадебную суматоху и думала, думала...

Под последнюю среду уходящего года бек роздал бедным и нуждающимся шесть рублей деньгами и пять чаш ячменя. Бездельнику он поручил разжечь праздничный костер за домом, возле тендыра. Вечером, когда стемнело, высоко поднялось пламя костра; едкий дым от кизяка и соломы окутал всю деревню, треск сухих веток был слышен далеко вокруг бекского дома.

В селе пускали самодельные ракеты; взобравшись на крыши домов, на глиняные стены, люди оглашали воздух радостными криками. Дети и женщины с веселым визгом прыгали через костер. Бездельник, зацепив вилами горящие пламенем колючие ветки, высоко держал их над головой, как знамя. От куста разлетались во все стороны красные угольки.

— Не балуйся! — кричал бек, сердясь на своего слугу. Еще пожар устроишь! Детство свое вспомнил, что ли?

Бездельник отбросил вилы в сторону и ушел со двора. Бек совершил на веранде омовение перед молитвой и пошел за дом, к праздничному костру. Ему хотелось попрыгать через костер, чтобы стряхнуть в огонь все ожидавшие его неприятности. Подобрал полы своего архалука и высунув, как маленький мальчик, язык, он сбил палкой пламя костра и принялся прыгать через него, при этом бормоча слова заклинаний:

Будь милостивой, среда!¹
Даруй мне счастье, среда!
Унеси мои недуги, среда!
Даруй мне счастье, среда!

¹ Последняя среда перед наступлением нового года (весеннего равноденствия, новруз-байрама) считается большим праздником.

Пусть уйдут мои болезни!
 Пусть вернется мне счастье!
 Ты, среда, счастливый день,
 Приносишь всем удачу!
 Усмири моих врагов,
 Зажми им уста!

Бибир бек не сомневался, что так удачно и по всем правилам совершенный им праздничный обряд принесет ему удачу. Вспомнив о смерти Кадира, о заключении брака, он говорил себе: «Это ли не удача? Счастье не дверь канцелярии, чтобы скрипело. Оно приходит и уходит без всякого скрипа и не кричит о себе. Все, чего мне хотелось, постепенно сбывается. Какие могут быть еще сомнения? Нет, нет! Нельзя быть неблагодарным... Я очень доволен создателем!...»

Довольный собой и своим положением, бек облачился в свой новый костюм и вышел на улицу, чтобы подслушать у чьих-нибудь дверей предпраздничный разговор¹.

¹ Под праздник загадывают что-нибудь и подслушивают у дверей.

УВЕРЕННОСТЬ

Кадир с Мешади Исламом очень спешили. Им не терпелось поскорее добраться до города, чтобы разоблачить проделки Бебир бека и «моллы с повязкой». Уверенные в своей безнаказанности в этой глухой стороне, они и подобные им люди попирают закон и шариат и делают все, что им угодно. Нельзя терпеть это! Пусть те, кто издает законы, а также глава шариата узнают, что творят эти люди в селах над несчастным народом!

Прежде всего надо было явиться к Шейх-уль-исламу.

Пусть он собственными ушами услышит, что приходится терпеть беднякам.

Кадир шел понуриив голову и думал:

«Он повернет к нам свое светлое, благостное лицо и начнет расспрашивать нас, поглаживая свою бороду, приветливо глядя на нас.

Откинув страх и смущение, я начну говорить и выскажу все, что у меня наболело. Я его уверю, что «молла с повязкой» думает только о своем брюхе. Старшина, вместо того чтобы защищать честь народа, прибегает ко всяким хитростям, чтобы завладеть женами бедняков. Агсаккалы же села все заодно с ними, не хотят признать живым такого здорового мужчину, как я. Сами пишут бумажку, сами же подписывают, прикладывают печать, а меня не пускают в мой собственный дом. Какой шариат допускает это? Разве так говорит закон? Будь у меня деньги и возможность, я поехал бы в Баку и рассказал бы все Насиб беку. Не стыдно ли было бы тогда вам? Что за насилие? Где это видано?

Шейх-уль-ислам удивится, не поверит. Тогда я скажу: «Пошли с нами кого-нибудь, пусть он поедет и собственными глазами убедится, что я говорю правду. Пусть убедится, что я ничего не выдумываю, говорю то, что сделали со мной, несчастным. Пусть проверит все и увидит своими глазами. И вы, во имя нации и ислама, накажите этих изменников, чтобы другим было неповадно!»

Мешади Ислам всю дорогу что-то говорил, но Кадир был охвачен своими мыслями и не слышал его.

Наконец они добрались до города. Был дождливый день. На тротуарах грязь была по колено. Увязая в ней, они с трудом продвигались вперед. Проезжавшие фаэтоны обдавали их брызгами. Люди, подобрав полы, пробирались осторожно, как кошки, боящиеся замочить лапки.

А Кадир с товарищем спешили. Не обращая внимания ни на что, они шли быстро, хлюпая по лужам. Из-под их ног летели брызги грязи, пачкая прохожих. Те кидали на них сердитые взгляды и кричали:

— Осторожней, эй, деревенский осел!

— Тише, дикарь!..

Но они не обращали на это внимания; через две минуты они должны были в присутствии Шейх-уль-флама доказать, кто именно осел...

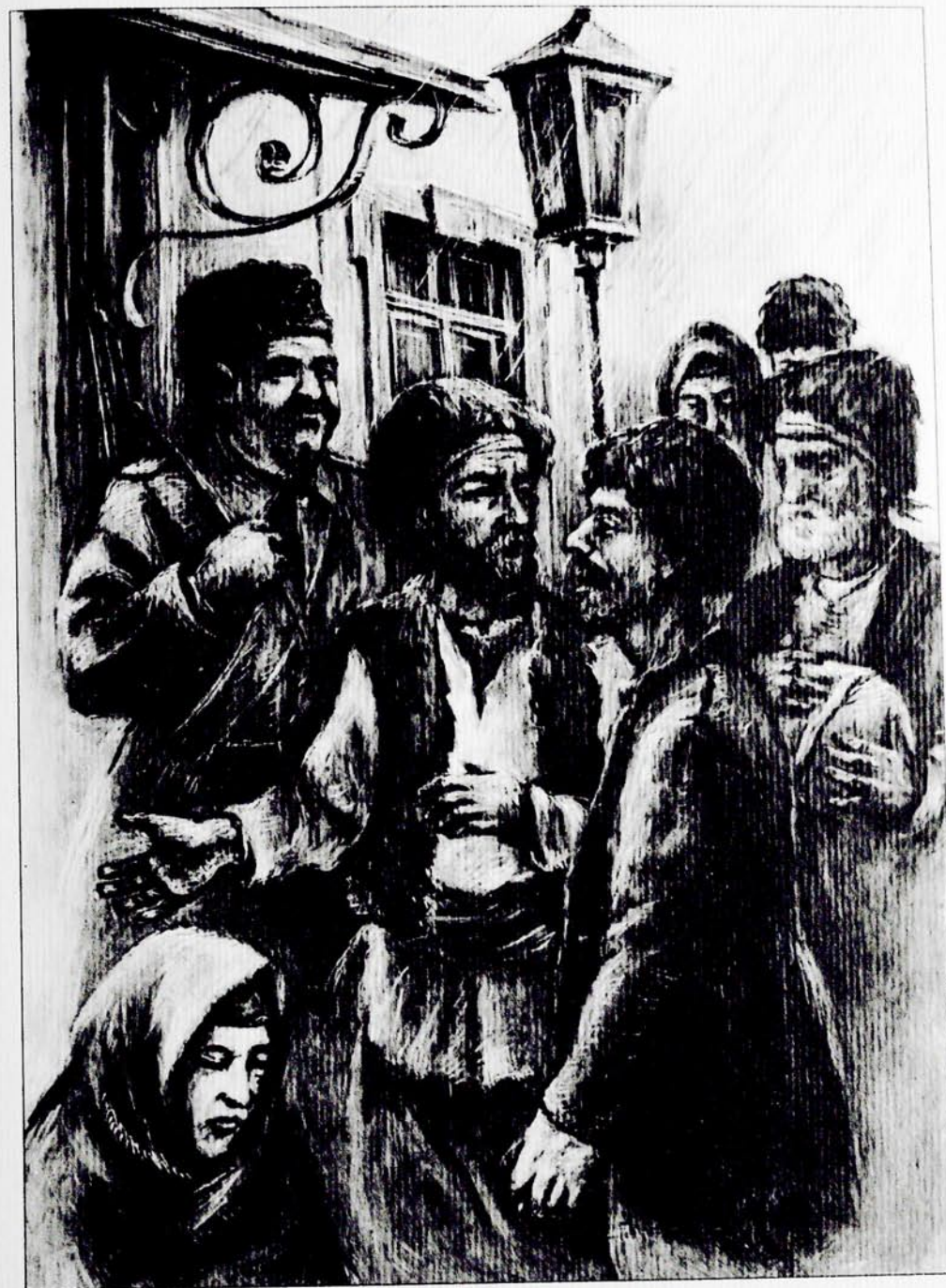
Из мечети они вернулись разочарованные: оказалось, что Шейх-уль-ислам поехал на свадьбу какого-то бека и не скоро вернется.

— Пойдем прямо к приставу, — сказал Мешади Ислам.

Делать нечего, Кадиру пришлось согласиться. Канцелярия пристава находилась на площади, рядом с городской думой. На расспросы путникам ответили: «Управление Аляс бека?» — и указали, как пройти к нему. Дойдя до него, они увидели у дверей целую толпу, которая под дождем ждала приема. В дверях стоял городской, впуская по очереди просителей. Господа с длинными усами, в серебряных погонах входили без очереди и с веселым смехом выходили оттуда.

Сидевшие в очереди у стены крестьяне держали в руках какие-нибудь приношения. На многих из них был наложен штраф. Были тут и пришедшие с жалобой, вроде Кадира. Одни были с хурджунами, другие принесли барашков, турачей и т. д.

Только теперь спохватился Кадир, что он явился с пустыми руками.



— Давай вернемся!.. — шепнул он Мешади Исламу, боясь, что их прогонят с позором.

Но тот не согласился:

— В чем дело? У одного есть — приносит, а у другого нет. Он наш начальник. Кому же мы можем рассказать о наших нуждах и горе, если не ему? Пусть услышит и увидит, как тяжело нам приходится в деревне. Разве дают нам возможность приходить с полными руками? С голоду мне подвело живот. Что же я мог принести, чужак ты этакий!

Нищая женщина, с истощенным, голым ребенком на руках, прислонясь к наружным дверям, просила милостыню. Но всем было не до нее. Городовой, закрывая дверь, сердито кричал:

— Иди, иди, бог подаст!

Женщина как будто щипала ребенка, тот отчаянно визжал, а она хриплым, страдальческим голосом умоляла:

— Пожалейте, с голоду помирает!

Батраки были самые последние в очереди. Городовой, окинув их взглядом, спросил:

— А у вас где вещи?

— У нас нет вещей!

— Ничего нет?

— Нет, ничего!..

Городовой косо поглядел на них и промолчал.

Очередь уже подходила к ним. Чтобы предстать перед приставом в приличном виде, Кадир застегнул пуговицы и оправил на себе одежду. Сердце сильно билось. Он повторял про себя свою жалобу, чтобы не растеряться. Но городовой, взяв в руки ружье, встал и, укрепляя на задвижку одну половину двери, объявил:

— Прием окончен. Кто не попал сегодня, пусть придет завтра!..

С этими словами он вошел в дом, а путники, огорченные и раздосадованные, вернулись обратно.

На следующее утро чуть свет они торчали у дверей канцелярии пристава. На этот раз день выдался погожий, показалось солнце, но

дул северный ветер, и было очень холодно. Стараясь согреться, они переступали с ноги на ногу. Не было настроения говорить. Почему-то в такое время человеку минута кажется целым годом. День, как, в месяц поста, тянулся бесконечно долго.

Скоро выстроился целый хвост просителей. Сегодня, кроме простолюдинов и крестьян вроде Кадира, были и «казенные» люди. Один из них, старик в чохе старинного покроя, с засаленным воротником и в потертой бухарской папахе, говорил о высоких материях. Один из багманларцев, стоявший около Кадира, шепнул ему на ухо:

— Это «служитель нации», Мешади Фарзали.

Кадир стал внимательно разглядывать его. Под глазами у того были черные круги, кончик носа красный, как перец, губы толстые и отвислые; в мутных глазах заметно какое-то волнение, хотя трудно было понять, чем оно вызвано. Кадиру показалось, что забота о «нации» причиняла ему массу хлопот. От слишком усердного служения «нации» у него полысел череп и вытянулась шея.

Подошли нищие и стали обходить очередь, прося подаяния. Кто-то полез в карман и дал им два пятака. Но «служитель нации» вдруг рассердился:

— Эй, любезный, не давай милостыни! Брат мой, не давай! Господин мой, не давай!

Все обернулись к нему. Он напустился на давшего подаяние и, размахивая руками, говорил так громко, как будто произошло что-то особенное, непоправимое.

— Господин мой, отдаешь ли ты себе отчет, какой поступок ты совершил? Если у тебя завелись лишние деньги, так купи кислого молока и вылей себе на голову!

Кадир не мог удержаться от смеха. Ему было известно, что кислое молоко покупается обычно для еды, а в некоторых случаях, когда, например, ужалит человека змея, для лечения. Но он не знал, что кислое молоко можно вылить на голову. Мешади Ислам тоже

не понимал смысла слов «служителя нации». А тот продолжал сетовать и выговаривать:

— О бедная нация! Когда ты проснешься?.. Дай милостыню Вартазару, подай Амбарцуму, подай гяуру! Пусть они привыкают! Пусть нищими будут враги религии! Но зачем вы приучаете к попрошайничеству своего же брата-мусульманина?! Не довольно ли? Такие вот, как вы, и сделали нацию несчастной! Глупцы!..

Хотя и наступила очередь батраков, но почему-то проходили другие. Кадир посмотрел на городского, хотел что-то сказать: тот понял без слов и отвел глаза. Мешади Ислам шепнул Кадиру на ухо:

— Надо что-нибудь бросить в пасть этой собаке, иначе нас не пропустит.

Кадир встал, прошелся, достал порванную десятирублевку, показал городовому, тот зевнул, повернулся к нему боком, и Кадир незаметно сунул бумажку в его карман. Делая вид, что достает папиросу, городской проверил карман, после чего оттолкнул других в сторону и пропустил Кадира с товарищем:

— Они давно ждут очереди!..

Вот он — Аляс бек, этот, сидящий против них! Красивый, статный мужчина с тонкими закрученными вверх усами, напоминающими крысиные ушки, и черными блестящими волосами. Около него сидели двое: один с проседью, в мохнатой шапке; его длинное, черное, как сапог, лицо показалось Кадиру знакомым. Из задней комнаты то и дело входили и выходили изящно одетые женщины, а также писари.

Аляс бек не обращал на вошедших внимания, как будто не замечал никого. Он был занят беседой с мужчиной в мохнатой папаше. Кадир с товарищем остановились у дверей, сложив руки на животе. Пришла одна ханум. Аляс бек прервал беседу, проводил ее. Затем вошел городской и доложил, что в лесу нашли два трупа. Аляс бек мотнул головой и пробурчал:

— Отправить в мечеть!..

С криком и воплями в комнату ворвалась женщина в черной чадре. Вбегая, она так сильно ударилась плечом о Кадира, что тот чуть не налетел на пристава. Не говоря ничего, она бросила перед Аляс бек какой-то сверток.

Мешади Ислам, вздрогнув, пробормотал: «О-о-о!» Испугался и Кадир, думая, что это бомба: чего доброго еще заподозрят их в соучастии.

Но оказалось, что это ребенок. Упав на стол, он запищал слабым, слабым голосом. Бросив ребенка, женщина начала горько плакать. Мужчина с проседью поставил кальян на пол:

Аляс бек в недоумении смотрел на женщину.

— Что случилось, женщина, в чем дело?

— Скажи же, сестра!..

— На что ты жалуешься?

— Не плачь! Говори, не бойся!

Она заговорила торопливо, прерывающимся голосом. Оказалось, что ее мужа и брата послали на войну «за нацию и религию», и сегодня она получила известие о том, что оба убиты.

— Три дня я голодаю, ребенок умирает, никто не хочет помочь. Со двора увели мула, стащили мешки... Никто не хочет выслушать. Отовсюду гонят...

Мужчина с проседью улыбнулся.

— Послушай, ты, мусульманка! Ты еще молода. Мужчин на свете много. Вышла бы за кого-нибудь замуж, и все тут!

А Аляс бек, махнув рукой, сказал:

— Времена, сестра, тяжелые. Мы тут о нуждах «нации» печемся, а ты приходишь с какими-то грошевыми расчетами! Иди, иди! Не досаждай нам!..

По его знаку городовой вывели женщину; один из них безглаголиво подхватил ребенка, как грязную тряпку, и сунул его матери; ребенок снова запищал.

Видя, что этак они могут простоять до бесконечности, Кадир мигнул Мешади Исламу: надо, мол, действовать!

Сделав шаг вперед, они оказались перед приставом. Представив ему приказ, выданный старшиной, Кадир стал излагать свою жалобу, стараясь говорить по возможности ясно.

— Прошу вас рассмотреть мое дело по закону. Какое имеет право старшина отнимать мою жену? Как говорят, если я и умирал, то теперь ожил и не позволю, чтоб надо мной чинили такое беззаконие!.. На то есть власти... Есть господин пристав!..

— Что ты там говоришь, не понимаю.

Слова Аляс бека ошеломили Кадира.

— Разреш, я начну с начала.

— Говори!

Все трое слушали со вниманием.

— У меня жалоба. Я поехал на службу на яйлаг, на казенную службу. В деревне пустили слух, что я умер. Вот этот самый старшина Бебир бек, что расписался здесь...

По-видимому, тон, слова и жесты Кадира не нравились Аляс беку.

— Ну и что же ты хочешь, что? Деревня! — прервал он Кадира. Тот опять смутился. Чуть язык не отнялся.

— Разреш, начну с самого начала. Аляс бек сделал кислое лицо.

Мужчина с проседью поджал губы, потом оба сразу закричали:

— Что же ты хочешь, что?

— Я хочу сказать, что я ожил и не позволю такому волку, как Бебир бек, трогать мою семью!

Как у него вырвались эти слова, он и сам потом не мог объяснить. Должно быть, это случилось потому, что человек, на которого он возлагал столько надежд, обманул его ожидания.

Он был красен и взволнован. Он был готов на все.

Аляс бек, оттого ли, что почувствовал раздражение Кадира, или по какой-либо другой причине, ударил кулаком по столу, встал, посмотрел на товарищей, рванулся вперед, точно хотел перевернуть весь мир, и громко позвал:

— Эй, Мери бек, Габиб, сюда!

Мужчина с проседью, приблизив лицо к его уху, что-то шептал ему, прикрывая рот рукой, чтобы другие не слышали.

Мешади Ислам, отступив назад, готовился незаметно улизнуть. Кадир замер на месте, не зная, чем объяснить такое поведение пристава. Тем ли, что проситель нарушил здешние порядки, или Кадира приняли за другого. А может, он неосторожно проговорился. Кадир ничего не понимал.

Открылась внутренняя дверь, и вошли несколько человек в бурках: одни с оружием, другие — без: это были люди Аляс бека.

— Слушайте! — сказал он им и повернулся к Кадиру. — Говори!..

— Что сказать?

Мужчина с проседью рассердился и заорал на Кадира:

— Жалобу, жалобу свою выскажи!

— Разреш, начать с начала.

— Только поживее!

Кадир обрадовался, решив, что его слова подействовали на Аляс бека. Ему показалось, что пристав хочет довести до сведения этих людей о безобразиях, которые творятся в селах, и дать им соответствующие распоряжения. Вот когда он расправится с этими злодеями старшинами! Так им и надо!

И Кадир заговорил еще смелее и громче:

— Да будет бек здоров! Я хотел сказать, что меня сочли за умершего и разорили мой дом и имущество в селении Кобулар. Старшина совершил брачный акт с моей женой. Я пришел доложить вам. Удостоверьтесь, что я жив. Ни один сукин сын, не при вас будь сказано, не имеет на это права. Разве у батрака нет чести? Что это за ислам, что за игра, в «нации»?..

Не успел Кадир досказать, как бек загремел:

— Молчать, сволочь!

Кадир осекся. Воцарилась полная тишина. Все смотрели на Кадира, а тот — на бека. От страха и неожиданности он был

бледен, глаза отражали недоумение.

Кадир хотел было попросить прощения, спросить, в чем он провинился. Но бек шагнул вперед, заложил одну руку в карман, вытянул другую и, оглядев Кадира с головы до ног, сказал, обращаясь к своим людям:

— Нет, вы посмотрите! Видите? Нет, вы на его голову поглядите, на уши, нос, рот! Поглядите на его чарыхи, на лохмотья его! Ожил!..

И, переменяя тон, заорал как бешеный:

— Кто оживил тебя, свиное отродье, кто? О праведный Аллах!

Один из присутствующих, с коротко остриженной бородой, страдавший одышкой, добавил:

— Эй ты, мусульманин! Жалкий мусульманин! Такого бы, как ты, мусульманина вниз по реке пустить да вверх на поиски отправиться... Скажи, бритая рожа, уж не русский ли воскресил тебя? Каким образом Николай стал для тебя таким мудрым муджтахидом? Ах ты, волосатый прихвостень русских!

Мужчина с проседью вышел из себя и ударил папашой оземь. Когда голова его заблестела, как луженый котел, Кадир сразу узнал его и вспомнил пощечину, полученную от него в горах. То был Мешади Сулейман, который, видимо, давно узнал в жалобнике человека, свалившего его тогда одним ударом. Устремив на Кадира серые глаза и скрежеща зубами, он завопил:

— Ах ты, негодяй! Это тебе не горы! Сын балшавета и сам балшавет!..

Обратившись к беку и переменяя тон, добавил:

— Эту лису я давно знаю!

Затем снова повернулся к Кадиру и стал разглядывать его.

— Балшавет!

В это мало понятное для Кадира слово он вкладывал всю свою ярость, все негодование. Он даже подпер руками бока, весь затрясся, подпрыгнул. Слово вырвалось у него, как пробка из бутылки с крепким уксусом, и пронеслось над головой Кадира.

Заговорили и остальные. Слышны были возгласы:

— Надо выпустить ему кровь!

— Отрезать язык!..

— Неужели все еще живы эти изменники?..

Кадир поднял руку, собираясь возражать, спросить, в чем его обвиняют. Но пристав с такой силой ударил по столу линейкой, что у Кадира в ушах зазвенело.

— Уберите с моих глаз этого большевистского сына! Я велю вырвать у тебя язык, тогда «воскреснешь»!

Кадир ошеломлен от изумления. Он впервые слышал это слово «большевик», которого все эти господа боялись, как меча. Оно сильно заинтересовало его. «Надо расспросить, понять это слово, — решил он про себя. — Оно мне нужно. Я непременно должен знать, что это за слово!..»

С того дня батраков лишили дневного света. Сперва отвели в полицию; десять дней продержали в подвале во дворе караван-сарая. Там была собрана самая разношерстная публика. Здесь они нашли и Султанали. По его словам, с тех пор как он убежал из села, уже второй раз попадал в руки полиции. Первый раз его отпустили на поруки, теперь же держали строго, даже во двор не выпускали.

Кадир сказал ему, что очень интересуется значением слова «большевик» и что хотел бы узнать, кого так называют и почему беки так боятся этого слова. Султанали отвел Кадира в сторону и стал шептать на ухо:

— Большевики стоят за бедноту, любят бедняков. Мы покажем богатым. Ты в партию записался?

— Куда?

— В партию.

— А что такое партия?

Султанали стал объяснять Кадиру, что бедняки объединяются против беков. Рабочие создали свою партию, надо вступить в нее. В ней много известных, пользующихся влиянием людей. Все они стоят за правду. В России рабочие подняли знамя восстания и стали большевиками. Сбросили власть богачей и прогнали их. Отобрали земли у помещиков и передали ее крестьянам, батракам.

— Мы здесь хотим сделать то же самое. Из Баку к нам тайно приезжают товарищи, учат нас и помогают. Надо объединиться, надо взяться всем за руки. И ты запишись! Я тебе советую!..

«Большевик!»

Это слово показалось Кадиру добрым врачом, ласково смотревшим на его скорбное лицо. Ему хотелось пожать руку этому врачу; желание стать под его защиту стало отныне самым сильным желанием Кадира.

Кадир вспомнил, как непростительно наивен был он до сих пор, как легко поддавался обману. Ему стало стыдно.

«Почему, — думал он, — вот эти, мои дорогие и отважные товарищи, вроде Султанали, не упрекают меня за мои глупые поступки? Почему не плюют мне в лицо, говоря: «Глупый ты, глупый! Полжизни уже прожил, а все еще не научился узнавать врага! От Бебир бека ждешь благородства и милосердия?»

Они не бросают мне такого упрека, но я сам сознаю мою оплошность, и потому мне еще тяжелее».

Его радовала дальновидность Султанали; ненависть и презрение к Бебир беку с каждым днем росли и крепились в его душе. И он жаждал превратиться в орла, полететь туда, в село, и острыми когтями растерзать его сердце.

Мешади Ислам был очень печален. Не меньше, чем Кадира, волновало его то, что в таком критическом положении Гумри осталась без помощи. Им помог Султанали; он что-то сунул в руку городского и, так как Мешади Ислам не был, в сущности, ни в чем виновен, то ему помогли, и он был освобожден.

Тотчас же по освобождении он должен был отправиться в село за Гумри. Что было в деревне, Кадир не знал. И очень страдал от этого.

Кадир кончил свое печальное повествование.

В камере воцарилось долгое, напряженное молчание.

Трагедия Кадира глубоко тронула слушателей, повергнув их в тяжелую задумчивость. Молчал и Кадир.

Видя, какое впечатление произвело на узников его повествование, чувствуя их доброе, товарищеское отношение к нему, он стал с надеждой прислушиваться к воцарившейся тишине. Перенесенные им тяжелые, словно свинцовые горы, страдания, казалось, таяли и вливались в сердца его слушателей, причиняя им боль.

В камере как будто стало темнее.

Первым заговорил Гияс.

— Милый друг, да это настоящий роман! — воскликнул он.

Снова воцарилось молчание.

Все были заняты одной мыслью, каждый по-своему повторял в уме одни и те же слова:

Никто не даст нам избавленья,
Не царь, не бог и не герой.
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой! ..

Когда Кадир впервые услышал эти слова от Гияса, он очень заинтересовался ими.

— Какой поэт сочинил эти стихи? — спросил он.

Гияс улыбнулся.

— Это сочинил поэт поэтов. Это — произведение людей с мозолистыми гуками. Я отведу тебя в одно место, где ты еще и не то услышишь! Ты нужный в деревне человек, Кадир! Ты нужен крестьянам!..

Кадир попросил его еще раз спеть.

И они хором, вполголоса, еще раз пропели эти стихи. Тюремная камера точно осветилась новым светом, и мрак стал отступать перед ним:

Вставай, проклятьем заклеянный,
Весь мир голодных и рабов!

Кипит наш разум возмущенный
И смертный бой вести готов!

МЕЧТЫ

В этот день кончился срок Гияса, и его должны были освободить из тюрьмы.

— Я ухожу, — шепнул он на ухо Кадиру, — но в канцелярию не заявлюсь и не распишусь в книге об освобождении. Спрячь в карман это удостоверение, прими мое имя. Завтра поймай деловода и попгоси его...

Я буду в депо, напротив хлопкового завода. Буду ждать. Как выйдешь, разыщи меня. Пока!

Приятеля расцеловались, как братья, и простились. В эту ночь Кадир не мог уснуть от радости. Светлые мечты, надежда на скорое свидание с семьей отгоняли сон от глаз.

Наутро он наседа на караульного:

— Мой срок еще вчера истек. Почему не докладываешь? Или хочешь, чтобы я сгнил здесь?.. Если я батрак, значит топтать можно?

Караульный ничего не ответил и, пожав плечами, пошел за делопроизводителем.

— Господин, мой срок кончился вчера. Комендант вчера сам сказал. У меня так разболелся живот, что я не узнал, когда освободили других. Прошу освободить меня.

Делопроизводитель заглянул в списки.

— Гияс Демиров!..

— Да, это я!..

Место для росписи против этой фамилии было пусто. Делопроизводитель посмотрел на удостоверение и, пододвинув список к Кадиру, сказал:

— Распишись!..

Кадир обмакнул палец в чернила и приложил к указанному месту.

— Эх ты, пачкун! — сказал презрительно делопроизводитель и, позвав караульного, приказал: — Отбери у него казенные вещи.

Кадир поверил в свое освобождение, только переступив через порог тюрьмы. Радуюсь солнечному свету, свободе, чистому воздуху, который вливался в его грудь, он дал ходу. Но прислушивался. Боялся: вдруг караульные погонятся за ним, вернут обратно и начнут бить прикладами по спине, говоря: «Куда бежишь? Ты кого хочешь обмануть? ...»

Лишь выйдя на одну из самых отдаленных улиц, он сел на камень и облегченно вздохнул.

Все вокруг дышало весной. Снег уже сошел. Изумрудное небо было чисто и прозрачно, как родниковая вода. На деревьях набухали почки.

Кадир направился к месту, где была назначена встреча с Гиясом. Шел, жадно разглядывая все кругом; хотел увидеть что-нибудь новое, но все было как раньше. Так же шли на базар гурты навьюченных ослов; проезжали извозчики; у арбы со сломанным колесом стояла измученная кляча и, повернув морду к солнцу, вздыхала, словно раненая. Сгорбленные нищие ожидали милостыни. Медленно ступали, переваливаясь, женщины в черных чадрах, похожие на ворон. Должно быть, шли из дома, где был покойник, или с траурного собрания. Ничего не изменилось за эти семь месяцев.

Кадир, отвыкший в тюрьме от ходьбы, останавливался на каждом шагу. Беспокойство о Гумри, тревога за нее сказывались на воле сильнее, чем когда он был в тюрьме. Но нечто новое подавляло в нем все прежние чувства и желания.

В Кадире росло непреодолимое желание двигаться, ходить, все видеть, заговаривать с людьми. Как будто он хотел возместить все,

что было потеряно им за время ареста. Одновременно в груди его закипали гнев и возмущение против тех, кто лишил его воли, солнечного света.

Борьба, мщение!..

Он зашагал на станцию к Гиясу, дружба с которым, казалось, скинула с его глаз какой-то покров. А может быть, то был не просто покров, а толстая кора, выросшая на его сознании за долгие годы холода, голода, нужды и унижений. И стоило соскоблить эту кору, как он почувствовал себя проснувшимся, его представления и мечты приняли совсем иной облик.

Никто не даст нам избавленья,
Не царь, не бог и не герой!..

Эти слова, горячо и страстно произнесенные Гиясом, понравились Кадиру, как мелодия самой жизни. Он не мог представить себе беков и старшин, лишенных власти. Ведь у них были стражники, городовые, аскеры, оружие, все это огромная сила, которая будет препятствовать осуществлению его сладких надежд! Но пусть борьба будет трудная и долгая, но ни за что не откажется от своих надежд!

Ему казалось, что мечты и надежды, пробудившиеся в его душе после знакомства с Гиясом, растут и крепнут, как молодые деревья, посаженные на берегу речки.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

Заиграла музыка. Началась пышная свадьба, достойная высокого положения бека.

Громкая молва об этой свадьбе давно перелетела за заборы, за горы и доли села Кобулар. Из дальних мест приехали беки в поясах, отделанных слоновой костью, Гаджи и Кербелаи в хорасанских шубах и в архалуках из дорогой шали и широких кушаках, кочи, грудь которых была сплошь покрыта патронташами.

Зурну сменял саз, услаждавший слух людей, повествуя в нежной мелодии сказку о принце Абдул-Азиме...

Каждый, входивший в гостиную Бебир бека, до потолка увешанную коврами, тотчас же забывал о внешнем мире, попадая под чары чудесной музыки.

Как только стихала музыка, раздавалось шелканье бича распорядителя свадьбы.

— Подать сюда сына Гаджи Курбана! Штраф шестьдесят рублей!

— Привести Гаджи Ага-киши! Взять с него отрез лезгинской шали!

По приказанию распорядителя свадьбы приволокли Пашу, сына плотника, который имел неосторожность слишком громко рассмеяться во дворе. Распорядитель налил полный стакан водки и протянул ему:

— Пей! Это штраф!

— Он в жизни вина в рот не брал! — заговорили вокруг.

— Это не вино, а водка!

Окружающим было жаль Пашу, и они старались его вызволить, но распорядитель был неумолим. Паша ничего не мог поделать. Он взял стакан, подержал его и наконец сказал:

— Выпью, бек, выпью. Самый большой для нас, крестьян, штраф — это ваше здоровье!..

Приказ распорядителя — свадебного бека — закон. И каждый должен подчиняться беспрекословно.

Деньги взимаются, бубны наполняются, карманы опустошаются. Кто радуется, а кто и досадует.

Аромат шафрана, распространяющийся далеко вокруг, оставливает прохожих на улицах. Повара с засученными рукавами суетятся вокруг котлов; топят масло, подбрасывают в огонь дров, режут лаваш, раскладывают тарелки, моют зелень, чистят лук...

Иное видит Гумри. В маленькой комнате на столе стоят парные лампы, дорогие зеркала, цветочные вазы, флаконы с духами. Все это ждет церемонии обряджения Гумри. Ее должны украсить и нарядить, как жертвенного барашка, чтобы отдать на растерзание лютому волку. Гумри ничего не чувствовала и не сознавала. Ей хотелось превратиться в камень или растаять, как свеча. Последняя надежда ее была на Мешади Ислама, доброго друга и побратима Кадира.

Мелек-Нисе, близкой родственнице Мешади Ислама, было поручено нарядить и приготовить невесту. Еще с вечера она просила бека, чтобы никто не входил в комнату, где будет происходить обряджение невесты.

— Посетители страшно мешают! — говорила она. — Если хочешь, чтобы я сделала все как полагается и чтобы ты, заключая Гумри в свои объятия, мог похвалить меня, — прикажи не беспокоить меня! А то растеряться можно. Предоставьте невесту мне.

Бек так и сделал. Никого, даже кошку, не впускали в комнату Мелек-Нисы. Лишь в сумерки, в разгаре свадебного пиршества Мешади Ислам кашлянул под окном:

— Кхэ, кхэ!..

Тогда Мелек-Ниса, передав Гумри ребенка и потушив свет, шепнула:

— Беги!

Мешади Ислам, появившийся, как темный призрак, что-то прошептал и, схватив ребенка, исчез из виду. Ребенок сладко спал. Биение сердца Мешади Ислама, его осторожная, но торопливая поступь словно убаюкивали мерно дышащего ребенка. Гумри следовала за ним. Малейший шорох, каждая мелькнувшая тень пугали ее, вызывая в ее душе тревогу и подозрение.

Не прошло и пяти минут, как они были за селом.

Мелек-Ниса снова зажгла лампу. От волнения у нее тряслись руки, подгибались ноги. Когда кто-то, открыв дверь, заглянул в комнату, она вздрогнула.

Узнав Бездельника, попросила:

— Братец Агабала, пожалуйста, позови Гумри.

Тот не расслышал. В предвкушении вкусной еды, он торопливо прошел в кухню.

Прошло полчаса. Еще громче заиграла музыка, еще больше собралось народу, стало еще шумнее и веселее. Свадьба Бебир бека гремела на всем пространстве от горизонта до горизонта, словно силась пробудить и поднять на ноги все, что было вокруг.

Мелек-Ниса еще раз подошла к дверям.

Деревенские девушки с толстыми косами, в красных кофтах и фиолетовых платках толкались у входа, желая разглядеть музыкантов и танцующих. По-прежнему пахло шафраном.

Ночь была свежая, тихая. В холодном небе ярко горели, мерцающая, звезды.

Мелек-Ниса окликнула жену Бездельника:

— Послушай, Физзе, где же подружки? Чего не идут? Пора ведь!

К ней подошла Мина, доверенное лицо бека. Мелек-Ниса взяла ее за руку. Та на радостях обняла и расцеловала ее.

— Ах ты, чертовка! Ты должна поделиться со мною подарками! Я тоже поделюсь с тобой. Дай бог здоровья беку! Где еще найдешь другого такого щедрого жениха!..

— Послушай, Мина, позовика Гумри. Пора одевать ее.

— Где же она?

— Только что вышла во двор.

— Пошла поглядеть на танцующих, что ли?

Мина стала искать в толпе женщин, обошла весь дом, но Гумри нигде не оказалось. Позвала жену Бездельника, и они вместе вошли в гостиную, поискали во всех потайных местах, по всему двору. Ни Гумри, ни ребенка не было.

Послали человека в дом Гумри. Он тоже вернулся ни с чем. Еще раз обошли все комнаты, обыскали везде, где только можно было. Нет и нет! Слово Гумри взлетела на небо. Не прошло и часа, как слух о бегстве Гумри распространился по всей деревне.

— Гумри нет!

— Гумри исчезла!

— Гумри бежала!

— Гумри похитили!

Эта весть, как орел, пронеслась над всеми и прервала празднество. Слово камень с неба, она поразила всех.

Песнь ашуга замерла на его устах.

Палочка барабанщика выпала из рук.

Зурначи, набрав воздуха, так и остались с надутыми щеками.

Танцор застыл на месте.

Кысса-ханум, уединившись в уголок, с трудом скрывала свое злорадство.

Повар, видя переполох, поспешил отправить в рот петушиную ляжку и, наполнив большую миску топленным маслом, шепнул жене:

— Не зевай!

Свадебный распорядитель нахмурился. Воспользовавшись тем, что взоры всех были устремлены на дверь, хапнул горсть денег из бубна и поспешно сунул в рукав чохы.

Жена Бездельника, юркнув в комнату невесты, схватила пудру,

флакон с духами, коробочку с блестками и унесла к себе.

— Может, бек еще вздумает жениться, пригодится!..

Еще пять минут тому назад предмет всеобщего внимания и лести, Бебир бек теперь напоминал мокрую курицу. Как потерянный ходил он среди взволнованных гостей.

Месяцами лелеемая грубая, дикая страсть превратилась в камень. Кто-то, подняв его, бил бека в висок, в висок. От этих ударов он был совершенно оглушен, ничего не слышал, ничего не соображал. У него кружилась голова, как у человека, очутившегося летом в Евлахе¹. Он уже не разбирался ни в чем — день ли, ночь ли.

Видя, что свадьба расстроилась, музыканты пристали к Мешади Джангиру:

— Эй, Мешади, нам далеко идти, путь опасный, сделай милость, рассчитайся с нами. Бог даст, невеста найдется!

Мешади Джангир был вне себя от негодования. Чтобы лучше доказать свою преданность Бебир беку, он вышел на балкон и три раза выстрелил в воздух.

— Идемте! Кто со мной, пусть идет!..

Бебир бек, а за ним и его племянники сели на коней.

— Пусть покроется бесчестьем эта папаха, если... — Разделившись на три партии, всадники тронулись в разных направлениях.

Мешади Джангир наказал всем не шуметь, чтобы не вспугнуть беглецов, которые могли спрятаться, пользуясь темнотой.

Бебир бек и Мешади Джангир с товарищами поскакали по шоссе.

Мрак густел, становилось холодно. На полях лежала мертвая тишина. В каждом кустике, в каждой тени Бебир беку мерещились Мешади Ислам и Кадир, и он невольно вздрагивал.

Отведя Гумри далеко от села, Мешади Ислам хотел было спрятать ее в кустах, чтобы обмануть и отвести погоню. При нем

¹ Евлах — железнодорожная станция на болотистой низменности. Страшная жара, духота и комары делали невыносимым пребывание в этой местности. Ныне она оздоровлена и благоустроена.

была берданка с семью патронами, которые он берег на самый крайний случай, который и наступил сейчас.

Немного подумав, он решил, что ребенок может выдать их своим плачем и что лучше укрыться в каком-либо доме. Они спустились к селению Каграманлы и по тропинке пошли к домам. На них набросились собаки. Ребенок проснулся и начал кричать: Гумри растерялась от страха. Мешади Ислам успокаивал ее, говоря:

— Не бойся, сейчас выйдет хозяин дома.

Они постучались в один из домов. Собаки не отставали; прижав путников к стене, казалось, хотели загрызть их. Держа в одной руке ружье и отгоняя им собак, Мешади Ислам другою стучал в дверь.

— Кто там? — слышалось из дома.

— Откройте! Мы гости божьи!

— Проходите, проходите! В такое позднее время в гости не ходят!..

— Открой, хозяин, мы сбились с пути!

— Проваливай, не то плохо будет. Кого надуть хочешь? Не на таких напали!

И говоривший, щелкнув затвором ружья, подошел к окну. Гумри затряслась и заплакала. Мешади Ислам стал клясться и поднял ребенка, чтобы показать его.

— Братец, клянусь Хазрат Аббасом, мы не те, за кого ты нас принимаешь! Разве не видишь женщину с ребенком. Открой же дверь, пожалей, дитя совсем за коченело от холода!

В доме стихло. Потом слышался шепот. Должно быть, хозяин советовался с женой.

Тогда заговорила Гумри:

— Братец, мы вырвались из волчьих когтей, пожалей нас!

Из дому выбросили коробку спичек:

— Зажгите, посмотрим, что вы за люди.

Мешади Ислам чиркнул спичкой и осветил сначала себя, потом

Гумри с надрывно плакавшим ребенком. Взглянув на побледневшее личико Фахиры, вымокшее от слез, Гумри не сдержалась и тоже заплакала.

— Брось ружье в сторону!.. — приказали из дома.

Мешади Ислам бросил ружье и, подняв кверху руки, сказал:

— Если не веришь, брат, выйди, убей меня, сделай со мной, что хочешь, только пожалей женщину и ребенка.

Послышался женский голос. Им открыли. Первой вошла Гумри с ребенком на руках. Хозяева зажгли лампу и, внимательно оглядев их, успокоились. Мешади Ислам сел и закурил папиросу.

Когда дверь снова заперли и собаки затихли, опять воцарилась ночная тишина. Только сердце Гумри билось по-прежнему тревожно. Хозяйка дома — женщина средних лет, мать двух детей — была женщина любопытная и навязчивая. Она пристала к Гумри с расспросами, откуда они и куда идут.

— Мы пережили много горя, сестра. Утром я все тебе расскажу, — сказала Гумри, чтобы поскорее отделаться от нее.

Всадники, прорывая ночную тьму, обрыскали всю местность. Они искали жертву, которая исчезла, словно теленок, сорвавшийся с привязи, или голубь, вырвавшийся из когтей лисы. Казалось, непроницаемо черный небосвод, соединившись с землей, нарочно образовал темную завесу, чтобы укрыть Гумри, пока не появится солнце. Чтобы поддержать в сердце старшины надежду, всадники не прекращали поисков.

— Да не буду я сыном своего отца, если сейчас не найду ее, как подстреленную птицу! — говорили одни.

Другие же, вспоминая оставленную дома теплую постель и жену, проводящую бессонную ночь, думали: «Черт бы его побрал! Неужели искать его жену — тоже обязанность крестьян?»

Двигаясь по направлению к Куре, другой отряд доехал до Хамарлы и здесь остановился. По словам мельника, сюда приходила какая-то женщина, вся в родинках, но кто она, он не

знал. Накинув на себя выпачканный в муке тулуп, он вышел и показал им дом, где укрылась женщина.

Сорвав дверь с петель, вооруженные люди ворвались в избу. Послышались плач и вопли.

— Не бойтесь, сестры, — начал главарь отряда Алекбер, — нам нужна ваша гостья. Выдайте ее нам, и мы не тронем вас!

Хозяин дома, старик, встал с постели и начал просить пощадить их. Хозяйка, желая избежать неприятностей, тотчас же показала на гостью и сказала:

— Вот она! Мы ее не знаем! Берите и уходите!..

Подхватив женщину, они поволокли ее во двор. Алекбер был очень рад; он не сомневался, что за эту удачную находку Бебир бек ничего не пожалеет. Но когда зажгли спичку и поднесли к лицу женщины, то увидели рябую, смуглую цыганку с фальшивыми родинками. Она скалила зубы, не понимая причины всей этой возни и суматохи.

— Что вы, что вы? Разве это Гумри? — раздалось удивленные восклицания.

Цыганка приняла их за любителей гаданья.

— Дайте, я вам погадаю. Счастье ждет вас, эй, смелые игиты!

Разочарованные, сконфуженные всадники хотели бросить ее и вернуться.

Но Алекбер подумал:

«Может быть, это Гумри и лишь притворяется?» Он поделился этой мыслью с товарищами, но те не поверили.

— Да нет же! Не может быть, чтоб Гумри была такая рожа!

— Что ты, дорогой. Если б это была она, разве Бебир бек обратил бы на нее внимание?

Но Алекбер не послушался их и решил забрать с собой женщину, чтобы показать Бебир беку. Он посадил цыганку на коня позади себя. Поехали назад. При каждом толчке женщина все плотнее прижималась к Алекберу. Это будило в нем смешанное

чувство удовольствия и досады. И сам он невольно откидывался назад...

Всадники, поехавшие по верхней дороге, вернулись к утру ни с чем. Они надеялись, что, может быть, другим удалось напасть на след беглянки.

Партия, которую вел Бебир бек, обрыскала всю дорогу в город. Прислушивались к малейшему шуму, прослеживали до конца каждый след, но все тщетно.

Бебир бек молчал, не то от огорчения, не то от злости или стыда. Его раздраженные, взбудораженные мысли неизменно возвращались к атласным, бело-мраморным и нежным, как шаманы, грудям Гумри.

Он не мог взять в толк, почему Гумри отвергает его.

«Дом у меня — полная чаша. Ешь, одевайся, пользуйся всем, что твоей душе угодно. Сам я — бек, над всем селом старший. Во имя чего же она, отвергая меня, льнет к какому-то батраку?»

Вспомнились слова Чепель-Саялы:

«Ее любовь перешла на ребенка. Не будь этого, ничего не стоило бы зажечь в ней любовь к тебе».

Мешади Джангир из кожи лез вон, чтобы доказать свою преданность Бебир беку в эти трудные для него минуты: въезжал на коне в самую чащу колючих кустарников, злобно хлестал плетью по деревьям, сбивал даже птичьи гнезда, искал Гумри.

Ночь умирала. Горизонт светлел. Небосклон расцветал, как абрикосовое дерево. Всадники были довольно далеко от села. Уже со стороны города доносились слабый скрип арб и шум мельничных моторов.

Утомившись, они повернули коней. Вдруг впереди послышался чей-то голос. Придержав лошадей, прислушались. Кто-то погонял осла:

— Токууш!.. Эй!.. Ошш!..

Всадники подождали. Погонщик приближался. Он ехал из

близкого села в город.

Увидев верховых и приняв их за разбойников, он хотел бежать. Но Мешади Джангир, направив на него ружье, заставил остановиться.

— Сегодня ночью похитили женщину. Ничего не слышал об этом?

Перепуганный крестьянин поспешил выложить все, что знал:

— В наше село Каграманлы в полночь пришли какие-то люди. Собаки долго лаяли. Кажется, они остановились в доме абушлинцев. Спуститесь по той вот тропинке. Это будет четвертый или пятый дом. Там вы найдете их....

Казалось, Бебир беку дали жизненного эликсира. Забыв даже поблагодарить крестьянина, всадники погнали коней.

Мешади Джангир в пять минут доскакал до селения Каграманлы. Светало. В селе кое-кто был уже на ногах. Узнав от выезжавшего из села аробщика, где дом абушлинцев, они направились к нему.

Гумри провела ужасную ночь. Ей казалось, что горы, доли — все окружающее, превратившись в огненную лаву, залило ей грудь. Жизнь представлялась ей чашей, полной яда. С каждым вздохом она пила глоток этой отравы, но почему-то не умирала.

В эту темную ночь, когда за ней гнались преследователи, она не могла, конечно, прилечь, на минутку сомкнуть глаза. Гнетущая тревога томила ее. Укрыться в доме беззащитного крестьянина — значило ли это спастись? Мрак и мертвая тишина ночи еще больше усиливали ее тоску, и она вытекала из глаз обильными слезами. Ни на небе, ни на земле не было никого, кто бы мог помочь ей в ее горе.

Под мрачным небосводом, свидетелем тысяч трагедий на земле, пропитанной кровью и поросшей колючками, единственным существом, протянувшим ей руку помощи, был Мешади Ислам. Ради чести Кадира — своего товарища по труду и борьбе, во имя

благополучия таких же, как он, одиноких и угнетенных бедняков этот простой, одинокий человек бросил все, что имел, и не остановился даже перед тем, чтобы пожертвовать жизнью.

— Не бойся, Гумри! Пока я жив, не бойся! Пусть я один и беспомощен, но я все-таки жив. Я готов отрубить поганые руки, которые протянутся к тебе. Не бойся! Я надеюсь, что утром доставлю тебя в город к друзьям, защищающим обиженных, беспомощных бедняков... Я уверен, что Кадир уже спасен и тоже стал большевиком. Сила — у нас! Будущее принадлежит нам! От самой России и до наших сел у всех бедняков истощилось терпение. Все они объединились ради одной общей цели. Уже недолго ждать. Скоро конец тем, кто проливает нашу кровь!.. Потерпи, сестра... потерпи... За все отомстим...

Гумри с нетерпением ждала утра. Пусть хоть вспыхнет пожар, только бы стало светло! Может быть, тогда рассеются эти кошмарные видения, сводящие ее с ума!

Наконец наступило утро. Но когда первые лучи солнца проникли в окно, страх и тревога Гумри стали еще сильнее. Только теперь поняла она, что темнота порой является препятствием для охотников.

Как будто кто-то шепнул ей на ухо:

«Чего медлите? Сейчас вас накроют здесь!»

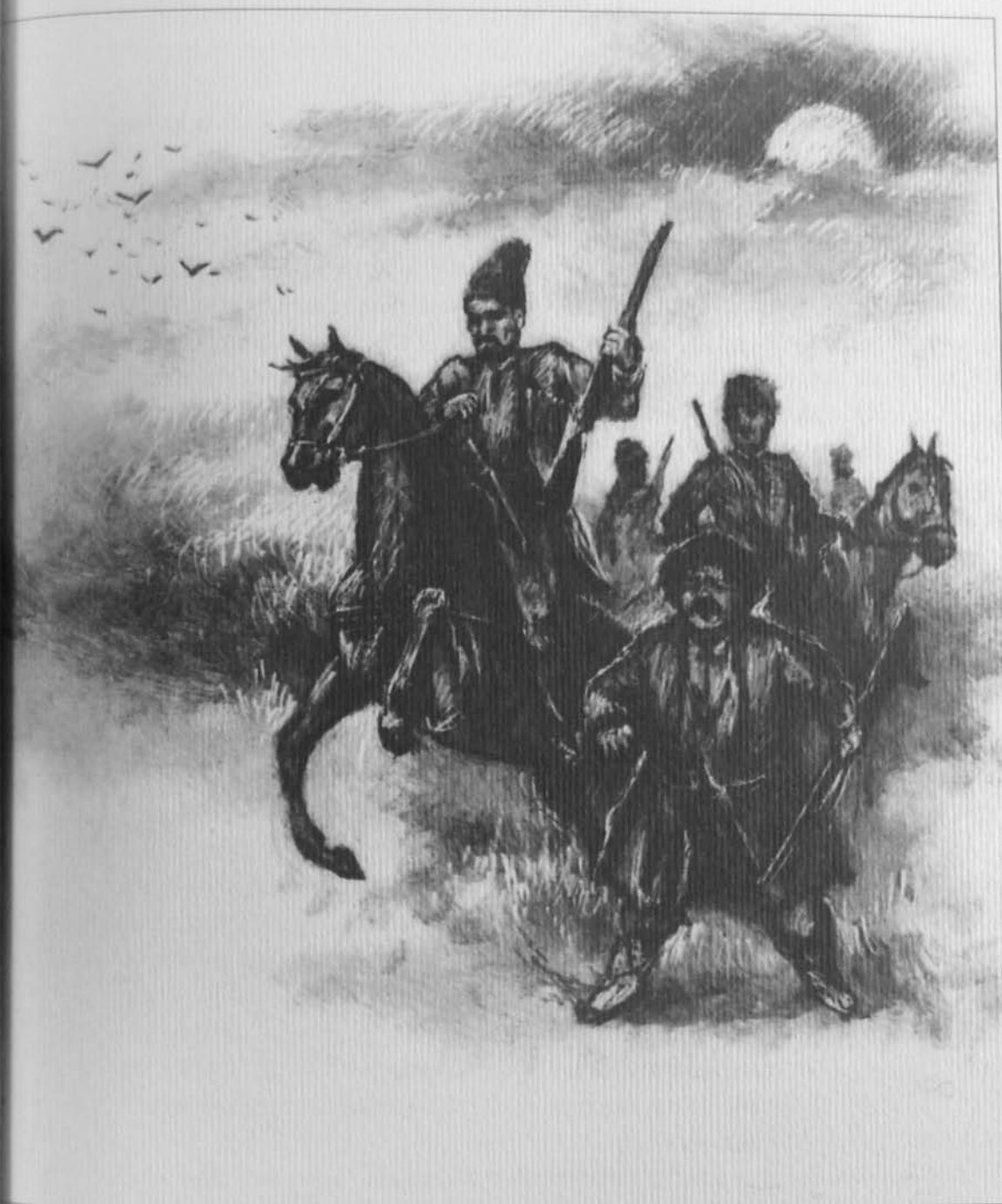
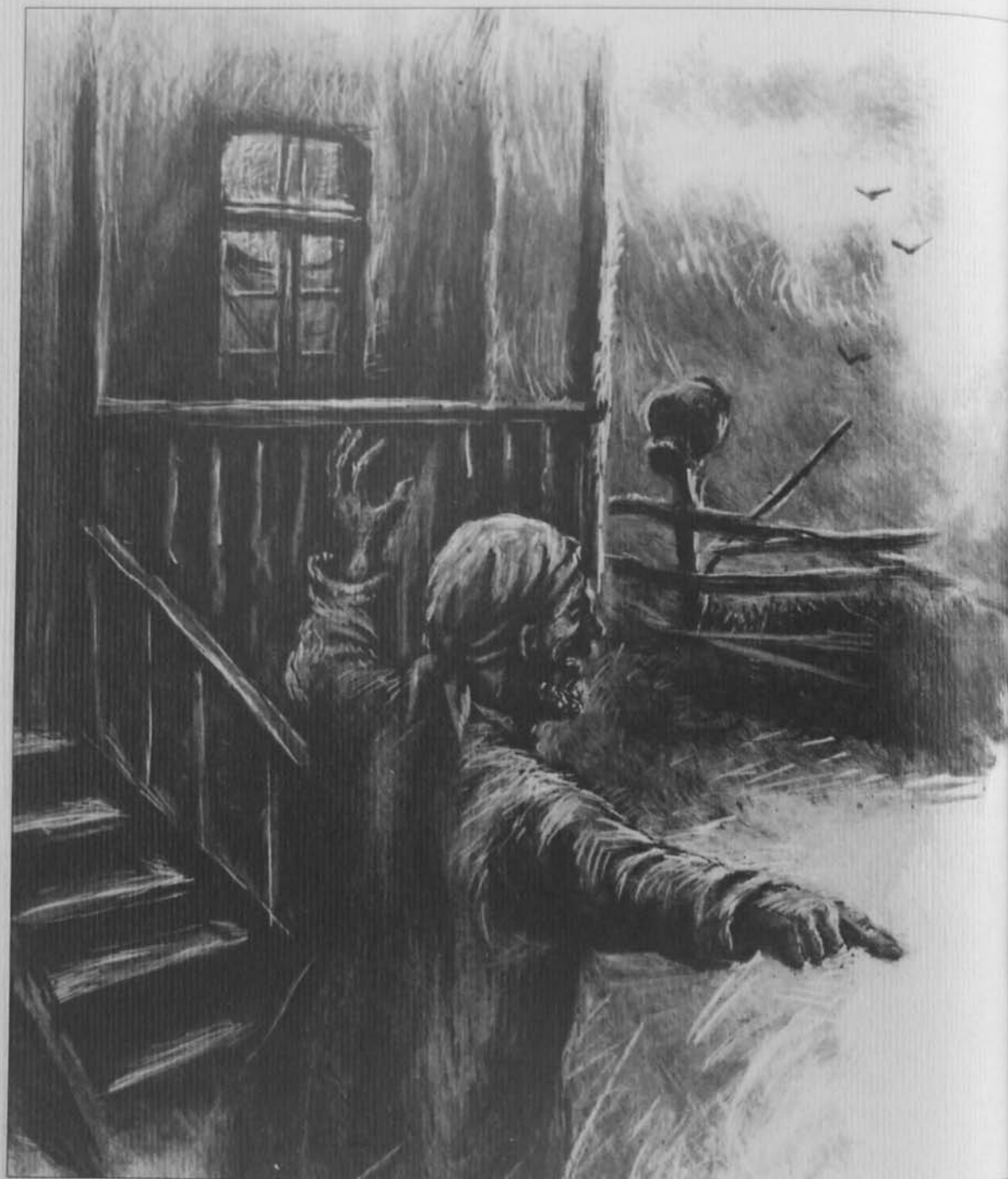
Мешади Ислам тоже встал. Хозяин дома дал им понять, что был бы рад избавиться от них.

— Не бойся, брат. Мы уходим. Потревожили вас, простите. Будем живы, в долгу не останемся.

И они покинули село. В двух верстах они увидели заросли камышей и решили до полудня спрятаться здесь, чтобы сбить врагов со следа.

Была холодная и немного ветреная погода. Камыши волновались и шумели, как море.

Всадники окружили дом абушлинцев. Выйдя к ним, хозяин дома стал молить о пощаде. Он сообщил им о том, что Гумри



ночевала у них и рано утром со своим спутником направилась в сторону города. Выведав у хозяина все нужные сведения, Мешади Джангир стал избивать его, приговаривая:

— Кто позволил тебе давать приют преступникам, убегающим от законной власти?

Потом его схватили и отправили в тюрьму. Продолжая поиски, заезжая в каждое село, всадники поехали к городу.

Ребенок не унимался. Остававшаяся столько дней без достаточного присмотра, худенькая и голенькая, как только что вылупившийся птенчик, девочка, глядя на мать, хныкала, пищала, плакала. Ни грудью, ни лаской и уговорами не удавалось успокоить ее. Она требовала, чтобы все время носили ее на руках.

Плач девочки очень тревожил Мешади Ислама. Взяв ее на руки, он согнув спину, кружился в камышах на крошечной площадке, укачивая ее.

Вдруг послышались конский топот и ржание. Передав ребенка матери, Мешади Ислам зарядил ружье и лег на землю.

Всадники не поехали по дороге, а рассыпались в разные стороны.

Ребенок молчал; как будто и он понял, что это враги, и пожалел мать.

Мешади Ислам лежал лицом к дороге. С правой стороны топот доносился все явственнее. Послышалось хлюпанье копыт по топи.

Увидя, что всадники въехали в камыши, Мешади Ислам стал утешать себя мыслью, что они, может быть, проедут мимо и не заметят их.

Но один из всадников почему-то направлялся прямо на него. Молодой, еще не разросшийся камышник был не очень густ. Подняв голову, Мешади Ислам увидел уши лошади и ружье. Гнедой конь Мешади Джангира чуть не наехал на Гумри. Раздался выстрел. Мешади Джангир, словно подрубленный чинар, свалился наземь и зарычал, как медведь.

Перестрелка началась. Мешади Ислам, не боясь пуль,

заслонил своим телом Гумри и ребенка. Он стрелял редко, но без промаха.

— Убейте собачьего сына!

Зычный голос Бебир бека подбодрил всадников. Они стреляли с таким остервенением, точно имели дело с целой армией.

Похожее на снаряд, выпущенный из дальнобойного орудия тысячи лет назад и еще не остывший, поднялось над горами и высокими тополями солнце.

Всюду, кроме камышника, где происходила перестрелка, царил торжественная тишина.

Старый мир, жестоко истоптанный на протяжении веков, в это утро почему-то дышал невозмутимым покоем. Ни малейшего дыма на горизонте, ни клочка тумана в долинах, ни облачка над горами. Не слышно ни вздохов людских, ни стенаний. Точно мир, утомленный борьбой и войнами, не прекращавшимися со дня его рождения, теперь, получив передышку, предавался продолжительному отдыху.

Казалось, водворившаяся на миг тишина писала заголовки страшных и великих событий.

Нет, так казалось, но не было так. Вселенная, умолкнув, вся превратилась в слух.

Старуха-история предоставляла слово новому, великому оратору — красному властителю нового мира.

Кто был он, этот оратор?

Солнце ли, поднявшееся над горизонтом?

Радость ли, закипавшая в сердцах?

Или утро, открывшееся взорам людей?

Неизвестно!

Одно лишь было несомненно: повсюду, все и вся стремились услышать этого оратора, его голос, чистый, как небо, и видеть его лик, обещающий спасение.

Тишина продолжалась недолго. Веселые и радостные голоса со стороны города, как поток лучей, залили все.

ПРИЕМ

Гияса в депо не оказалось. Справившись у дежурного, Кадир узнал, что тот будет вечером. Из предосторожности он вышел к поезду. Просидел весь день между старыми вагонами на запасном пути. Поднявшись на засыпанные некогда холмы за железнодорожным полотном, Кадир с тоской и тревогой смотрел вдаль, туда, где была его деревня.

Вечером повидался с Гиясом; они обнялись и поцеловались. Гияс повел его к себе. Он с двумя товарищами занимал одну маленькую, теплую и уютную комнату в конце станции.

Кадира очень интересовала жизнь этих товарищей, рабочих. Обвел глазами комнату, взглянул на портрет Гияса, снятый в молодости.

Гияс приготовил чай из айвовых корок, наполнил сахарницу кишмишом, достал хлеб. Поели. Кадир, чувствовавший себя очень утомленным, лег на тахту. Гияс начал говорить:

— Как хорошо, что мы спаслись! Но надо быть начеку! Полицейские непрерывно следят за нами. Люди Ага бека ходят кругом и подслушивают.

Гияс произнес это шепотом, кинул взгляд на окна и дверь и продолжал спокойнее:

— Я говорил насчет тебя. Тебя примут в нашу партию. Но ты должен много учиться, чтобы войти в курс всего нашего дела. Мир разделен надвое: на богатей и на бедняков. Рабочие говорят: «Почему вбивают нам в голову, что армянин это одно, мусульманин — другое, еврей — третье? Зачем хотят посеять между нами рознь? Ничего не должно быть. Бедняк есть бедняк, а богач — богач. Разве армянина-бедняка не жалко? Разве у него нет жены, детей? К какой бы вере или нации ни принадлежал трудящийся — он прежде всего трудящийся, у него мозолистые руки, и мы должны защищать его». Понял? Вот что говорят большевики. И рабочий, и крестьянин, и батрак все они люди

труда. Это мир трудящихся!..

Эти слова произвели на Кадира ошеломляющее впечатление. Он вспомнил свою семью. Какому бедняку незнакома эта горечь?

Занятый этими мыслями, он не слышал, что говорил Гияс дальше. Но последние его слова опять заинтересовали Кадира, и он спросил:

— Как ты сказал, Гияс? Неужели и правительство будет из нас самих?

— А как же! Почему и не быть! Все на свете делается нашими руками: мы пашем, мы жнем, проводим железную дорогу, строим фабрики, все — мы, почему же править должны не мы?.. Мы должны покончить с властью Николая и с властью мусавата.

— Трудное это дело!..

— Дело трудное. Но если будем работать, не будет трудно. Все зависит от нас самих.

Кадир не мог согласиться с этим.

— Ну, брат, управлять страной не так-то легко. Позволят ли нам аскеры, юнкера?.. Артиллерия, пулеметы... Разнесут нас. Это, брат, не шутка...

— Ты не понимаешь, — прервал его Гияс, — Ведь кто такой аскер? Такой же бедняк, что и ты. Разве сыновья беков пойдут в аскеры? Они в офицеры идут, чтобы бить и муштровать аскера. А артиллерия и пулеметы — разве это не наших рук дело? Все это создается руками рабочих. Хозяева уничтожают нас оружием, сделанным нашими же руками!.. И вся армия состоит в большинстве из рабочих и крестьян. Им тоже надоело тянуть лямку!..

Открылась дверь, вошел Мирага.

— Познакомься! — сказал Гияс, указывая на Кадира. — Это мой товарищ по тюрьме.

Мирага поздоровался, сел.

Особенно понравились Кадиру слова Гияса о том, что «хозяева

уничтожают нас оружием, сделанным нашими же руками».

Эта мысль, казалось, давно дремала в мозгу Кадира, покрытая толстой пеленой. Слова Гияса разорвали эту пелену и прояснили его сознание.

Многое стало казаться ему в ином свете, чем раньше. Он ясно представил себе село, арестный дом, куда Бебир бек сажал несчастных бедняков. «Не мы ли выстроили его своими руками? Не этими ли мозолистыми руками таскал я для него камни и кирпичи? Это было в то время, когда только что возникли разговоры о нации. Стегая нас плетью, гнали на постройку тюрьмы, говоря, что селу без этого не обойтись. А дом старшины из красного кирпича, кто его выстроил? Разве не рассказывал отец, как все крестьяне были насильно согнаны на постройку этого дома? Мы, мы, бедняки, строили его, а теперь в этом же доме Бебир бек собирается отнять у нас наших жен!..»

От этих мыслей Кадира бросило в жар. Разболелась голова. Не заметил, как до крови искусал губу. Гияс знаком указал ему на окровавленную губу. Вытерев платком рот, Кадир встал.

— Пойдем, уже поздно.

Они вышли.

Сгущались сумерки. Гияс распорядился идти по одному. Сначала ушел Мирага. Когда он исчез из виду, двинулся Кадир. Гияс велел ему выйти мимо бассейна к русскому кладбищу.

Было пасмурно. Собирался дождь. Стемнело. На станции все стихло. Порой проходили товарные поезда. С пронзительным свистом носился взад и вперед отдельный паровоз, будто попавшая в мышеловку мышь искала выхода.

Люди с хурджинами на плечах бродили по путям, пытаясь сесть на редкие товарные поезда.

Гияс и его товарищи смешались с рабочими, сидевшими в отдаленном углу сада под цветущими абрикосовыми деревьями.

Кадир никогда еще не бывал на собраниях. Тем более не бывал

он на собрании этих близких и дорогих ему людей. Он присматривался к каждому жесту, вслушивался в каждое слово. Ему страстно хотелось все понять, во все вникнуть. Люди в темноте казались тенями. Один, поставив на землю корзину, достал из нее стаканы, блюдца, чайник, хлеб и сыр.

Все уселись.

У дерева на камне сидел, обняв колени, почтенного вида человек со смуглым лицом. Первым заговорил он.

Кадир не мог разобрать черты его лица, но хорошо видел его жесты и горящие, как факелы, глаза. Когда тот кончил, выступил вперед Гияс. Он говорил медленно:

— Пробил час! Настали последние дни наших врагов. Наши русские товарищи, рабочие и крестьяне, идут нам на помощь. Товарищ Ленин поручил им и здесь высоко поднять знамя справедливости. Прибыли газеты, надо нам прочесть их и исполнить наш долг. Пусть товарищ Мирага читает.

Кадиру стало ясно, что Гияс пользуется большим авторитетом среди железнодорожных рабочих.

Гияс протянул Мираге пакет. Тот вскрыл его и вынул сложенную газету. Кинув по сторонам взгляд, зажег свечу. Гияс накрыл свечу полкой своего пиджака. Мирага начал читать. Все молча слушали. Никто не кашлял и не курил.

— «Что мы называем трудом? — читал — Мирага. — Все, что творит человек своей головой, либо руками и ногами, есть продукт его труда. К примеру, возьмем стул. Он — продукт человеческого труда. Но если кто-нибудь купит этот стул и перепродает его с барышом это не будет считаться трудом. Пахать землю, ухаживать за посевами, убирать урожай — труд. А обрабатывать — эту землю чужими руками или сдавать ее в аренду не труд. Поэтому к трудящимся относятся крестьяне, обрабатывающие землю, рабочие, производящие ситец на фабриках, и они вправе жить, то есть есть, пить, издавать законы, управлять делами государства.

Помещики, фабриканты, купцы не трудятся. Они эксплуатируют чужой труд. Поэтому они не должны иметь никаких прав».

Эти слова были бальзамом для наболевшей души Кадира. Люди, только что перед этим выступавшие здесь, казались ему великими освободителями. Он подсел еще ближе к Мираге и впился в него взглядом.

Тот продолжал:

— «Не должно быть хозяев. Вот наше требование, вот основа, на которой должно быть построено будущее свободное общество. Только так придет народ к своему счастью. Только это объединит людей, сделает их товарищами и братьями, уничтожит вражду, национальную и религиозную рознь!

Это путь к подлинному прогрессу. Власть капитала вела по другому пути, и мы уничтожим ее. Мы объявляем всем капиталистам, где бы они ни были:

«Вы ленивые дармоеды! До сих пор вы пользовались трудом бедного люда и жирели за счет трудящихся! Но довольно! Будет!...»

— И в самом деле, довольно! Нож дошел до кости! Будет, столько терпели! — выкрикнул вдруг длинношей парень настолько громко, что голоса Мираги не стало слышно.

Смуглый человек, говоривший в начале собрания, встал с места и призвал парня к порядку.

— Ты чего это раскричался? — сказал он с упреком. — Понимаешь ли ты, где мы находимся? Что это на открытом воздухе на тебя нашло вдруг такое вдохновение? Мы тоже знаем, что довольно. Но всему свое время и свое место. Дай дочитать, а ты послушай, о чем тут говорится.

Мирага продолжал:

— «Но довольно! Будет! Впредь мы не позволим вам жить так. Или работайте или уйдите прочь с нашей дороги!...»

Мирага кончил. Молодой человек с открытым воротом опять пробурчал:

— Нет, нет! И работать не позволим! Господам и рабочим никогда не ужиться вместе!

Теперь снова заговорил председатель, смуглый мужчина:

— Товарищи, уже пора! Наступило время, когда мы должны бодрствовать, быть постоянно на местах, как наши вожди, работать день и ночь, не покладая рук; стремиться к цели, несмотря ни на что. Положение серьезное. Во-первых, нам всем необходимо вооружиться...

— Верно!..

— Да, вооружиться!.. Мы скажем городу, что наше место — ответственное, вроде как бы ворота на пути к городу. Во-вторых, нам надо войти в гущу рабочих и крестьян. Не позволяйте, чтобы крестьяне поддавались обману. Пусть они научатся узнавать тех, кто пьет их кровь. В-третьих, я предлагаю привлечь молодежь. У кого есть молодые братья и родственники, пусть они научат их и покажут им, какая отравка заключена в идеях, которые проповедуют мусаватисты.

Предложения смуглого были поставлены на обсуждение. Больше всего говорили о необходимости вооружиться. Были высказаны разные предложения. Недавно поступивший на работу кондуктор Ибрагим попросил слова:

— Я знаю, где есть оружие. Если позволите, я скажу. По соседству с нами живет золотых дел мастер, он из другой партии. Каждый день предлагает мне: «Иди, запишись к нам, мы дадим тебе оружие». Я дал слово, что запишусь. И вот, раз нам нужно оружие, так давайте все и запишемся. Пусть наши имена будут в той партии, зато мы будем иметь ружья. Они очень ловкие, — получили массу оружия от Деникина.

— Ай да молодец! Вот так башка!

Эти слова заставили Ибрагима насторожиться. Посмотрев по сторонам, он ответил:

— Сам ты башка! Что случится, если мы запишемся?

Разве они тоже не мусульмане? Что из того, что мы в разных пар...

Решительный голос Мираги прервал Ибрагима на полуслове:

— Место ли здесь вчерашнему лавочнику, чтоб он еще подобные речи говорил?..

Сидевшие неодобрительно покачали головами.

Совсем недавно записавшийся в партию Ибрагим уже раскаивался в своих словах. Он понял, что допустил большую ошибку. Поднявшись с места, он стал извиняться:

— Откуда мне знать, товарищи? Ведь что я понимаю, товарищи?.. Простите меня...

В конце собрания Гияс представил всем Кадира, рассказал о совместном с ним пребывании в тюрьме и заверил, что Кадир — товарищ, закаленный в труде и достойный принятия в партию. Добавил, что он и Наибов ручаются за него. Коснулся также истории столкновения Кадира с Бебир беком.

— А не будет ли он таким, как кондуктор Ибрагим? — спросил председатель.

Не успел Гияс открыть рот, как Ибрагим вскочил и опять принялся умолять.

Кадира подвели поближе к председателю. Стоя, он отвечал на вопросы, что ему задавались.

Председатель жестом прекратил вопросы и обратился к Кадиру:

— Видишь ли, братец Кадир, в чем дело. Наша партия, партия большевиков, не для тех, кто ищет покоя, удовольствий, наживы или, как говорил только что Ибрагим, оружия.

Ибрагим опять вскочил и, схватившись руками за живот, завопил:

— Ну, я виноват, я ошибся! Всякий может ошибаться... Простите меня... Я раскаиваюсь в том, что сказал.

Председатель остановил его и снова повернулся к Кадиру:

— Да, дорогой! Всего этого здесь нет. Здесь главное — это идея!

— Как это — идея? Что такое идея?

— Погоди!

Председатель говорил медленно, с расстановкой:

— Идея заключается в том, что ты жертвуешь своей головой, жизнью и имуществом. Во имя чего? Во имя освобождения рабочих и крестьян!.. Если завтра партия прикажет тебе: «Возьми ружье и иди на фронт», — ты должен пойти. Скажет: «Беги в Шамхор и выполни там такое-то поручение», — должен побежать. Скажет: «Брось дом, семью и поезжай в Петроград по такому-то партийному делу!» — ты должен тотчас ехать без всяких рассуждений!

Кадир смутился:

— Выходит, что партия не позволит мне даже с семьей повидаться?..

— Нет, не в этом дело! Я хочу сказать, что партийное дело должно быть для тебя дороже твоей жизни, жены и детей. Хочешь стать сыном партии — пожалуйста, положи папаху перед собой и хорошенько подумай. Никто тебя насильно не тащит в партию.

Кадир молчал. Чтобы заставить его заговорить, Гияс спросил:

— Ну как? Понял? Что скажешь?

— Я скажу, что я бедный человек, батрак, и хочу быть в партии бедняков!..

— Ну вот и отлично! Если в этом вопросе будешь тверд и непоколебим, все пойдет хорошо.

Поставил на голосование.

— Опустите руки. Принят единогласно!

В этом возгласе Кадир почувствовал так много внимания и сердечности к себе! Он вспомнил, как в горах убил буйволицу и мечтал тогда иметь сильного друга-освободителя. И вот этот друг, протянув ему свою руку, говорил: «Партия даст тебе силу! Партия даст тебе жизнь! Готовься!»

КРАСНОЕ УТРО

Это была последняя и самая долгая ночь на земле. После нее черная завеса мрака не должна была больше закрывать светлые лица и душить чистое дыхание.

В эту ночь все почему-то в тревожном состоянии.

Министр, еще с вечера уложив награбленное добро, беспокойно ищет путей спасения...

Начальник, плетка которого недавно со свистом опускалась на спины крестьян, сам не свой; не слышит жены, не видит детей; ему все чудится, что городские рабочие, вооружившись, осаждают его ворота, крича:

— Выходи! Мы хотим видеть твою поганую рожу и рассчитаться с тобой!..

Эта картина до того пугает начальника, что он совсем теряет голову и готов переодеться нищим, вымазать лицо глиной и незаметно исчезнуть.

Несмотря на свое волнение, «служитель нации» в потертой папахе все же отдает себе отчет в том, что творится вокруг. Пристально поглядев на портрет Насиб бека, он прячет его под ковер, говоря:

— Я всегда был на стороне рабочих.

До него доносится шум; он прислушивается к нему. в тревожном ожидании: поверят ли его «признаниям»...

— Не бывать этому! — кричит кулак, доведенный до бешенства этими известиями и бьет плетью о камни.

Пристав спешит отпороть свои погоны и, надевая патронташ, плюет:

— Тьфу!..

Купец мечтает о том, чтобы все сложенные у него в амбаре товары спрятать в брюхе и опоясаться кушаком инвалида.

Глава шарията, совершив намаз, поворачивает лицо с юга на север и начинает читать «проклятие»...

Мелкий торгаш Ага-Алескер, навьючив на своего осла всякую мелочь, гонит его к вокзалу; он надеется хорошенько нажиться во время этих беспорядков на неопытных покупателях.

Все это было движением насекомых, обитавших на изнанке мира, на последней странице последней ночи; они стремились перелезть на страницы дня.

Открывалась новая страница утра, начинались первые часы новой истории, всходило великое солнце свободной жизни:

— Это я — действительный хозяин жизни! Прочь с арены, паразиты, пьющие кровь трудового народа! Право на жизнь имеет лишь тот, кто созидает ее, эту новую жизнь!..

В этих обычно многократно повторяемых словах теперь чувствовалась иная сила, иное звучание и иной ритм.

Этот голос не говорил, он приказывал, повелевал. Этот голос был многогранен, как алмаз, и чист, как родниковая вода. Слыша его, люди чувствовали свое ничтожество перед его величием.

Запертые в товарных вагонах, заточенные в тюрьмах Астрахани и Казани или закинутые в далекую Сибирь узники возвращались в освобожденную отчизну, как первые воины великой революции. Арестанты, томившиеся в темницах и не желавшие умирать, теперь выбивали двери, распахивали настежь ворота, обвешивались оружием.

Аскеры, в которых годами разжигалась ненависть к брату, стряхивали с себя тяжелый кошмар и спешили по домам, в родные деревни и города, в объятия заждавшихся их матерей.

Батрак, чистивший конюшню и кормивший коней хозяина,

широко раскрывал глаза и невольно жмурился, ослепленный блеском первых лучей революции.

В радостных, шумных голосах, доносившихся из города, из края сильных людей, ему слышались слова великого гения с улыбающимся лицом, которого он до этого не знал и не видел, но с которым был связан сердцем!..

«Земля крестьянам!»

Крестьянин, копавший огород, останавливался и, повернув лицо к двухэтажному кирпичному дому, спрашивал ехидно:

— Ну, господин Гаджи Гусейн? Как настроение? Не говорил ли я, что и у бедняка есть защитник?..

Пастух, пустивший овец по склону холма, на берегу Куры, вдохновлялся утверждением правительства бедняков и пел, как ашуг, на сазе:

О родник, я хотел бы быть воском
И, растаяв, превратиться в песок.
Возлюбленная, придя за водою,
Унесла бы меня в кувшине с водою.
О родник, я хотел бы быть камушком
И лежать на дне твоих вод.
Возлюбленная, придя за водою,
Унесла бы меня в кувшине с водою.

И он мысленно выбирает барашка из своей доли, чтобы зарезать в честь тех, кто сидит в правительстве бедняков.

Девушка-азербайджанка, бьющаяся в мерзких объятиях старика мужа Мешади Ибада, колясь об его бороду и задыхаясь от запаха хны, чувствует волнение светлого, радостного утра и, тяжело вздыхая, мечтает:

— Хотела бы знать, займется ли правительство бедняков и

нашей женской долей? Или мне суждено известись с этим гнусным стариком?..

Плотник-армянин Акоп, встав спозаранку, ищет адрес своего азербайджанского друга — мастера Яхьи, чтобы справиться, как тот живет.

Живительный, весенний ветер, полный благоуханий, разбудил всех. Вихрем понеслись во все стороны всадники:

— Вставайте! Утро наступило!

Солнце поднимает на горизонте свое алое знамя. Оно смотрит на народ, охваченный радостным волнением, и, стоя в зените, точно великий оратор, собирается держать речь. Оно хочет поздравить воскресших людей с днем их возрождения. Поднятое им красное знамя освещает землю от горизонта до горизонта.

Молодые аскеры, пришедшие воскресить миллионы в лучах этого знамени, топчут грудь больного чахоткой города. Вырубают старые чинары, покрывающие жизнь своею тенью. Несут солнечный свет людям, очутившимся в подвалах жизни, обиженным и обездоленным.

В потоке этих самых лучей стремительно скакали всадники, несясь по пыльным дорогам к селу Кобулар.

Над их головами вестником радости полыхалось красное знамя, точно золотая птица хлопала крыльями.

Сердце Кадира сильно билось. Это не был уже прежний забытый, темный крестьянин, напоминающий тупой кухонный нож; теперь он был подобен бывавшему в сражениях остро отточенному мечу. Он возвращался в село, неся весть о всеобщем избавлении. Ему доверила эту почетную обязанность партия.

Кадир возвращался домой, к своей семье, которую покинул в отчаянии. Ездил он в город, чтобы добиться ее спасения, но попал в водоворот великой силы, которая приняла его в свои объятия и изменила его путь.

И сердце Кадира, укрепленное этой силой, рвалось из груди, чтобы слиться со знаменем, что-то прокричать миру. Кадир спешил спасти от злого гнета свою возлюбленную, заключить ее в свои объятия.

Приблизившиеся со стороны города торжествующие, радостные голоса разносились по всей степи. То ехал отряд всадников. Услыхав ружейную стрельбу, всадники припали к гривам лошадей, отпустили поводья и, гикнув, как орлы, полетели вперед.

Мешади Ислам не успел израсходовать последний патрон; пуля врага поразила его в сердце, еще полное надежд. Падая ничком, он кинул последний взор на замершего в страхе ребенка и рвавшую на себе волосы Гумри. Веки его опустились, как занавес после тяжелой трагедии, и он затих, не успев сказать последнее прости.

Словно почуяв гибель Мешади Ислама, вражеские кони ворвались в камыши. Бебир бек с налитыми кровью глазами схватил плакавшего ребенка за ножки и поднял на воздух. Ребенок, открыв глаза, взглянул на бека. Этим взглядом бессловесное, беспомощное создание не то умоляло о пощаде, не то искало отца. Взгляд потух, как искра. Держа девочку за ножки, бек словно взвешивал ее, как подстреленного голубя.

Слова Чепель-Саялы, засевшие в мозгу бека, превратились в темную, слепую веру. «Ее любовь перешла на ребенка, потому на нее ничего не действует. Иначе, если не тебя, то кого же ей любить то?»

Бебир бек выехал из камышей на берег реки. Крепко держа ребенка за ножки, стал вертеть его вокруг головы, как пращу. Ребенок задыхался и время от времени вскрикивал: «Мама!» Наконец, размахнувшись, бек с силой ударил его головой о камень. Раздался слабый писк, и череп ребенка треснул, как плод граната. Брызнула кровь и смешалась с водой, которую пили пониже животные и растения.

Брат Бебир бека, Мухтар бек, подхватив Гумри, хотел посадить ее к себе в седло.

При виде ребенка, ударившегося головкой о камень, Гумри охватил нечеловеческий ужас.

Перо не в силах описать этот ужас, читатель, попробуй сам представить его себе.

Представь себе отчаяние женщины, пойми кошмарную трагедию матери, в голоде и холоде, на своей груди вырастившей маленькое создание...

Матери, с бесконечной любовью лелеющей в своих объятиях будущих великих освободителей, творцов, героев и гениев, этой матери человеком была причинена боль, которую не причинил бы даже самый кровожадный зверь.

Отчаянный вопль, словно звавший всех матерей на восстание, вырвался из груди Гумри. Он прозвучал, как взорвавшийся вулкан. Его ни воздух не рассеял, ни земля не задушила, ни вода не поглотила, ни расстояние не заглушило. Как молния, облетел он всю окрестность, всколыхнув камни и скалы.

Везде и всюду, всякий, слышавший этот крик, понимал его, проникался сочувствием к несчастной матери.

Великие сердца, услышав его, склонились перед мукой и величием материнства.

Безучастными к нему остались лишь паразиты, впившиеся в тело жизни и высасывавшие ее кровь.

Долетел он и до скакавшего Кадира и потряс его.

Вместе с болью матери, потерявшей самое дорогое на свете, послышалась ему в этом крике еще и горечь оскорбленной любви.

Он хлестнул коня.

Всадники с красным знаменем примчались к месту трагедии и стали ее свидетелями.

Едва Султанали увидел Бебир бека, как грянул выстрел. Бек вскричал и грузно свалился в воду. С криком «Гумри!» Кадир обнял посаженную на лошадь женщину с распущенными, всклокоченными волосами. Султанали поднял безжизненное тельце Фахиры. На невинном личике ребенка, казалось, еще теплилась искра жизни. Ужасная боль сжала сердце Султанали.

— Гумри!

Гумри не приходила в себя: оттого ли, что она услышала голос любимого человека, который нес ей избавление, или оттого, что страдания ее были выше ее сил; она на миг открыла глаза и снова закрыла их.

Кадир собрал в платок алмазные зерна, блестевшие на лице Гумри.

— Гумри, это я! Посмотри же на меня, Гумри, это я!.. Я принес избавление нашей деревне!

Солнце щедро осыпало землю своими лучами, точно хотело ими смыть и очистить село от всякой грязи и скверны.

Люди волновались. Иные искали темного места, подвалов, подземелий, куда бы можно было спрятать, зарыть свои преступления. Но большинство, широко раскрыв грудь, полную надежд, грелось в живительных лучах жизни.

Слышны были голоса людей, воскресших, вставших из-под могильных камней, чтобы вдохнуть живительный весенний воздух.

Потрясая кулаком, Кадир говорил:

— Товарищи!..

В потоке тысяч старых, пустых и лживых речей это слово звучало, как могучая истина.

С криком «А-а-ах!» пахарь, оставив плуг, торопливо бежит по пашне, перепрыгивая через огромные глыбы земли, птицей

перелетает через изгороди, перескакивает через овраги, перебегает через речки и подносит букет цветов тому, кто произносит это удивительное слово, взлелеянное в его собственной груди: «Товарищи!..»

Все в селе Кобулар, от мала до велика, услышали и поняли это слово, сладостное, как симфония будущей жизни.

1938

Перевод Азиз Шарифа

РАССКАЗЫ

НОВОМОДНАЯ СВАДЬБА

Мой побратим Бахлул работал в кооперативе.

Мать его была продавщицей в одном из магазинов. Ей всегда не хватало времени, и мы почти не виделись.

Сегодня случайно столкнулся с ней на улице.

— Изменник! Чужак!

Она стала журить меня. Потом вынудила обещание, что я завтра приду к ним на свадьбу Бахлула. Я пытался было увильнуть... Сослался на важное дело.

— Какие дела в выходной день? — возразила она строго. — Кого морочишь?

Никаких дел. Придешь, и все.

Я называл ее биби, тетя.

— Биби, — сказал я. — Откровенно говоря, я не бывал на новых свадьбах. Не знаю обычаев, не хочу краснеть перед гостями.

Биби прикрыла мне рот ладонью.

— Молчи, молчи! — сказала она. — Каждый учится на опыте других. Придешь, посмотришь и узнаешь. А сам Бахлул разве не из деревни? И он был такой же застенчивый парнишка, как ты. Входил, выходил, присматривался да приглядывался. Насобачился настолько, что теперь речи произносит. Такой день и для тебя настанет. Не сегодня-завтра и ты, бог даст, найдешь себе достойную особу и женишься. Ведь и тебе предстоит такая же радость, не так ли, деточка?

Мне было неловко послушаться биби. Утром я надел положенные с вечера под матрац брюки, таким путем выглаженные; выпросил у товарища верхнюю сорочку и стал искать серебряные запонки. Ребята, узнав, что я собираюсь на свадьбу, снабдили меня чем могли, и я приобрел торжественно-франтоватую внешность.

— Счастливцев! — говорили они с завистью, весело провожая меня из общежития.

К семи часам я был уже у побратима. Там готовились вовсю. Кто подкладывал дрова под котлы, кто таскал воду, другие разгружали полные корзины; доносился настойчивый стук молотка — кто-то колот сахар.

Биби провела меня в свою комнату. Жених еще не вернулся из бани. Для него заварили свежий чай, резали лимон.

Биби осталась недовольна моей внешностью. Она накинула мне на шею один из шарфов Бахлула и уложила его так, что бахрома шарфа, точно лошадиная грива, легла мне на грудь. Затем

заставила снять туфли и надеть красные шелковые носки. Мой простой кожаный пояс заменила другим, с костяными накладками. В правый верхний карман воткнула вечную ручку, а в левый вложила сложенный треугольником красный шелковый платок, угол которого высывался наружу. Затем она расчесала бахрому кашне на обоих концах.

То ли от удивления, то ли от растерянности, я молчал, предоставив себя в распоряжение биби. И как было не смутиться? Я считал себя человеком образованным, а на деле оказывалось, что биби знает больше меня.

Хлопоты биби этим не ограничились. Когда все вышли из комнаты, она под села ко мне и, облокотившись о шитые блестками подушки, стала поучать:

— Деточка моя! Что ты видел на своем веку? От прочитанных книг ты потерял вкус к жизни, высох и потускнел. Потому и говорю тебе — почаще заходи к нам. Тут ты оживешь...

При каждом слове биби толкала меня под локоть, а в конце фразы ударила по колену.

— Теперь слушай! Итак, у нас свадьба. Тут ты попадаешь в большое общество. Это не старинная свадьба. Все по-новому. Слушай и запоминай.

И она начала посвящать меня во все тонкости поведения на свадьбе.

— Первое, не зевай, не икай, не кашляй, не чихай и не потягивайся, — поучала она. — Второе, сиди ровно, не чмокай губами, когда будешь пить чай; ешь так, чтобы губы не блестели от жира; смейся, но не хохочи, достаточно, если скривишь губы в улыбке; говори, но не кричи, процеди сквозь зубы, и довольно; говори о вещах, интересных для всех и современных. Здравойся со всеми, представься, познакомься.

Можно и поцеловать знакомого, но только в губы; целовать в щеку неприлично. Ставь стакан на блюдце осторожно без стука; ложкой мешай медленно; рюмку бери двумя пальцами. Помни, нельзя, все съев, подбирать соус с тарелки хлебом; не пачкай скатерть; не скрипи стулом, не копайся в носу, не почесывайся. Держи ворот застегнутым. Сиди с непокрытой головой.

Не дослушав биби, я поднялся. Снял кашне и двинулся к выходу.

— Всего хорошего, пока прощай!

— Постой, куда ты? — всполошилась биби, хватая меня за руку.

— Биби! — стал умолять я. — Заклинаю тебя жизнью твоего сына, твоей совестью, отпусти меня. Я не выдержу. К тому же мне спать хочется. На завтра много уроков. Отпусти меня. Считаю, что я поужинал. От души поздравляю. Дай бог еще много таких свадеб...

Меня услышали из другой комнаты. Прибежали, ухватили за руки и заставили сесть.

Новомодной свадьбы я ожидал со страхом и трепетом душевным. Я стал просить, чтобы меня впустили в зал до того, как соберутся гости.

— Так мне будет спокойнее, и я буду меньше конфузиться, — убеждал я.

— Деточка, — ответила биби. — Пусть будет проклята бедность. Мы на эту ночь сняли зал у Ханум-нене. Но комнату еще не убрали после вечернего часа. Погоди малость. Как только все будет в порядке, я тебя отведу.

Жених вернулся из бани. Лицо у него было красное как бурлак. Щеки висели мешками. И выражение лица у него было такое, словно он сейчас затеет драку. Он молчал. Оба его шафера, справа

и слева, настороженно смотрели ему в глаза, готовые вмиг понять и исполнить каждое его желание.

Подали чай. Жених, свесив верхнюю губу в блюдце, стал с шумом пить горячий чай.

Я наклонился к биби.

— Кажется, Бахлул не знает! — шепнул я.

Биби меня не поняла.

— Я говорю о правилах... — объяснил я. — Бахлул чмокает. Обрати внимание.

— Деточка! — ответила биби. — Это ведь не свадьба. Когда все свои — это ничего... Он сейчас чмокает, чтобы к свадьбе подобраться и тогда уже не чмокать.

От смущения я забился в угол комнаты. Гости прибывали. При каждом стуке новых шагов у меня сильнее билось сердце, и я начинал повторять про себя правила, преподанные мне биби. Казалось, моя биби сидит у меня на плече и все шепчет на ухо: сиди так, повернись этак.

Не успевал новый гость появиться в дверях, как я готовил руку для пожатия, твердил про себя слова приветствия. Гости, входя в зал, здоровались со всеми и рассаживались. Я робел перед гостями, как ребенок перед парикмахером. Когда они приближались ко мне, чтобы поздороваться, я настораживался, чтобы как-нибудь не ошибиться в выполнении тонкостей обращения.

В одном я не мог разобраться: надо ли вставать при рукопожатии или эту процедуру можно совершать и сидя. Виновата была, конечно, биби. Зачем она не предупредила меня заранее? Я стал наблюдать за другими, чтобы подражать им, но некоторые поднимались, а иные протягивали руку, не трогаясь с места. Я стал сравнивать эти группы гостей и заметил, что те, которые встают при рукопожатии, как будто выглядят солиднее.

Поэтому я решил поступать так же.

Ко мне подошла какая-то дама. Я встал и пожал ее пухлые, в кольцах, белые пальцы. Мне захотелось расцеловать ее, но я постеснялся биби и только сказал:

— Очень рад познакомиться! Да благословит вас... природа!

Когда я разжал ладонь, ее рука, упав, словно тяжелая гиря, ударила об ее бедро, крепдешиновая юбка так и закачалась.

Вошел жених. Все в зале переполошились. У стены против входа освободили для него и шаферов три стула, но к ним стремительно подошла, развевая концы головного платка, биби и отозвала в сторону.

— Когда я скажу, тогда...

На освобожденные места усадили музыкантов. И началось! Да как! Тарист в коричневой шапке из бухарского каракуля прижал к груди тару и стал наяривать... Бубна не было, его заменял плоский барабан, в который прежде обычно били в дни шахсей-вахсея. Молодой человек без шапки, с таким же, как у меня, кашне на шее и в очень узких брюках сжал барабан между колен и стал ударять с такой силой, как будто это был не барабан, а буйвол. Третий музыкант, набив щеки воздухом, усердно дул в зурну, и все удивлялись его искусству, не переводя дыхания, дуть в свой инструмент целых два часа. И откуда, как набирал он воздух?

Оркестр неистовствовал. Музыка и пение, заполнив зал, переливались за окна, на улицу. Порой, когда барабанщик обращал свои глаза на гостей, из уст вырывались одобрителные возгласы:

— Джан, голубчик! Браво!

И голубчик так ударял по барабану, что становилось жаль его, не голубчика, а барабан.

Все места за столом были заняты. Среди собравшихся не было ни одного знакомого, и потому я предпочитал не вылезать из угла.

Боясь нарушить правила обращения, я не рисковал начать беседу даже с теми, кто сидел поблизости.

Вдруг жених, пройдя большими шагами через весь зал, остановился возле музыкантов. Какая у него была мужественная походка! Трое сидевших около музыкантов гостей встали и уступили места жениху и шаферам.

— Хан-киши! — повелительно крикнул жених, сев.

Из другой комнаты прибежал, на ходу вытирая рот, человек с сильно выдающейся нижней челюстью, у него голова была непокрыта, как и у меня. Надо сказать, что из всех присутствующих без шапки было только трое — я, барабанщик и Хан-киши.

— Товарищи поручают тебе руководить компанией! — повелительно сказал жених. — Приступай к делу.

— Слушаюсь, бек! Будет исполнено!

Хан-киши вытер руки о полу пиджака и оглядел гостей.

— Ну, чего молчите? — проговорил он. — Кто из товарищей хочет играть в домино? Прошу высказаться. Или в карты? Пожалуйста. Развлечемся. Когда музыканты устанут, прошу заводить патефон. К вашим услугам!

Из другой комнаты донесся голос биби:

— Хан-киши, давай танцы! Пускай танцуют!

Гости рассмеялись.

— Кто смеет возражать? — начал Хан-киши, кривляясь и передразнивая. — Раз хозяйка приказывает, надо исполнить. Ну что же, давайте начнем.

Вдруг жених стукнул кулаком по столу.

— Это что за предрассудки? — крикнул он. — Почему женщины и мужчины сидят врозь? Сейчас же объединить... Долой духовенство!

Предложение жениха было встречено аплодисментами.

Хан-киши стал обходить гостей и рассаживать так, чтобы мужчины и женщины чередовались. Тут были одинокие мужчины и одинокие женщины. Их интересы были соблюдены полностью: на долю каждого мужчины досталось по женщине, причем у каждой женщины одну половину прикрепили к соседу справа, а другую — к соседу слева. По неопытности и застенчивости без дамы остался один я.

— Вот так! — довольный своим распределением, воскликнул Хан-киши. — Это я понимаю! Вышло по-культурному.

Вдруг он заметил меня и, весело сверкнув глазами, обратился к гостям:

— Поглядите на него! Он, бедняга, остался без пары.

Все рассмеялись. Я вспотел. Из соседней комнаты прозвучал голос биби:

— Я буду с ним в паре!

Каждый гость был разряжен и разубран, словно магазин перед праздничным базаром. Серьги разодетых в яркие цветные платья женщин, бусы на шее и на груди, кольца — все это сверкало, как ювелирная витрина. Мужчины лишь напоминали принудительный ассортимент к этим дефицитным товарам.

У кавалеров блестели носы, у женщин пальцы. У женщин белели лица, у мужчин зубы. У женщин чернели глаза, у мужчин загорелые руки. У женщин алели губы, у мужчин багровели шеи.

Музыкант, перекачивавший воздух комнаты в свою зурну, оглушал всю эту пестро разряженную компанию самыми разнообразными мотивами. Оркестр вдруг заладил наводящую тоску пьяную «петушину» мелодию:

Моя курочка рябенькая,
Ее крылья рябенькие,

Ах, не курица, а соловей...
Вай ду-дуй, ду-дуй, ду-дуй!
Вай ду-дуй, ду-дуй, ду-дуй!..

Хан-киши вытянул одну из женщин, дебелую и игривую, на середину комнаты.

— Кассирша из двадцать первого! — зашептались мои соседи.

Кассирша проплясала совсем неплохо. Скрипели доски пола, звенели стекла в окнах, стол у стены подрагивал. Когда оркестр ускорил темп, она потеряла ритм и стала скакать, как пьяная.

Все это резко нарушало правила, о которых говорила мне биби, и я каждую минуту ожидал, что она окриком из другой комнаты прекратит танец кассирши. Мои ожидания не оправдались. Кассирша продолжала делать дикие движения, напоминавшие прыжки рассвирепевшего слона, которому вонзили в хобот иглу. Аплодировать было некому, так как защищали руками головы, боясь, что она может задеть с размаху.

Затем пустилась в пляс особа, являвшаяся полной противоположностью первой: худая женщина, похожая на паука. Она была в атласной юбке и красных ботинках, брови у нее походили на запятые, а нос на вопросительный знак. Ее быстрые, беспорядочные движения напоминали агонию умирающего животного или судорожные подрыгивания выброшенной на сушу рыбы.

Повертевшись, она упала на свой стол. Грудь ее учащенно поднималась и опускалась. Она тяжело дышала. Эта тоже оказалась кассиршей.

За ней вышла плясать широкоплечая, дородная женщина в крепдешиновом платье — чарльстон.

— Пусть товарищ танцует в паре! — безапелляционно заявил

Хан-киши.

Встал какой-то мужчина, в косоворотке, все время кутивший из костяного мундштука. Словно ястреб, распутивший крылья, он подлетел к даме и стал вертеться вокруг нее, вздымая руки. Увлеченная танцами женщина распустила нижнюю губу, которая повисла, как коровий язык. В то время как мужчина кружился, она, стоя на месте, то сжималась, то выпрямлялась, вытягиваясь, словно гармонь.

После них еще плясали женщины. Многие из них выбрасывали руки и двигали ими, как подстреленная птица бьет крыльями. И лишь одна из танцевавших, оказавшаяся из родни невесты, своим красивым танцем обворожила даже зурначи, который так и хотел, казалось, вместо воздуха, поглотить плясунью. Эта ярко одетая девушка словно плыла, закатывая томные глаза. Волосы, свитые в косы, под такт ее ритмичным движениям то лобзали ее грудь, то скользили по спине шелковыми кистями.

Чай был выпит. Подали ужин. Плов. Ах, какой это был плов! Казалось, что на блюдах покоятся снежные горы. Янтарно-желтое масло заливало их от вершины до подошвы.

Гости ринулись на плов. В комнате поднялся невероятный шум от чавканья жирных губ. Через минуту кончился и плов и гарнир к нему.

— Не робейте, товарищи! — ободряюще говорил Хан-киши. — Ешьте сколько влезет. На всех хватит!

Я был охвачен противоречивыми чувствами. Прислушиваясь к чавканью и сопению, глядя на блестящие от жира губы, на темные кисти рук, вонзившиеся в белое тело плова, я шепнул на ухо биби:

— Ай, биби, как будто правила приличия немного того...

Рот у нее был полон, она не могла ответить и только взмахнула

бровями, не соглашаясь со мной.

Принесли чайные стаканы. Хан-киши обходил гостей, наливая вино.

Кассирша закинула голову и начала говорить тост:

— Товарищи! Я прошу вас... Мы счастливы... Товарищ жених, то есть Бахлул, работает в нашем двадцать первом номере, поэтому выпьем этот бокал за его здоровье, так как товарищ... Я прошу, чтобы выпили.

— Постой! — крикнул вдруг Хан-киши.

Все обернулись к дверям. В зал входила безвкусно одетая и густо напудренная старушка.

— Это мать невесты! — представил ее Хан-киши.

— Да здравствует теща нашего жениха!

— Да благословят ее таинственные силы природы.

— Да пошлет природа всем по теще!

Тещу усадили рядом с женихом.

— Да пошлет природа и вам! — стала благодарить гостей за приветствия биби. — Да благословит и вас природа!

Стаканы непрерывно наливались и осушались. Шла застольная болтовня. Но когда заговорил жених, все стали прислушиваться. Меня так заинтересовала его речь, что я пожалел, почему у меня только пара ушей.

— Пусть не говорят обо мне, что я, Бахлул, не кончал онвирсетов¹, или чего-то в этом роде... Наша касса, та самая касса, что есть!.. Многие здесь — наши товарищи по профессии. Они поймут меня. Эта касса такая сволочная замысловатая штука, что никакие онвирсеты с ней не справятся. Собственно говоря, самый онвирсет тоже порождение кассы. Сами видите, как приходят студенты учиться у нас!.. Я говорю, чтобы мы выпили за нашу кассу. Это, — и жених поднял стакан до самой люстры, — нам

¹ Университет

дала касса. Без нее что за жизнь! Я в жизни ничего драгоценней не видел. Выпьем за кассу!

Зазвенели стаканы. Вся комната наполнилась шумом и звоном.

Когда полный стакан жениха ударился о пустой стакан тещи, он криво посмотрел на нее.

— Это нельзя! Хан-киши! Посоветуй этой женщине.

Кто-то крикнул:

— Эй, как бы не поссорились!

Хан-киши налил вина теще.

— Кто не выпьет, тому выльем за ворот...

— Есть предложение — пусть поцелуются.

— С кем же целоваться, ведь невесты здесь нет.

— Пусть пока мать невесты поцелует... Горько!.. Пусть поцелуются.

— Пусть поцелуются! Горько! ..

Хан-киши обнял старуху и подвел к Бахлулу. Тот смачно расцеловал тещу и выпил свой стакан до дна.

Женщина, красная от смущения, вернулась на свое место. Ее брат, невестин дядя, обидевшись, ушел. Бахлул, узнав об этом, выругался по его адресу:

— Кто меня не уважает, пусть его так-то. Пускай катится.

Снова головы опустились над тарелками, застучали ложки, заработали челюсти.

— Кто стащил? — вдруг вскричал Хан-киши.

— Что, что?

— Кто взял?

— Да что же?

— Ты съел мою порцию?

Стакан, ударившись в голову Хан-киши, разлетелся вдребезги. Винная бутылка угодила в буфет. Зазвенели стекла. Банка с вареньем получила пробоину, сироп стал стекать на скатерть.

— Пропала! Пропала! — завопила теща, дернув зятя за рукав.

Разгорелась драка. Компания раскололась на два фронта. Чуть не дошло до кровавого побоища. В гущу бросилась сама биби. Стала кричать, плакать. Я не упустил случая шепнуть ей:

— Кажись, правила приличия немного того...

Когда страсти несколько улеглись, я снял кашне. Сменил носки. Надел свой пояс. Приняв прежний вид студента, я собрался уходить.

— Прости! — обратился и к расстроенной биби. — Я зевнул один раз. Прошу извинить за нарушение тонких правил приличия на новомодной свадьбе.

Биби все же не пустила меня.

Когда все разошлись, мы перешли в другую комнату.

Биби снимала с подоконников и вынимала из ниши какие-то коробки, складывала посередине комнаты. Я думал, что это коробки с тортами, конфетами, мармеладами и т. п.

И решил, что эти сладости сбережены для нас. Призвав аллаха, я хотел полакомиться конфеткой, но биби остановила меня, дернув за руку.

Затем стала извлекать из больших и малых коробок носки, чулки, кашне, букеты из искусственных цветов, серебряные ложки, духи, пудру, отрезки шелковой материи, сахарницы, туалетные принадлежности, платки, запонки... Одним словом, открылся новый магазин номер двадцать два.

Я выжидал. Биби, демонстрируя каждую вещь, прибавляла:

— Вот эту шаль принесла жена Мамеда.

— Полдюжины ложек. Подарок солидный. От Мины-ханум.

— Недурная шкатулка! Достойная вещичка. Молодец Мешади Рагим!

И Биби держала вещь до тех пор, пока не узнавала мнение жениха, а потом откладывала в сторону. Вначале жених был

доволен.

— Да!.. Ничего!.. Приемлемо!.. Дальше!.. — бормотал он. — Еще бы! Даром, что ли, я ее мужу открыл источник дохода!

Биби подняла связку искусственных цветов.

— А это, — сказала она, — от твоего друга Эюба.

— Такого друга лучше бы в могилу, — промышчал жених. — И не постеснялся, каналья!..

— Это принесла Хамзат! — продолжала биби, показывая пару носков.

— Кто?

— Жена Мирсаада, — объяснила биби. — Да Хамзат.. Не знаешь ее, что ли?

— Очень плохо сделала, что принесла, а ты оплошала, приняв. Что она, надо мной издевается или себя на посмешище выставляет? Когда ее дочь оценилась, небось я раскошелился на сорок рублей, хотя и был холост! А она в такой для меня светлый праздник носками поздравляет! Начихать на ее подарок. Сейчас же отнеси, кинь ей в морду. Мы еще не настолько обеднели! Сукины дети! Носки! Какие-то жалкие носки!..

Лишь теперь, увидев все это и услышав эти разговоры, я сообразил, почему так холодно обошелся со мной мой побратим. Оказывается, самым злостным нарушителем этикета новомодной свадьбы был я, пришедший с пустыми руками, без всякого подарка.

Я побоялся, как бы меня не побили. Под предлогом подышать воздухом я вышел из комнаты и глубокой ночью прямо направился в общежитие. И закаялся: «Чтобы я когда-нибудь еще собрался на новомодную свадьбу. Упаси аллах!»

1934

Перевод Азиза Шарифа

ОГОРОДНЫЙ ВОРИШКА

Темной ночью Дурмуш приподнялся в постели и посмотрел вокруг. Сумерки стали тьмой, они сгустились, точно утоптанная под ногами грязь. Ни зги не было видно. Виноградник его брата Кербелай-Тапдыха едва маячил черным пятном. Было душно, казалось, все тает и расплывается от жары. Небо сливалось с землей.

— Надо приниматься за дело!

Дурмуш двигался между грядками, земля от засухи окаменела и потрескалась. Он засучил брюки до колен, чтобы двигаться бесшумно и не задевать ими сухую траву и широкие листья дыни, сунул папаху под мышку, шел крадучись, осторожно.

«Чего трусить! — подбадривал он себя. — Если спит, дело мое в шляпе. Если не спит, скажу, что пришел поболтать. И так и этак не попадусь...»

У самого забора ему послышался чей-то голос. Будто кто-то окликнул: «Эй, хей, хе-ей!» Он присел у розового куста и замер, весь превратившись в слух. Слышался шорох.

«А вдруг он сторожит поблизости! Как бы не всыпал мне в брюхо порцию дробин!»

Эта мысль молотком ударила в голову, обдала жаром, заставила вздрогнуть.

Он поднялся и хотел уже окликнуть брата. Подождал минуту. Догадался, что шелестела ящерица, им же вспугнутая.

Дурмуш пошел на цыпочках и бесшумно, как мысль, подошел к кошме Кербелай-Тапдыха. Тот сладко спал, храпел. Дурмуш наклонился к его лицу, прислушался; он понял, что братец спит «сном дэвов», и вспомнил «о семи днях и семи ночах». Расширившийся от частого пожирания плова, рот Кербелай-

Тапдыха был раскрыт настолько широко, что набившийся в него сон только и можно было переварить в течение «семи дней и семи ночей».

Дурмуш скользнул в виноградник...

В саду Кербелай-Тапдыха было несколько кустов редкого винограда; его круглые, белые и сладкие ягоды тесно жмутся в кисти; созревает он рано и появляется на рынке раньше всех других сортов, поэтому его и любят, и дорого за него платят.

Уже сколько лет с шести кустов Кербелай-Тапдыху не удается сорвать хотя бы шесть кисточек. Не успевал виноград созревать, как его воровали, и Кербелай-Тапдых оставался ни при чем. Жена бранила его за ротозейство. Наконец и сам он обозлился.

— Что это, в самом деле! Надо же наконец узнать, кто это повадился в мой виноградник! Я не я буду, если не распорю ему живот!..

Он не доверился ни слуге, ни сыну.

Как только с винограда опал цвет, он перетащил постель в сад и устроился в шалаше.

Если он сумеет устеречь свое добро, то наверняка соберет с каждого куста по пуду винограда. Эти кусты, распластавшиеся по горячей земле, дают влагообильные, как весеннее облако, кисти. Казалось, окрепшие, зубчатые, как корона, плотные листья, всасывая алмазные лучи солнца и живительную влагу утренней росы, передавали их плотно облепившим кисти прозрачным ягодам, бережно прикрытым свежей зеленью; а кисти, точно оперившиеся птенчики, не помещаясь в тесном гнезде, высовывались наружу, то ли зовя свою мать, то ли желая стать жертвой случайного прохожего.

И что за виноград! При одном прикосновении губ кожица его лопается, и сок, едва проглотишь, переходит в кровь.

Кербелай-Тапдыху казалось, что не виноградные кисти, а новенькие червонцы свисают с веток.

Едва увидев этот виноград, нарядные дамы, едущие из России, высунутся из вагонных окон и закричат:

— Давай виноград!

Какой же дурак уступит такой виноград по дешевке. Один червонец за кило! Вот достойная цена такому винограду!

Не одного Кербелай-Тапдыха обуревали такие мысли. Они беспокоили и его брата Дурмуша. Недаром говорят в народе, что от сердца к сердцу бегут пути.

По червонцу за кисть надеялся содрать с российских пассажиров и Дурмуш, который барсуком полз между виноградными кустами и торопливо срывал налившиеся кисти, будя их от сладкого сна.

«От отца мне не досталось и обрывка веревки, чтобы я мог на нем повеситься, — думал он. — Старший братец надул меня, все забрал себе... Лишь свиньи ему не хватает. Неужели и этот виноград мне не достанется?»

Удачно проведя свою операцию, Дурмуш вернулся к себе, в огород. Припрятал виноград. Одну ягоду положил в рот и сладко чмокнул губами. Она была вкусна, как запрещенный поцелуй, сорванный темной ночью с губ невесты.

С гордостью полководца, разбившего врага, рассеявшего неприятельскую армию и взявшего крепость, лег спать Дурмуш.

Кербелай-Тапдыха разбудили. Тьма тьмушая. Тишина и покой.

Кербелай-Тапдых вспомнил о заколдованной ночи из знакомой сказки. Посмотрел на небо. Рассыпанные в беспорядке звезды напоминали золотые монетки.

«Что, если бы эти золотые монеты вдруг сорвались и посыпа-

лись на землю золотым дождем? Аллах, что бы было! Схватил бы свою папаху и набрал бы сотенку. Потом купил бы в самом центре города домик или присоединил к своему саду соседский участок. За год сбывал бы на пятнадцать тысяч рублей одного только тавризского винограда. Дурмуш лопнул бы от зависти! Попробовал бы тогда тягаться со мной!»

Не успел Кербелай-Тапдых вдоволь насладиться своей мечтой, как слуга зашептал под ухом:

— Скорее! Пора, пора!

Он встал. Знаком дал понять слуге, чтобы тот пробирался с другой стороны, а сам спустился между деревьями в овраг и поднялся в огород Дурмуша.

И сад, и земля под огородом достались им в наследство от отца. И вышло так, что при дележке запущенный пустырь достался именно Дурмушу. Он возмущался, спорил, кричал, но это не подействовало ни на представителя шариата — моллу, ни на представителя власти — старшину.

Поймав отбившегося от стада гуся, он принес его под полой в подарок кази. Но оказалось, что Кербелай-Тапдых его опередил, вовремя показав кази золотую десятирублевку, зажатую в зубах. Когда снова начался спор, кази, вскипев, крикнул Дурмушу:

— Что ты вытягиваешь шею, как гусь! Не понимаешь, что твой брат золотые слова говорит...

И принял сторону Кербелай-Тапдыха.

Дурмуш опустил голову и сдался.

— Пусть старший брат владеет садом, — сказал он. — Если буду жив, я тоже землю моего участка превращу в золото. Пусть!

И Дурмуш сдержал слово. Участок, покрытый сорняком и колючим кустарником, он выкорчевал, вспахал, землю просеял, словно муку. Прорыл канаву, провел воду. Вокруг участка посадил

в два ряда фруктовые деревья. На самом участке развел огород. И хорошо зарабатывал.

Прекрасно обработанный, разделенный на ровные квадраты грядок, участок походил на кубинский ковер. Молодые яблони и груши, окружавшие огород, качали ветками, словно колебалась ковровая бахрома.

Дурмуш получал с огорода немалый доход. Деньги так и сыпались в его сундучок, и он мечтал о закладке виноградника. Это и не давало покоя Кербелай-Тапдыху. Как бы брат не перешеголял его! Как бы не стал богаче! Он не мог снести такого горя. Поэтому он всячески старался навредить Дурмушу.

За последнее время он часто заглядывался на его дыни. Приходя на огород, якобы с целью проведать своего дорогого младшего братца, он исподтишка намечал и запоминал отдельные грядки, чтобы ночью без задержки и хлопот вкусить, так сказать, блага с огорода брата.

Он велел слуге ночью прийти с мешками и разбудить его.

Распластавшаяся по грядке дынная листва напоминала напивавшихся соками земли и небесной влагой молодцов, спавших, выпятив грудь.

У каждого стебля лежали по несколько дынь, словно молодые, лениво жующие тельцы, еще не испытывавшие тяжести плуга. Стебли, поддерживавшие широко раскрытые листья, были похожи на руки гостеприимной невесты, несущей тарелки с угощениями. Некоторые из дынь, как мрачные нелюдимы, лежали, уткнув нос в землю. Иные своим крутым боком напоминали вздувшийся парус, другие были круглы, как шамам...

Кербелай-Тапдых шмыгнул в грядки, облюбованные еще днем.

— Давай! — кивнул он слуге. — Чего зеваешь?

Тяжелые, рябые, спелые дыни отрывались от своего стебля при

первом прикосновении. Некоторые же сопротивлялись, крепко держались на стебле. Кербелай-Тапдых вынул кинжал и стал ловко подрезать стебли.

Ах, какие дыни! От спелости и сочной сладости они лопались в руках.

Кербелай-Тапдых осторожно ползал по грядкам, срезая дыни, а слуга, следуя за ним, набивал мешки и спускал их в овраг. Вскоре грядки опустели, и мешки стали горбатыми.

Когда они выходили из огорода, начинало светать.

Было уже позднее утро, когда солнце поднялось высоко. Но ни один из братьев, обычно встававших с зарей, не хотел покидать постели. Словно больные, они ворочались каждый под своим одеялом. Лучи солнца, падая на ложе Кербелай-Тапдыха, невыносимо жгли его: он отодвинулся к самой стенке, приник головой к подушке и, закрыв глаза, весь превратился в слух. Он ждал, что вот-вот с огорода донесутся вопли обворованного Дурмуша.

«Пусть застанет меня в постели!» — думал он.

Дурмуш тоже не спешил вставать, и он ждал, когда из сада послышится крик Кербелай-Тапдыха, оплакивающего ограбленный виноградник.

«Пусть застанет меня спящим... — думал в свою очередь Дурмуш. — Я прикинусь невинным младенцем и буду протирать глаза словно со сна!»

Полежав еще немного, Дурмуш одним глазом посмотрел на дорогу: не идет ли кто? Ему показалось, что на грядках какой-то беспорядок. Приглядевшись, он понял, что произошло нечто неприятное. Проворно натянув брюки, Дурмуш устремился на бостан.

Да, он не ошибся! Из лучших дынь, составлявших предмет

особых его забот, не осталось ни одной. Грядки были затоптаны, стебли с помятыми листьями лежали беспомощно, словно поверженные богатыри.

Он не верил своим глазам. Нагнувшись, он стал обеими руками переворачивать стебли, ногами топтать землю. Заглянул даже в траву.

«Ах!.. Нет сомнения!.. Огород ограблен!..»

Первое подозрение пало на прохожих. Побежал к дороге. Там никого не было, кроме крестьян, ехавших на арбах и весело болтавших или везших верхом ягнят в город.

Дурмуш вернулся и, решив сообщить о случившемся брату, крикнул, поравнявшись со сторожкой Кербелай-Тапдыха:

— Ай, кага! Эй, братец, братец! Ай, кага-а-а!

При этом крике у Кербелай-Тапдыха заиграла на губах улыбка.

«Ну, значит, приятель наконец-то понял, что случилось! — подумал он, еще крепче зажмуривая глаза. — Пусть подойдет к самой постели!»

Дурмуш перепрыгнул через забор. Застав брата спящим, он завопил в отчаянии:

— Ай, кага! Как ты можешь спать, когда меня погубили! Встань-ка, погляди, что со мной сделали!

Они вошли на огород.

— Ты только посмотри! — со скорбью говорил он брату, указывая на смятые листья и разрытые грядки. — Ты посмотри, как меня ограбил какой-то подлец, сукин сын. На каждом стебле было по пяти-шести дынь. Каждая из них была мне дороже сына. Я их сохранял к тому времени, когда народ вернется с кочевков. А он, сукин сын, даже семенные унес! Чтоб твоего отца на том свете черт по аду гонял!..

Кербелай-Тапдых старался казаться удивленным и сочувствующим.

— Жаль! Как жаль твоего труда! Да ведь и ты сам порядком виноват! Спишь тут же, почему так крепко спишь? Разве не знаешь, что воры способны с века ресницу стянуть? Ты же знаешь, с какими мучениями я сохранил свой виноград!

Несмотря на душевное его горе, Дурмуш при этих словах брата злорадно про себя усмехнулся: «Как же не знать! Знаю!»

Кербелай-Тапдых стал утешать брата.

— Ну, что поделаешь! — говорил он. — Быть бы лишь здоровым...

— На кой мне черт здоровье, если не смог уберечь от воров свое добро!

— Это ничего. Вор вором останется и не избегнет возмездия, а ты снова посеешь, и опять будут у тебя дыни. Вор же...

Дурмуш не дал ему договорить.

— Ведь сколько я труда положил на это! Сколько копал, какие мозоли нажил! Не то чтобы, как другие, батраков и рабочих нанимал. Ведь все сам, сам делал. На каждую дыню ночь бессонную отдал!.. Да чтоб его жену...

Кербелай-Тапдыха от последних слов Дурмуша передернуло.

До сих пор брань и ругательства относились к его отцу и матери. И это он терпел, потому что ругал их его же брат и половина брани падала на его голову. Когда же Дурмуш задел его супружеское достоинство, Кербелай-Тапдых почувствовал себя больно уязвленным. Он побагровел, губы у него пересохли, глаза помутнели, в зрачках заиграли огоньки.

А Дурмуш еще раз повторил свою страшную брань;

— Пусть, пусть его жену...

Кербелай-Тапдых дожил до сорока семи лет, и ему еще не приходилось в глаза выслушивать такие оскорбления. Кровь бросилась ему в голову, сердце загорелось пламенем. Рука

схватила за кинжал и готова была выхватить его из ножен... Вдруг он нахмурил брови и подумал: «Если я ударю его, сразу догадается, что я вор. Надо стерпеть».

— И зачем ты из-за дынь так ругаешься! — выдавил он хриплым голосом. — Нехорошо! Услышат еще...

— То есть как плохо?! — вскричал, еще более раздражаясь, Дурмуш, все время неотрывно смотревший на оборванные стебли. — Как же не ругать негодяя, который посягнул на мое добро! И буду ругаться, вот тебе раз! Нехорошо?!

При других обстоятельствах Кербелай-Тапдых ни за что не стерпел бы таких оскорблений, он бы смыл их кровью обидчика. Но сейчас? Ему оставалось только молчать...

И, повернувшись, он пошел к своему саду.

Перешел через канаву. Вдруг его взгляд упал на валявшуюся на земле смятую кисть винограда.

— Хих! — вздрогнул он.

И подумал, что кто-нибудь сорвал кисть, но, приметив хозяина, бросил ее и скрылся. Оглядываясь по сторонам, он подошел к заветным кустам. И что же он увидел?! Они понуро свисали, напоминая выдоенных овец. Они были так чисто обобраны, словно среди бела дня тут прошел целый отряд воров. От раннего винограда не осталось и следов. Сорвавшиеся с кистей одинокие ягоды валялись во рву. С лоз беспомощно свисали надломленные, успевшие завянуть листья, и голые ветки походили на раздетых бандитами на большой дороге прохожих; на черенках, с которых обломали гроздья, застыли капли влаги.

Кербелай-Тапдых в отчаянии упал на колени; он был похож на человека, потерявшего сына, лишившегося опоры. Не в силах двигаться, тяжело дыша, он выдавил из себя отчаянный крик:

— Помогите! Эй! Помогите!

Оба пострадавшие обратились в сельсовет. Рассказали о своей беде, оценили убытки.

— Кого подозреваете? — спросил секретарь совета, составив акт.

Дурмуш назвал сына Агаджана. Кербелай-Тапдых указал на Дангыр-Аббаса.

— Почему вы их подозреваете, — спросил секретарь, — быть может, все это проделки одного человека?

— Нет, — убежденно сказал Кербелай-Тапдых, — мой сад ограбил другой вор.

— Откуда это тебе известно?

— Знаю.

— Раз знаешь, почему не говоришь?

— То есть нет, не знаю, — поправился он. — Откуда мне знать. Пусть будет проклят отец того, кто обобрал мой огород!

Расследование ни к чему не привело. Дангыр-Аббас оказался в тюрьме, а сын Агаджана уже месяц как покинул деревню.

Дело так и осталось неразобранным в сельсовете.

Спустя три дня как-то вечером зашел к председателю сельсовета милиционер Галендер Кулиев.

— Собирайся скорее, пойдем на вокзал.

— Куда там на вокзал! Я только что с тока. Ноги болят.

— Дело есть, пойдем, — настаивал милиционер.

— Дай хоть дух перевести! — взмолился председатель сельсовета.

— Нельзя. Дело срочное. Ты такое увидишь, что ахнешь!

Председатель сельсовета вновь натянул только что скинутые с ног сапоги. Они прошли садом, перелезли через забор и оказались у самой станции.

Звон станционного колокола вызвал суматоху. Кто тянулся за билетом через головы, напирая и толкая толпившихся у кассы людей, кто, схватив хурджин, оттирал контролера, пытаясь в сутолоке пробраться на платформу.

С каждой минутой увеличивались шум и возня. Люди двигались, волновались, сталкивались. И в этом гаме резко звучали вокзальные термины:

— Плацкарта!

— Куда лезешь!

— Поезд подходит!

Направо от буфета перед маленьким палисадником у привокзального ларька продавцы ожидали пассажиров, как дорогих гостей. Одни раскладывали виноград по корзиночкам, другие, взвешивая яблоки, укладывали их в бумажные мешочки, третьи вытирали стаканы; эти перебирали на тарелке жареные котлеты, те резали дыни на ломтики.

Взяв председателя сельсовета за руку, Галендер подвел его к забору палисадника и показал пальцем:

— Смотри-ка! Хорошенько смотри!..

Кербелай-Тапдых помогал своему слуге вытаскивать из мешков дыни и укладывал их в ряд. Опасливо озираясь кругом, он что-то ему шептал.

В это же время налево у будки с кипятком сидел на корточках перед корзиной раннего винограда Дурмуш и, оглядываясь бегаящими глазками, перебирал спелые кисти.

Председатель сельсовета поглядел на них и сказал со вздохом:

— Бедный Дангыр-Аббас! Бедный сын Агаджана! Жрет шакал, а винят волка!

Подошел поезд. Люди вышли из вагонов и, словно зерно порвавшейся нитки бус, рассыпались по платформе. Одни пили и

ели тут же, у ларька, другие, захватив покупки, спешили назад в вагон, где с бьющимся сердцем, возможно, ждала возлюбленная.

Имеющие деньги покупают, владельцы товара продают, а остальные наблюдают за всем этим.

Кербелай-Тапдых успел сбыть уже около дюжины дынь, когда поток покупателей стал иссякать, и после второго звонка поезд отошел. Тогда он выпрямился и стал глядеть вслед уходящему поезду.

Вдруг в глаза ему бросилась фигура Дурмуша, державшего в руках платок с виноградом. Кербелай-Тапдых обомлел...

Когда их взгляды встретились, оба сжались в комок и насторожились, как два стрелка, целящие друг в друга.

Дурмуш бросил платок в корзину и кинулся за деревья.

Кербелай-Тапдых толкнул слугу:

— Идем! — и прыгнул к забору.

В этот момент чья-то рука схватила его за руку. То был председатель сельсовета.

Дурмуша привел Галендер.

Достойных братьев поставили лицом к лицу.

1935

Перевод Азиза Шарифа

АЯЗ

Если вы не боитесь поскучать, я расскажу вам о юности Акбера.

Он не пировал в роскошных, шумных дворцах. Не встречался с красавицами, которые приводят в трепет одним своим движением, убивают стрелами ресниц, сводят с ума томными взглядами. Не произносил тостов за пиршественными столами, сверкающими серебром и хрусталем.

Не был Акбер и влюбленным в книги. Ни в жизни, ни в работе он не проявлял заметных талантов. Не обладал он и красноречием, не умел, выхватив в споре несколько фраз оппонента, неожиданно сбить его с ног...

Ну что, товарищ читатель? Как будто завязка рассказа тебе не нравится? Ты поджимаешь губы и собираешься уйти?

Сознательную свою жизнь Акбер начал учеником у каменщика. Долгие годы учился он мастерству у Уста - Муртуза.

Рано поутру, бывало, Муртуз посылал за Акбером. И Акбер тотчас же догадывался, что есть работа. Он забирал свой таз для замеса извести или глины и старый архалук, в котором ему сподручнее было таскать полный таз на плече, и устремлялся к мастеру. Оказывалось, что мастер подрядился построить дом какому-то купцу, или беку, или мирзе, или ахунду. Землекопы рыли фундамент, мастер протягивал веревочку, измерял, выверял и начинал класть стену. Акбер таскал глину, месил ее, носил камни. Работал он больше всех, но получал половину платы, другая часть шла мастеру за учебу. Он отказывался от половины своего заработка в пользу Муртуза, чтобы со временем стать самому мастером и тогда уже работать меньше, отдыхать больше и проводить время за чаепитием, возмещая эти дни, полные тяжелого труда.

Мастер любил его за быстроту и ловкость в работе и часто говорил:

— Это не ученик, а герой, настоящий герой! И когда он постигнет полностью нашу науку, то станет первым мастером, всех старых мастеров за пояс заткнет. Ба-ба-ба! Ну и свиреп в работе! Сущий дракон!

Был первый год войны русского царя с царем германским. Купцы не успевали тогда считать свои барыши. Последний бакалейщик мечтал выстроить себе хоромы. Узкие улочки, тесные дворы, темные комнаты их уже не удовлетворяли. И вот сила денег создала за каких-нибудь пять месяцев новые кварталы. Час работы каменщика расценивался чуть ли не в золотой.

Это все было на руку Уста-Муртузу. Он много работал и много зарабатывал. Шестнадцать часов в сутки он проводил на строительной площадке.

Сноровка и ловкость Акбера теперь еще больше бросались в глаза. Когда в жаркий летний день, обливаясь потом, он стремительно взбирался с кадкой на плече по лесенке, люди останавливались и глазели на него. Все удивлялись ловкости, с которой он подбрасывал Уста-Муртузу не только кирпичи, но даже громоздкую кадку с густым раствором. И чем больше восхищались люди, тем усерднее работал Акбер. Он наполнял кадку почти до краев и, подбросив ее с размаху, застывал на месте, словно говоря: «Головой отвечаю! Если оплошал, пусть упадет мне на голову».

Уста-Муртуз работал для разных хозяев.

И вот во дворе Али-Паши Акбер встретился с девушкой, прислуживающей в доме.

Ах, лучше бы он не встретился с нею! При первом же взгляде на нее он растерялся и перестал соображать.

Что, казалось бы, особенного в том, что ты увидел девушку? Можно и поглядеть на нее и поговорить с ней, даже пошутить, а в городе и под руку взять и погулять.

Акбер все это знал. Он вырос с соседской девочкой Бильгенс, играл с ней в прятки, бегал вперегонки, они выдирали птичьи гнезда из дуплистых деревьев и ходили, взявшись за руку. Но... никогда Акбер не испытывал ничего похожего. При первом же взгляде на эту девушку он переменялся в лице, густо покраснел. Мысли в голове спутались. И он взглянул еще раз.

Девушка была в голубой кофточке. Она поднимала воду из колодца и переливала ее в свои ведра. Порою она движением головы отбрасывала падавшие на глаза пряди (руки ее были заняты); несколько раз она окинула веселыми черными глазами постройку и копошившихся на ней рабочих.

Когда глаза Акбера встретились с глазами девушки, ему показалось, что мир рухнул, свергнутые с неба облака закрыли землю; стремительный вихрь подхватил недостроенный дом, и, завертев, ударил им Акбера по темени. Но Акбер не почувствовал боли от удара, только его молодое, горячее сердце забилося, пытаясь вырваться из груди и умчаться в небесную даль. Так бьется подстреленный орел.

— Эй, Акбер! Ты мне чуть голову не разбил. что с тобой?

Голос Уста-Муртуза рассеял мысли Акбера. Подняв голову, он увидел отбежавшего в сторону мастера. Позабыв обо всем на свете, Акбер с такой быстротой и силой кидал кирпичи, что, спасаясь от этого каменного дождя, мастер обратился в бегство и, прижавшись к стене, кричал ученику:

— Что ты делаешь? Ты убьешь меня...

Акберу стало стыдно. Ничего не ответив, стараясь не смотреть на мастера, он стал с обычной осторожностью и ловкостью подбрасывать кирпичи.

Проснувшись утром, Акбер почувствовал, что он бесповоротно влюблен. Руки и ноги сковывала слабость, колени дрожали; как весенние воды, мутна была и душа. Чего-то ему не хватало. Акберу казалось — в родной дом, в этот привычный уголок, он впущен лишь временно, а теперь кто-то стал в дверях и хочет выгнать его отсюда. И он не знал, радоваться ли ему или плакать.

Глаза девушки в голубой кофте приподняли завесу, которая закрывала от него будущее. Что его ждет? Горячее солнце и запахи весны или тяжелые дни бездомности и одиночества?

Никак не мог он ответить на этот вопрос и, наскоро умывшись, побежал на стройку. Там никого еще не было. Засучив штаны до колен, он начал месить глину. Переступая ногами, он взглядом искал возлюбленную.

Пришел мастер. Все принялись за работу. Девушка опять появилась на дворе. Перед глазами Акбера снова все закружилось, сильнее забилося сердце, зазвенело в ушах. Мелькнула мысль, что девушка подойдет к ним, быть может принесет завтрак. И вот его глаза опять встретились с ее глазами. Он поверил старикам, которые говорили, что от сердца к сердцу протянута нить. Если бы девушка не догадывалась о том, что творится в душе Акбера, вряд ли она заметила бы его среди стольких рабочих, вряд ли взглянула бы ему прямо в зрачки.

Когда Акбер на минуту прервал работу, чтобы наглядеться на нее, она повернулась к нему спиной, свернула ковер, который мыла у колодца, и ушла.

Тяжело стало на душе Акбера. Он вздохнул и, ни на что не обращая внимания, занялся своим делом.

- Сильнее!
- Акбер, бросай сильнее кирпич!
- Акбер, немного сильнее!

Уста-Муртуз прекратил кладку и в недоумении посмотрел вниз.

— Бросай же сильнее, ведь кирпич не долетает...

Через минуту он опять упрекнул Акбера:

— Да что с тобой случилось? Или нездоровится?

Кирпичи Акбера теперь не долетали до второго этажа, где работал мастер.

— Ты болен, — наконец решительно заявил мастер. — Иди домой, укутайся потеплее, чтобы вспотеть, и выпишься!

Акбер расхворался не на шутку. Придя к нему и застав его в постели, Уста-Муртуз тараторил, чтобы его утешить и подбодрить:

— Чего ты разлегся? Ведь ничего с тобой не случилось. Вставай, умойся и освежись. Постель еще больше расслабляет человека.

Своими разговорами и шутками Уста-Муртуз старался развлечь больного. Он вынул из платка завязанные в нем яблоки и, очистив от кожуры, угостил Акбера.

Уходя, он подумал: «Парень одинокий, близких у него нет, без ухода он может сильнее расхвораться... Попрошу Али-Пашу, чтобы он прислал ему похлебку чего-нибудь горячего».

Прислонившись спиной к подушке, Акбер смотрел в окошко и курил папиросу за папиросой, — может быть, чтобы рассеять свои мысли, а быть может, для того, чтобы собрать их воедино.

И как раз в это время вошла в комнату Аяз, так звали девушку в голубой кофточке. Она принесла в салфетке миску с горячим кушаньем из дома Али-Паши.

Акбер смутился, но не растерялся. Сев на постели, он, не отрывая глаз от горевших ярким румянцем щек девушки, пробормотал еле слышно:

— Зачем беспокоилась?

— Я с радостью, — ответила Аяз.

Услышав такой ответ, Акбер был готов спрыгнуть с постели. Он улыбнулся и мысленно несколько раз с восторгом повторил ответ Аяз. «Значит, беспокойство ради меня доставляет ей радость».

Но как ни старался он найти достойнее для ответа слова, он не нашел их.

Ему было жалко ускользавших в молчании мгновений: ведь впервые в жизни на его долю выпало такое огромное счастье — быть с глазу на глаз с возлюбленной.

— Как тебя зовут, красавица? — спросил он и тот час почувствовал неуместность вопроса, но иные слова не шли на ум.

Аяз молча дала ему ложку, поставила соль. Сложив салфетку и собираясь уходить, она сказала, повернувшись к окну:

— День ясный¹, красавец.

— Белолицая девушка, скажи свое имя!

— Болезный парень, поведай мне свое желание!

— Гостя милая, оживи меня, умоляю!

— Земляк милый, скорей поправляйся...

Их беседа становилась похожей на весенний диалог ашугов.

Забыв о болезни, Акбер проводил Аяз до ворот. Долго затем он смотрел ей вслед. Она уже скрылась, он все стоял и глядел в ту сторону.

На другой день снова стремительно вылетали из рук Акбера кирпичи и, как ручные голуби, плавно падали в руки мастера. Глядя на Акбера, и другие рабочие старались не отставать, и так шла стройка до самых сумерек.

Уста-Муртуз согласился быть сватом. Али-Паша поставил условие:

— Пускай работает. Покончим с постройкой, увидим, какой

¹ Аяз - ясный, ясная

он работник. Как можно сразу? Мало ли что она служанка — ведь на моих хлебах выросла.

Два месяца еще проработал Акбер, исполняя все капризы Али-Паши. Чтобы показать ему свои достоинства, он брался за все. И Али-Паша, оценив его возможности, рассчитал двух черно-рабочих-поденщиков.

— У тебя помощником, — сказал он Уста-Муртузу, — такой дракон, как Акбер. На что тебе чернорабочие? И без них обойдешься.

Однажды Уста-Муртуз поздравил Акбера:

— Али-Паша согласен. Девушка твоя. Готовься к свадьбе.

Дни становились жарче, работа тяжелее.

Акбер голыми до колен ногами месил глину. Мастер куда-то отлучился. Жена Али-Паши сидела на балконе. Четырехлетний хозяйский сынишка скакал по двору верхом на палочке и воинственно размахивал прутиком.

Мальчик подбежал к Акберу и хлестнул его по икре прутом. Акбер поднял ногу и почесал вздувшийся след удара. Сорванец, рассмеявшись, поскакал с победоносным видом к матери. Та, довольная храбростью сына, одобрительно ему крикнула:

— А ну, еще разок! Ударь, детка! Не бойся.

— Не смей! — рассердился Акбер. — Не бей, детка, ведь больно...

Он взял мальчика за руку и, отведя в другой конец двора, вновь вернулся и влез в глину, но мальчишка снова прибежал и, вертясь вокруг Акбера, старался опять хлестнуть его по ноге.

Акбер повернул лицо к хозяйке, которая гладела с балкона, облокотясь о перила и свесив косы.

— Ханум, отзовите мальчика, — попросил он, — как бы он ноги в грязи не запачкал.

Он произнес эти слова с такой осторожностью и с таким страхом, что голос его едва был слышен. Он полагал, что в этих словах нет ничего, что могло бы повредить его репутации сдержанного и вежливого человека. Но хозяйка ни слова ему не ответила и продолжала смотреть на двор, скаля зубы.

«Если способность терпеть удары должна быть одним из моих «достоинств», — подумал Акбер, — то это хуже смерти. Боюсь, что не стерплю! Конечно, мальчишка — хозяйский сын и наследник... Все это так! Но зачем меня мучить? Какое он имеет право?..»

В этот момент мальчишка опять со всей силой хлестнул его по ноге и с громким смехом отбежал в сторону. У Акбера мелькнула мысль бросить все, отказаться от работы и даже от возлюбленной, что была дороже жизни, голодать и холодать, лишь бы избавиться от унижения. Но когда мальчик снова замахнулся, чтобы его ударить, он начал уговаривать его. Мальчишка не слушал, и Акбер хотел даже отнять у него прутик, но хозяйка крикнула с балкона:

— Не тронь его!

— Ханум, — мягко сказал он, — отзовите мальчика, он может простудиться около сырой глины...

Та опять не ответила.

Акбер продолжал работу. Не прошло и нескольких минут, как прут ожег ему левую икру. На этот раз Акбер почувствовал боль не в одной ноге, а во всем своем существе. Подняв облепленную глиной ногу, он ударил мальчишку так, что тот отлетел в сторону и, упав, словно выпущенный из орлиных когтей заяц, остался лежать без движения.

Хозяйка с криком бросилась к ребенку. Поднялся шум, сбежались домочадцы.

Акбер вымыл ноги и, став у стены, ожидал расчета.

Ребенка унесли в дом, а хозяйка стала ругать Акбера и заодно и Муртуза.

— Чего стоишь? — кричала она. — Сию же минуту убирайся вон!

Акбер обулся и собрался уходить, когда появился Али-Паша. К удивлению Акбера, он ему крикнул:

— Ступай работай!

Затем, повернувшись к жене, мягко сказал:

— Что тут особенного? Ребенок — шалун... Его и побить можно, поплачет и перестанет.

— Как что особенного? Он мог искалечить ребенка.

Али-Паша стал ее уговаривать и закончил приказанием:

— Не вмешивайся, поди займись своим делом...

Акбер был очень удивлен происшедшим.

«Как же это так? — раздумывал он. — Как это Али-Паша не избил меня и не велел арестовать? Вот это человек!» И Акбер с еще большим усердием принялся за работу.

Дом был выстроен. Акбер послал к Али-Паше товарищей с просьбой отпустить девушку. Али-Паша не возражал.

— Я всегда с радостью иду навстречу достойным людям. Не отрицаю, девушка — невеста Акбера. Пусть только заплатит долг и тогда берет ее в жены. Я не буду против.

Акбер обомлел.

— Какой долг?

Али-Паша объяснил, что на содержание девушки им потрачена тысяча рублей. Кроме того, на угощение визитеров, приходивших поздравлять с помолвкой, было израсходовано ровно пятьсот шестьдесят семь рублей.

— Если он сознательный и благородный человек, — закончил

свою речь Али-Паша, — то сделает нам еще подарок, соответствующий нашим трудам и заботам, положенным на воспитание девушки.

Ни мольбы, ни посулы Акбера не подействовали на Али-Пашу, который в конце концов стал ругаться и чуть не выгнал ходатаев Акбера.

Наконец сама Аяз обратилась к Али-Паше.

— Хозяин, — сказала она, — ты заменял мне отца и вырастил меня. Я постараюсь отблагодарить тебя. Пусть мы будем должниками, а ты...

Она не могла продолжать, так ей было неловко говорить с хозяином об этом.

А для Али-Паши вопрос был ясен и прост.

— Раз ты просишь, — ответил он, — я готов отказаться от денег. Но ты должна будешь уважить одно мое маленькое желание.

— Хозяин, пожалуйста, все, что хочешь.

— Я тебе должен сказать кое-что, но вечером.

— Большое спасибо, хозяин. Скажи хоть сейчас, я выполню.

— Нет, это такое дело, что лучше поговорим об этом ночью...

Аяз поняла, о чем хотел говорить с ней хозяин. Боясь встречи с ним, девушка сослалась на нездоровье и пошла ночевать к подруге. Всю ночь она проплакала.

Утром, придя к роднику, она застала там Акбера, который ожидал ее, чтобы узнать о решении Али-Паши. При первом же взгляде на Аяз, Акбер понял, что она плакала, и это так на него подействовало, что и сам он готов был расплакаться. Но, собравшись с силами, он спросил:

— Что с тобой, Аяз? Почему ты плакала?

От расспросов Акбера Аяз стало еще тяжелее. Поставив

кувшин на землю, она села и, охватив колени руками, стала рыдать. Потом, овладев собой, поднялась и пошла вверх по холму, к садам.

Акбер шел рядом.

Когда они прошли некоторое расстояние, Аяз что-то отрывисто сказала Акберу. Тот сначала побледнел, как бумага, потом покраснел, как жар, и все тело его охватил огонь.

В ту же ночь Акбер и Аяз, взявшись за руки, покинули город.

Холодным осенним вечером Акбер, вернувшись домой после долгой отлучки, увидел Аяз с младенцем на руках. Он остановился на самом пороге, не зная от радости, что делать: поздравить ли молодую мать, в глазах которой еще трепетал отблеск первой материнской улыбки, а на губах еще не остыла теплота первого поцелуя, который она подарила ребенку, или заплакать перед надвигавшейся угрозой черных дней лишений и ужасов нужды?..

Пусть радуется! Ведь и животное радуется при виде своего детеныша. Ребенок! Одна любовь двух сердец, одно живое грядущее двух существований, в прошлом раздельных. Горе семье, не ведавшей детских шалостей, не слышавшей детского лепета, не жившей любовью к ребенку, ее участь тяжелее горя и горше яда. Таковую семью гложут острые зубы одиночества. И смерть уносит бездетных супругов исподтишка, тайком, точно ночной разбойник.

Счастливый Акбер, прижав свое дитя к сердцу, оглядел ребенка от мягких щечек до крохотных пальчиков на ножках. Он не стал, подобно многим отцам, искать в чертах ребенка сходства с собой. Он грустно оглядел тряпье, в которое было закутано посиневшее от холода тело ребенка, и перевел глаза на вылезшие из дырявых пеленок ножки. Тут он еще раз глубоко почувствовал силу нужды, схватившей его за горло. Ему стало стыдно, что он ничего не принес Аяз, которая встретила его таким дорогим подарком.

И Акбера охватило отчаяние: вот луна сменяет солнце, ночь

сменяет день, холод сменяет тепло, бежит время, растет ребенок, начнет говорить, бегать; ему нужны будут одежда и обувь, он будет тянуться к игрушкам, просить сластей. А отец беспомощен и молчит, словно признавший свою вину преступник.

Аяз все поняла. Она также стыдилась взглянуть на мужа: ведь она принесла ему лишнюю обузу, в семье появился лишний рот. Переведя взгляд с ребенка на Акбера, она заплакала. Акбер последовал ее примеру. А потом заплакал и ребенок, не то испугавшись, не то почуяв что-то неладное. Хотел ли он своим криком, в котором сливалось эхо прошлого и голос будущего, признать вину за свое появление на свет или он старался утешить и подбодрить! Или выражал желание разделить с ними их горе? А может быть, он, еще неспособный ко лжи и хитрости, как провидец, хотел поведать родителям об ожидавших их светлых днях, о которых те и не гадали?

Настала весна, которая вывела тружеников на светлый путь, открыли великой радостью.

Акбер стал постоянным рабочим, полноправным членом трудовой семьи. Его уже не подстерегала безработица. Ему не надо было ходить по дворам, искать поденщины и проливать за кусок хлеба пот на стройках у таких хищников, как Али-Паша, терпеть удары по голым икрам и переносить оскорбления, наносимые любимой женщине.

Революция вырвала из рук воров и насильников тело Акбера, его душу и кровь, она вернула ему человеческое достоинство и, наконец, его честь.

Акбер был принят постоянным рабочим на кирпичный завод. Получив на руки приказ директора о назначении, он пулей выскочил из конторы и расстегнул ворот рубахи. Он вдыхал

теплый воздух весеннего полудня и чувствовал прилив небывалой бодрости.

Теперь он получал возможность, располагая достаточной зарплатой, обеспечить семью и воспитать троих детей. Он мог наконец отогреть душу, застывшую от холода многих скорбных лет. Когда же дети его подрастут и возьмутся за какое-нибудь дело, Акбер вздохнет спокойно и будет жить их радостями и любовью.

1936

Перевод Азиза Шарифа

В ГОСТЯХ У ПРИЯТЕЛЯ

С Мирза Гуламом я познакомился в деревне у одного из моих приятелей-крестьян.

Он приехал из города, собирался, как сам рассказывал, провести здесь лето с семьей своего близкого друга, который поручил ему нанять дачу.

Почему-то Мирза Гулам был очень внимателен ко мне и в разговоре взял такой дружеский тон, словно мы давно знали друг друга или были близкими родственниками. Слушая его, я поддакивал, но не собирался длить беседу. Очевидно, он почувствовал это и, подойдя вплотную, сказал тихо:

— Что, я надоел тебе, племянничек, своей болтовней?

— Нет, — ответил я. — Ничуть...

Мой ответ его подбодрил, и он стал неумолчно тараторить:

— Когда я встречаю таких передовых людей, как вы, мне кажется, что вижу родного сына или младшего брата. Клянусь вашей жизнью, а я не стану зря ею клясться, и собственноручно уложите меня в гроб, если я говорю неправду. Когда я вижу таких педагогов, как вы, сердце у меня полнится радостью и растет, словно гора, потому что я вижу, как отлично работаете вы на поприще культуры, на поприще просвещения. Значит, недаром вы едите советский хлеб! Вы заслуживаете забот, которыми вас окружают! Хвала вам и честь!..

Хозяин пригласил нас на бостан полакомиться дынями и арбузами. Я с любовью смотрел на эти плоды земли, возвращенные заботливой рукой крестьянина. Грядки с тмином, укропом, мятой, дыни и арбузы — все это ласкало мой взор, и мне не хотелось отрывать глаза от них.

И думал о том, сколько забот, труда и терпения надо было,

чтобы вырастить все эти плоды и злаки, а Мирза Гулам все говорил.

Говорил о пользе наук, о пользе просвещения, о своем стремлении к образованию, несмотря на пожилой возраст, о своей мечте — найти такого, как я, друга. Говорил без конца.

— Мирза, — прервал его хозяин, по-видимому хорошо изучивший его характер, — не утомляй гостя. Не всякому по силе твое красноречие.

Мирза обратил слова хозяина в шутку.

— Алекбер, — сказал он ему. — Твой гость очень мне симпатичен. И как это ты до сих пор не догадался нас познакомить!

У хозяина были и другие гости.

Все расселись перед домом на тахте, застланной ковром, и начали лакомиться дынями и арбузами.

Гости ели.

А Мирза Гулам говорил не умолкая. Но его мало кто слушал. Поэтому, говоря, он смотрел на меня. Я опускал глаза.

Когда я собрался уходить, хозяин с Мирза Гуламом пошли проводить меня с полсотни шагов по шоссе.

По дороге Мирза Гулам неотступно твердил о науке и просвещении, о дружбе и искренности.

Пожимая мне руку на прощание, он выразил сожаление, что не успел закончить со мной беседу, и просил обязательно зайти к нему в городе. Сообщил адрес и настаивал, чтобы я записал его.

— Не беспокойтесь: запомню, — уверил я его.

Наша встреча не повторилась, и я совершенно забыл о Мирза Гуламе.

В 1930 году только что начались летние каникулы. Я получил зарплату за летние месяцы. Настроение у меня было великолепное. Я решил отдыхать на одном из грузинских курортов. По дороге

заехал в районный центр. Это был маленький, аккуратненький городок с прохладной речкой, зеленью, деревьями, садами, летом очень живописный. Здесь публика, местная и приезжая, обычно разгуливает по вечерам в городском парке, где играет оркестр.

Я был голоден и направился в столовую пообедать. А затем предполагал, вернувшись в гостиницу, отдохнуть и вечером пойти встретиться с друзьями, как было условлено, в клубе.

Вдруг передо мной выросла среднего роста личность в черном костюме. Она стояла без движения, из-под усов змеилась улыбка. Личность протягивала мне руку.

— Добрый день, мошенник ты этакий! Добрый день!

Я остановился и, вглядываясь в незнакомца, не знал, как поступить и что ответить. А он, овладев моей рукой, другою, свободной, схватив меня за плечо, начал трясти.

— Конечно, конечно, — громко говорил он, дыша мне в лицо. — Это в порядке вещей. Ты не узнаешь дядю Мирза Гулама. Таковы уж замашки великих людей. Ты не виноват...

Услышав это имя, я вспомнил о нашей встрече три года тому назад и бесконечную болтливость этого человека.

— Как поживаете? — спросил я из вежливости. — Что нового?

— А где ты остановился? — поинтересовался Мирза Гулам.

— Тут недалеко, в гостинице.

При этих словах Мирза Гулам отступил на шаг и начал сурово смотреть на меня.

— Как, то есть, в гостинице?

— Ну да, в гостинице. Там очень хорошо и удобно.

— Разве я мертв, — вскрикнул Мирза Гулам. — Что у меня, дома нет, чтобы ты в гостинице останавливался?

— Какая разница, Мирза? — возразил я. — Я проживу тут каких-нибудь два-три дня. Не беспокойтесь.

— Как не беспокоиться? Хороший друг — я о себе говорю — как может примириться с таким поступком?! Ведь я человек здесь известный... У меня есть друзья и недруги. И если завтра кто-нибудь в городе скажет, что приехал такой-то, друг Мирза Гулама, и остановился в гостинице, я должен буду запереться и не показываться вовсе на людях. Стыдно! Сознавайся, племянничек, что ты совершил подлинное преступление. Ну да ладно. Так и быть, я тебя прощаю... Идем!

Мирза Гулам взял меня за руку и стал тянуть, но я уперся. Я подумал о том, что нельзя пользоваться гостеприимством без разбора... Мало ли что бывает. Может быть, человек беден, зачем вводить в расход.

Я начал отказываться, приводя разные доводы.

Но Мирза Гулам был неумолим.

— Тут тебе не деревня, — сказал он, — чтобы прервать на середине нашу беседу. Клянусь своей жизнью, не отпущу.

И он стал тянуть меня еще сильнее. Пришлось уступить.

Я был очень голоден.

— Мирза, — предложил я ему. — Зайдем в столовую, пообедаем вместе, а потом уже пойдем к вам.

Мирза Гулам снова окинул меня строгим взглядом. Одну минуту молчал. Потом сказал, опустив голову:

— Оставь эти шутки, иначе рассоримся. У нас в лачужке найдется кусочек хлеба, чтобы накормить гостя.

И, уничтоженный его укоризненным взглядом, я вынужден был замолчать и сдаться.

Мы пошли.

«Зачем обижать человека, — думал я. — Пусть будет, как ему хочется...»

Мирза Гулам привел меня к мясной лавке.

Мясник с выкрашенными хной усами и верблюжьими глазами рубил мясо.

— Мамед-Гасан, — сказал ему Мирза Гулам, указывая на меня. — Отпусти моему приятелю килограмма три-четыре...

Тут он повернулся ко мне:

— Как ты думаешь, племянничек, четырех кило не будет мало?

— Нет, — ответил я. — Хватит.

— Так отпусти четыре кило хорошей баранины на шашлык. Только, Мамед-Гасан, ради нашей дружбы, отрежь хороший кусок, пожирнее. Племянничек — мой дорогой гость...

Мясник стал поворачивать висевшие на крюках туши, спрашивая меня:

— Как тебе нравится? Хорош кусок? Отрезать?

Я одобрял и кивал головой.

Мясник отвесил мясо и, взяв его обеими руками с весов, выложил на прилавок.

— В чем нам его нести? — озабоченно спросил Мирза Гулам.

Я отдал ему свернутую в трубочку газету, и он стал заворачивать мясо.

Мясник с ожиданием глядел на меня. Потом начал считать:

— Одиннадцать да одиннадцать будет двадцать два, еще двадцать два, итого сорок четыре. С тебя ровно сорок четыре рубля.

Я проворно полез в карман и расплатился с ним, Мирза Гулам взял мясо, и мы двинулись дальше.

Проходя мимо лавашной¹, Мирза Гулам осклабился.

— Шашлык с лавашом особенно вкусен! — сказал он.

— Да, — подтвердил я. — Это вкусно.

¹Лавашная — пекарня, где выпекают хлебные лепешки — лаваш.

Едва успел сказать это, как Мирза Гулам уже заказывал продавцу:

— Отвесь-ка нашему приятелю килограммов пять белого лаваша. Только выбирай потоньше.

Затем повернулся ко мне:

— Пять кило довольно?

— Довольно, — ответил я. — Сколько же нас человек?

Задавая этот вопрос, я имел в виду выяснить число гостей Мирза Гулама, но Мирза оставил его без ответа.

Получив лаваш, он взял его под мышку.

Я расплатился.

В конце базара Мирза Гулам вошел в гастрономический магазин. За стойкой стоял молодой человек. Мирза заговорил с ним по-армянски. Потом, указав на меня, сказал:

— Подбери этому человеку бутылок пять-шесть водки и вина. Отпусти лучшего качества и разных марок. Для избранной компании должен быть разнообразный ассортимент.

Молодой продавец показывал, а Мирза Гулам выбирал.

Набрав водки и вина, Мирза Гулам присоединил их к лавашу.

Я расплатился и за напитки.

Мы вышли.

Пройдя несколько шагов, Мирза Гулам остановился и тронул меня за рукав.

— Мы совсем упустили из виду, — сказал он. — Тут есть прекрасная кондитерская. Не взять хороших конфет прямо грешно.

— Я не любитель сладостей, — заметил я, но Мирза Гулам начал горячо убеждать меня.

— Конфеты нельзя есть без ничего, — доказывал он. — Так их едят только дети. А в приятной компании, при хорошем обеде и выпивке, десерт необходим. Без конфет дамочки и

разговаривать с тобой не станут.

Я догадался, что у Мирза Гулама затевается грандиозный кутеж, и не стал возражать.

Расплатившись и за конфеты, я стал мысленно подсчитывать, сколько у меня осталось денег. Оказалось, что у меня едва хватит на ужин и на оплату номера в гостинице.

«Мирза Гулам — человек, кажется, деликатный,— думал я. — Надо думать, что он по приходе домой выложит мне истраченные деньги — все до копейки! Вероятно, он вышел в город без денег, а тут, увидев меня, решил устроить кутеж. Не бежать же ему домой за деньгами! Вот и пользуется пока моим кошельком, а потом вернет. Непременно вернет!...»

Эти мысли проносились в моей голове, как вдруг над моим ухом прозвучал громкий зов Мирза Гулама:

— Извозчик! Извозчик! Подай сюда.

Шустрый извозчик в длиннополом кафтане подъехал к самому тротуару.

— Ради этого молодого человека, — сказал Мирза Гулам, садясь в фаяз и кивая головой в мою сторону, — ты должен ехать так, чтобы пыль столбом стояла.

Мы уселись. Довольный быстрой ездой, Мирза Гулам рассказывал:

— Мой дом находится на окраине, будь она проклята. И мне приходится всегда ездить на извозчике. У меня постоянный извозчик. Но он сегодня нездоров. Веселый такой парень!..

Доехав до дома, Мирза Гулам собрал покупки и быстро скрылся за воротами. Я протянул извозчику пятерку.

— Мало! — заявил он недовольно.

Я дал ему еще трешницу. Он даже не поблагодарил и, хлестнув лошадей, укатил.

Как только отъехал извозчик, в старых, разболтавшихся воротах появилась физиономия Мирза Гулама.

— Заходи, пожалуйста! — приглашал он меня.

Двор был обнесен низкой глинобитной стеной. Миновав обсаженную розовыми кустами, абрикосовыми и грушевыми деревьями канаву, я очутился в доме Мирза Гулама.

Был уже шестой час. Я чувствовал страшную усталость и изнемогал от голода. В бессилии я опустился на стул.

Мирза Гулам, захватив покупки, ушел в соседнюю комнату.

В течение примерно десяти минут длилось тягостное безмолвие.

Я посмотрел на часы. Час, назначенный для встречи с друзьями, уже прошел. Вероятно, они, подождав меня и убедившись, что я их надул, выругались и ушли. Однако, думал я, мрачно глядя на медленно передвигавшиеся часовые стрелки, обед Мирза Гулама, моего нового приятеля, здорово задержался.

Вдруг вбежал в комнату сам хозяин.

— Племянничек, — сказал он торопливо, — дай-ка мне еще пятнадцать рублей. До зарезу нужны... Сейчас вернусь!..

Я растерялся, не зная, как реагировать на такое бесцеремонное распоряжение с моим, уже почти пустым, кошельком. Но раздумывать было некогда. Мирза Гулам стоял над головой и торопил:

— Пожалуйста, выручи! Я — сию минуту!..

Он говорил с такой дружеской настойчивостью и так убедительно, что всякий, будь на моем месте, вывернул бы перед ним карманы.

Я решил, что он затеял такое грандиозное угощение, что у него в данный момент не хватило денег, и не нашел в себе силы отказать. Вынул последнюю двадцатку... Мирза Гулам, не дав мне

опомниться, настойчиво затараторил:

— Ничего... Пять рублей сдачи принесу!..

И, вырвав у меня кредитку, исчез.

От усталости, голода и досады я уже не мог сидеть. Не считаясь с правилами приличия, взял из ниши, где была сложена постель, подушку и, бросив на ковер, разлегся на полу.

В доме опять стало тихо. Шел седьмой час.

Меня мучил голод.

Я ждал, когда запах шашлыка, или каурмы, или боз-баша начнет дразнить мое обоняние. Из другой комнаты донесется пение самовара, начнут приходить гости. И, наконец, сам хозяин, извинившись в промедлении, пригласит к столу.

Глаза мои были устремлены на дверь, слух пытался уловить звуки кухонной суеты.

Но в доме по-прежнему была разлита могильная тишина.

«Очевидно, обед готовят где-то в другом месте, — подумал я, пытаюсь как-нибудь рассеять досадное недоумение. — В этом дворе ни души нет. Гости тоже, вероятно, собрались в другой комнате. А что, если в суматохе Мирза Гулам забыл обо мне?»

Я подошел к окну и выглянул на двор.

В канаве текла мутная вода. У стены в пыли возилась курица, и белая кошка, свернувшись клубочком, спала под инжировым деревом.

Других живых существ не было видно.

Подойдя к двери в соседнюю комнату, я осторожно заглянул в замочную скважину.

У окна сидела женщина и вязала чулок. Больше никого не было.

«Кто бы она могла быть? — начал я гадать. — Если это жена Мирза Гулама, то почему она сидит как посторонняя? Если соседка, то зачем Мирза Гулам внес сюда покупки? Если служанка,

то ей место на кухне. Может быть, эта особа не знает, что я здесь?»

— подумал я и кашлянул тихо, потом громче.

Прислушался. Никакого движения.

Заглянул снова в замочную скважину. Женщина продолжала вязать чулок.

Казалось, дом этот, обьятый тишиною, и женщина, и дремлющая под деревом кошка, и золотистая курица — все они предаются послеобеденному безмятежному покою. А я, с взвинченными нервами, уязвленный гневом и терзаемый голодом, втесался в какую-то темную историю и пребываю околпаченным простофилей.

Я уже не мог ни говорить, ни сидеть, ни стоять.

Сделав последнее усилие, я проклял терпение, застенчивость, деликатность, вышел на балкон и, подойдя к окну, спросил у женщины.

— Сестрица, куда ушел Мирза?

Женщина заерзала на месте, прикрыла подбородок головным платком и ответила тонким голосом:

— Он ничего не сказал. Я не знаю.

— Разве вы не жена его?

— Да чтоб он провалился! Он никогда не говорит, куда уходит. Должно быть, играет в карты или пьянствует.

— А поздно он возвращается?

— Как тебе сказать! Если напьется, то придет только после полуночи. А что вам от него надо?

Я не сразу смог ответить на этот вопрос.

— Так, ничего. Просто соскучился по нем!

Женщина молчала.

Я ушел не попрощавшись.

Голодный, подавленный, еле добрал по пыльным улицам до гостиницы.

С тех пор я не встречал Мирза Гулама.
Он не попадаетея мне на глаза, и я не могу спросить его:
— Друг мой, а где же сдача с двадцатки?

1936

Перевод Азиза Шарифа

ЗАПОЛНИТЕ АНКЕТУ

В городских банях и прачечных переполошились, новым директором Банно-прачечного треста назначили Анкет-оглы Анкетова.

На следующее утро у дверей кабинета толпились просители с заявлениями: один ходатайствует об увеличении зарплаты, другой намерен убыть в очередной отпуск, третий решил уволиться по собственному желанию...

Шептались, что товарищ Анкетов не знаком со спецификой деятельности треста, и в горсовете некоторые возражали против его назначения на руководящий пост, но Анкет-оглы заверил начальство:

- Что самое главное на сегодня? Следить за чистотой кадров. А с этим я справлюсь.

Приступив к работе, Анкетов приказал всем заведующим банями и прачечными, всем банщикам и прачкам заполнить анкеты.

- Да мы уже заполняли, - заикнулся кто-то, но на него так цыкнули, что бедняга оробел и кивнул: "Баш уста".

Обложившись "личными делами", Анкетов безвылазно сидел три дня в кабинете, никого не принимал, а когда из горсовета позвонили, что в бане № 3 лопнул паропровод, буркнул в телефонную трубку:

- Значит, засорены кадры...

Наконец заведующие банями и прачечными были приглашены к директору.

Все заметили, что Анкет-оглы осунулся, пожелтел, что глаза его воспалились.

- Пусть останется Хаджиев Мюрсаль для объяснения, остальные товарищи свободны, - после тягостного молчания сказал директор.

Переглядываясь, все вышли с тяжелыми сомнениями, с предчувствием, что надвигается гроза.

Бледный Хаджиев стоял вытянувшись перед столом Анкетова и безмолвно шевелил запекшимися губами.

- Гм... Агаверди-оглы Мюрсаль Хаджиев... Родился в тысяча девятьсот восьмом году... Отец кузнец...- На полях анкеты зловеще темнел вопросительный знак. - Гм, значит, ваш отец...

- Он скончался еще до революции, мир праху его, - сказал Хаджиев.

- А чего вы нервничаете? - мягким тоном спросил директор. - Моя обязанность... Значит, вы утверждаете, что ваш отец был кузнецом? Но ведь кузнецы бывают разные.

- Да какие разные! - опрометчиво сказал Хаджиев. - Подковывал лошадей, мулов, волов...

- Вот именно - лошадей, - остановил его директор. - А у кого в мрачную эпоху царизма было много лошадей: у беков или у бедных крестьян?

- Конечно, у беков.

- Вот и получается, гм... получается, что ваш отец обслуживал беков, - значит, был верным прислужником беков, получал вознаграждение от эксплуататоров деревенской бедноты, - раздельно, отчетливо произнес Анкетов. - Так или не так?

У Хаджиева застучали зубы.

- Так или не так? - спросил директор строже. Вместо ответа Хаджиев пожал плечами.

- Я вам даю отпуск на десять дней, конечно, без сохранения денежного содержания, чтобы вы, Агаверди-оглы Мюрсаль

Хаджиев, представили документальные данные, что ваш отец не был прислужником беков.

Пошатываясь, Хаджиев вышел.

Через несколько дней примерно такая же участь постигла директора прачечной № 8 Ахвердиеву. Анкетов часами читал "личные дела" подчиненных, как увлекательные романы. На некоторых он писал: "Увеличить оклад на 200 (двести) руб.", "За хорошую анкету выдвигаю на повышение..." Он разговаривал с анкетами, как с людьми, и секретаршу директора бил озноб, когда, приложив ухо к замочной скважине, она слышала возгласы: "Ну и дрянь ты, братец!", "Ухитрился выбрать себе приличных родителей, молодец!..." Теперь люди представлялись директору тенями анкет. Случалось, ему говорили, что кассирша бани № 6 заболела. Вынув из сейфа ее "личное дело", Анкет-оглы возражал:

- Все документальные данные свидетельствуют, что она здорова и работает на своем месте.

Гурбан-али, банщик, ушел по призыву в армию. Анкетов не поверил:

- Вот же-его "личное дело"! Без "личного дела" куда он денется? Если "личное дело" Гурбан-али в моем сейфе, то, значит, он работает на своем месте.

Когда в горсовете встревожились, что жалобные книги в банях полнятся воплями и обидами клиентов, Анкетов согласился.

- Да, товарищи, в банях действительно плохие порядки. Это мое упущение, и за него я несу политическую ответственность... Пользуясь бесконтрольностью, посетители пишут жалобы, а мы не знаем, кто написал: враг, или приспособленец, или пособник чуждых элементов? Нужно, чтобы клиент сперва заполнил анкету, мы рассмотрим ее и, в зависимости от данных, либо разрешим занести в книгу мотивированную жалобу, либо вообще запретим ему мыться в бане.

Предложение принято не было, - Анкетов серьезно обиделся.

Изучив досконально характер директора, заведующий баней № 10, когда ему потребовались банщица, две уборщицы и счетовод, сразу принес пухлые "личные дела" претендентов на эти должности, набитые всевозможными справками с приложением надлежащей печати.

Кандидатуру Месиме директор сразу же отверг: оказалось, что она в прошлом году развелась с мужем, а кем был ее супруг - неизвестно... И банщицей в женское отделение вместо нее Анкетов послал Нури Нуризаде. Ниса Гамбар гызы хотела быть банщицей, - шесть лет проработала на этой должности в Тбилиси. Директор назначил ее счетоводом: анкета понравилась: ни сучка, ни задоринки... Шарабаны-ханум, мать Месиме, той самой Месиме, которая развелась с мужем неизвестного происхождения, Анкетов зачислил уборщицей.

- Может быть, вы хотите побеседовать с ними? - робко спросила секретарша.

- Зачем? - Анкетов удивился. - Человек может и солгать и прихвастнуть, а "личное дело" с надлежащими справками всегда безукоризненно верно...

Но уже через день в бане № 10 разразилась катастрофа: Ниса Гамбар гызы работать счетоводом отказалась по причине полной малограмотности. Она рвалась в женское отделение, - была прирожденной высококвалифицированной банщицей...

"Да как ты посмела? Вот я с тобою поговорю! - вспыхнул Анкетов и, достав "личное дело" Нисы из сейфа, начал строго выговаривать: - У тебя же мать - счетовод. И старшая сестра - счетовод. Значит, и тебе по анкете положено быть счетоводом!.."

В этот момент вошел статный юноша в папахе и, смеясь, сказал:

- Они стесняются...

- Кто, кто?

- Вы, товарищ директор, назначили меня банщиком в женское отделение, ну а женщины не желают при мне мыться. Стесняются! Мне-то что, да целая делегация поехала в горсовет с жалобой. Как бы вам не влетело!

В этот же день специальная комиссия горсовета настойчиво, но безуспешно искала в отделе кадров анкету и "личное дело" Анкетовы Анкетова.

Комиссия пришла к мрачному выводу: Анкетов ухитрился занять руководящий пост, не заполняя анкеты.

Приказ о его увольнении все-таки скрепили надлежащей печатью.

1937

Перевод В.А. Гаврилова

ИСЦЕЛИЛАСЬ

Должность у меня была солидная, с высоким окладом, а когда в горсовете вручили ордер на трехкомнатную квартиру с балконом, то угрызения совести сжали мое сыновье сердце, и я незамедлительно поехал в деревню за мамой. Бедняжка!.. Как трогательно звала она меня в гости, но никогда не жаловалась, что я ее бросил одну-одинешеньку. Конечно, я мог бы оправдаться: живу в общежитии, работы непроворот... Э, да что там говорить! Стыдно.

Теперь у меня была отдельная квартира, и я решил пригласить маму к себе на постоянное жительство, лелеять ее старость. Пора ей бросить надрываться в хлеву и на огороде, у закопченного очага. Пусть насладится покоем.

Мама собралась незамедлительно, со слезами попрощалась с соседками: старухой Басти, старухой Гюльбадам, тетушкой Гамзат.

- Жили душа в душу. Конечно, частенько случались стычки и ссоры... Проклятье злу! Простите за все прегрешения, сестры. Мир так устроен. Может, еще и увидимся.

Старуха Гюльбадам - набожная, молитвы не сходят с ее уст. Естественно, что она проводила нас заздравным песнопением.

Привез я маму в полном благополучии, попросил соседку по лестнице помогать в нехитром моем хозяйстве. У мамы отдельная комната, на кровати перина и пять подушек. У меня на работе полный ажур. Чего еще желать человеку!

Но пришла беда - отворяй ворота.

Дня через два после приезда в Баку мама заболела.

Вернусь я с работы часов эдак в десять-одиннадцать вечера и с ужасом вижу, что мать мечется, стонет: "Ой, душно, душно, сынок!.." Открываю окна и дверь на балкон, чтобы приморский ветерок сквознячком порхал по комнатам, а маме хуже и хуже. Температура между тем нормальная. Соседки разминали старушке

ноги, руки, спину, - испытанное народное средство... Не помогло! Я покупал в аптеке лед, на базаре буйволиное мацони, подносил к запекшимся маминым губам холодный айран. Мама с наслаждением пила приятный напиток, но все равно жаловалась на то, что "теснит в груди".

Пригласили врача.

Тщательное обследование, всевозможные анализы, пульс, давление - словом, все медицинские процедуры засвидетельствовали, что мама не имеет никаких изъязнов и ей как будто суждено еще долгие-долгие годы наслаждаться безоблачной старостью.

- Может быть, она надорвалась в деревне от какой-нибудь тяжелой работы? - расспрашивал доктор. - Сразу это не сказалось, а вот здесь, на покое, наступила своего рода депрессия.

- Да какая у нее там была тяжелая работа!.. Деньги я ей и раньше посылал. Здесь ни забот, ни хлопот. Тишина! Гости к нам не ходят.

Врач был человеком добросовестным,

- А она часто нервничает?

Признаюсь, я и не знал, часто или не часто нервничает моя матушка.

- Мама, ты часто нервничаешь?

- Это злюсь, что ли? А на кого мне злиться? Сын у меня любящий, добрый... В деревне, конечно, на соседок изредка сердилась.

- Вот видите! - с таинственным видом шепнул врач и прописал капли Зеленина на предмет успокоения нервной системы.

Но день ото дня маме становилось все хуже: она ничем не интересовалась, отказывалась от самых лакомых яств, а когда я поздно вечером возвращался с работы, ни о чем меня не расспрашивала.

Друзья посоветовали мне обратиться за помощью к знаменитому профессору Мамедову.

Говорили, что без протекции к нему попасть невозможно, но я

набрался смелости, позвонил, и профессор без уговоров согласился принять мою старушку.

В субботу я отвез на такси маму к Мамедову.

Дверь нам открыла мать профессора, такая же сморщенная, такая же маленькая, как моя, но бодрая.

- Джан, мой Ахмед только что сказал по телефону, что задержится в институте... Просит извинения. Ты, джан, покури на "балконе, а я попотчую твою маму чайком.

Прошло минут десять, я покурил, прочитал от корки до корки, до подписи главного редактора вчерашнюю газету, а профессора все не было.

Решив провести маму, узнать, как она себя чувствует, я осторожно толкнул дверь, вошел в столовую. Из соседней комнаты слышались оживленные голоса. Подглядывать, разумеется, непристойно, но, каюсь, я не утерпел...

На ковре, поджав под себя ноги, сидели старушки- моя и профессора, со свистом хлебали с блюдцев чай и, непрерывно перебивая от возбуждения друг друга, разговаривали.

Моя мама:

- Царство небесное вашим родственникам, ушедшим от мира сего! Вот у меня была сестра Мешады... Значит, она не моя сестра, а жена брата моего мужа, но мне-то она была настоящей сестрою. Она так меня любила, так любила, что с другими женщинами и не разговаривала, молчуньей ее в деревне прозвали... А ко мне придет - резвится, смеется... Такая говорунья, хохотушка. Царство ей небесное!

Мама профессора:

- А у меня сестрица Иismet... Ласковая, заботливая...

Моя мама решительно перебила хозяйку, повернула беседу совсем в другую сторону:

- Никогда не забуду... Я была такой крошечной, что в

шестнадцать лет еле-еле таскала медный кувшин с родниковой водою. И вдруг однажды подходит ко мне юноша в папахе, говорит: "Здравствуй, красавица!", берет с моего плеча кувшин. Я не знала, куда деваться от стыда.

Мать профессора охотно подхватила:

- А ты думаешь, как со мною было?... Это ведь нынешние девицы... А я ничего-ничего не понимала, клянусь! Когда принесли подвенечное платье...

Моя мама фыркнула:

- И-их, платье!.. Мне принесли архалуг из ганавуза.

На этот раз хозяйка не уступила:

- Когда принесли подвенечное платье, я с подружками играла в саду в куклы...

Теперь перешла в наступление моя мама:

- О сестрица, приданое приданому рознь!..

- Да, ты права, сестрица, мне начали готовить приданое тогда, когда я еще качалась в колыбельке.

- О сестрица, приданое приданому рознь! - строго подтвердила моя мама.

...Профессор Мамедов опоздал ровно на два часа, извинился - неотложная операция. Осмотрев маму, он вышел из кабинета в полнейшем недоумении, развел широко руки.

- Братец, да твоя старушка молодец молодец! У нее прямо-таки богатырское здоровье!

Мне было неудобно, что я отнял время у обремененного работой профессора.

- Собственно, на что она жалуется?

- В том-то и беда, что ни на что не жалуется, - смущенно промямлил я.

Мамедов пожал плечами.

- Ну, если хочешь, братец, то через недельку я ее еще осмотрю.
- Буду признателен вам, профессор.

А в соседней комнате обнимались моя мама и мама профессора.

- Значит, завтра милости прошу ко мне.

- Благодарю за любезное приглашение, - церемонно благодарила мать профессора.

Вернувшись домой, мама вызвала соседку, помогавшую нам по хозяйству, и заказала на завтра праздничный обед, а к чаю всевозможные сладости.

- Меня посетит приятельница, мать профессора Мамедова, женщина, украшенная добродетелями! - похвасталась старушка.

А через несколько дней нагрянула из деревни тетушка Гюльбадам.

Мама и Гюльбадам обнялись, смеясь и плача. Посыпались новости; самой важной из них была весть, что Фатма с верхнего конца нашей деревни принесла двойню, а ведь у неё в доме уже семь детишек мал мала меньше.

К обеду опять приехала мать профессора Мамедова.

Вечером старушки отправились втроем в кино.

И теперь маму не узнать: она ходит пешком на базар за продуктами, отказалась от услуг соседки и сама хлопочет на кухне, - валяться на тахте и жаловаться на духоту уже нет времени. Тетушка Гюльбадам гостила у нас две недели... После ее отъезда мама начала встречаться с матерью профессора Мамедова ежедневно, а по воскресеньям и два раза. Капли Зеленина высохли в пузырьке.

Да, человеку никак нельзя быть одному. Самая страшная напасть - одиночество. А когда у тебя есть верные, добрые друзья, то остальное уже всё приложится.

1938

Перевод В.А. Гаврилова

В ТЕНИ ПОД ИВОЙ

В жизни у каждого свои привычки, свои правила. Так и у старого огородника Салмана. Ради человека, который мил ему, он готов поступиться чем угодно.

Однажды, стоя на обочине дороги, проходящей мимо его огорода, он сосредоточенно думал о чем-то. Лучи стоявшего в зените солнца жгли его незащищенную голову, и загорелый лоб его лоснился, как хорошо начищенная медная посуда.

В мозгу его неожиданно вспыхнула мысль. Заслонив рукой глаза от солнца, он прошелся туда и обратно поперек дороги и ковырнул носком чарыха утрамбованную и накатанную твердую землю.

На заре следующего дня дядюшка Салман вырыл яму на том же месте, где стоял вчера, и, посадив принесенный им саженец ивы, наткал вокруг колючек, чтобы проходящая мимо скотина не растоптала только что посаженное деревце.

Старик Салман бросал работу и выходил из своего огорода в полдень, когда горячие лучи летнего солнца особенно жгли его и, укрывшись в своем шалаше, отдыхал в тени. Каждый раз, когда он проходил по дороге, такой же знойной, как и все окрестные поля, внутренний голос настойчиво твердил ему: «Посади здесь дерево!»

Огород дядюшки Салмана находился в Дашлыджа — местности, удаленной от села самое малое на пять километров и расположенной у развилки дорог, ведущих к фруктовым садам и виноградникам. Кругом простирались обширные нивы и пашни, лишенные какой-бы то ни было тени. Недалеко от огорода дядюшки Салмана бил из-под земли родничок — Сазбулак. В жаркие летние дни ни один пешеход не проходил мимо родника, не освежившись студеной струей и не утолив жажду. К сожалению,

однако, вокруг не было даже скалы, в тени которой можно было бы посидеть и передохнуть.

Именно поэтому дядюшка Салман посадил у обочины, ухаживал целых пять лет и вырастил иву. Развиваясь, она постепенно превращалась в большое, развесистое дерево. Корни ивы, все дальше впиваясь в землю, уже достигли истока родника. Получая обильную влагу, ствол ее становился все толще, крона все пышнее. Зеленые ветви ивы ниспадали вниз, тень от нее давала прохладу людям, изнывавшим от жары в этой знойной равнине. Прохожие, и не ведавшие о существовании родника, издали замечали одинокое дерево и с радостью устремлялись к нему отдохнуть в прохладе. Старик Салман видел все это, и на душе у него становилось легко и просторно. Ему было приятно думать, что это он посадил и вырастил иву, и радость наполняла ему грудь, как наполняет она сердце человека, вырастившего хорошего сына.

— Надо бы проверить, — говорил он про себя, — что говорят люди? По душе ли им дерево? Ценят ли они его?

С этой целью он решил незаметно подходить к дереву, когда в тени его отдыхают люди, и послушать украдкой, что они говорят.

Вот подъехали и спешили под ивой двое всадников. Под предлогом разрыхлить борозду дядюшка Салман с заступом в руке подошел к обочине и начал прислушиваться. По одежде приезжие напоминали врачей или учителей. Привязав лошадей к кусту, они, разговаривая и смеясь, спустились к роднику и напились. Затем, поднявшись на ноги, медленно прошли в тень и растянулись на траве.

Дядюшка Салман обрадовался. Понял, что это люди образованные, с большим жизненным опытом, и, конечно, любопытно будет послушать, что они скажут. Один из приезжих вытащил из кармана табакерку и начал сворачивать сигарку. Другой — небольшого

роста человек, — видимо возобновляя незаконченный спор, сказал:

— Ошибаешься. Ты не умеешь распознавать людей.

— Но я при первом же взгляде узнал, какого он поля ягода! — отозвался тот, который собирался закурить. — Меня на мякине не поймаешь.

Они спорили о ком-то, и спорили горячо и долго. Видя, что их беседа ни к чему не приведет, огородник опечалился и так ни с чем и побрел к своему шалашу.

В другой раз дядюшка Салман подстерег одного горожанина, который прилег в тени ивы. Человек этот, видимо, не привык к длительной ходьбе. Утомленный, он в изнеможении лежал в тени, тихо и спокойно отдыхал с дороги. Постояв некоторое время, дядюшка Салман решил не тревожить его и уйти восвояси. Но горожанин вдруг заговорил:

— Верно я говорю, дядюшка?

— О чем это, племянничек? — обернулся назад дядюшка Салман.

Горожанин приподнялся и сел.

— О человеке, который посадил это дерево. Вот я и говорю: чтоб отец твой перевернулся в гробу! Уж если трудился, сажал дерево, посадил бы хоть фруктовое. Не отсохли бы руки, если бы посадил яблоню или, скажем, грушу...

Слова горожанина задела дядю Салмана за живое. Ничего не ответив, он поник головой и направился к своему шалашу.

На третий раз в тени ивы остановилась телега, запряженная парой быков. Арабачи¹ с ножом в руке полез на дерево. Дядя Салман поспешил к нему. Смекнув, что арабачи выбирает подходящую ветку, чтобы срезать и смастерить самы², он спокойно сказал:

¹ Арабачи — арубщик, повозочный.

² Самы — деревянные пальцы, которые вдеваются в ярмо по обе стороны шеи быка и при помощи которых ярмо укрепляется на шее быка.

— Послушай, земляк, где бы ты взял самы, если бы этого дерева не было?

Заговорив о дереве, дядя Салман думал услышать что-либо приятное о нем. Арабачи же, счищая тонкую кору со срезанной ветки, пренебрежительно сказал:

— И надо же было этому злодею посадить иву! Что толку с нее? Посадил бы карагач, чинару или какое-либо другое дерево крепкой породы. А то зря ведь строгаю. Сам знаю, что зря. Какие же самы из ивы?

Дядюшка Салман ничего не ответил и этому человеку.

Еще через день, в самую палящую жару, когда дышать было нечем, у родника Сазбулак появилась группа жнецов, работавших на ближайших нивах. Они пришли сюда пообедать и отдохнуть в тени. Жнецы тут же развязали хурджин¹, постелили скатерть, вытащили из торбы процеженное кислое молоко, разбавили его родниковой водой и приготовили айран. Затем крошили в миску с айраном зеленого луку, огурцов, укропа и хлеба и, вооружившись деревянными ложками, принялись с аппетитом хлебать окрошку².

Дядюшка Салман хотел было угостить жнецов свежими овощами из своего огорода, но, передумав, решил постоять в сторонке и послушать их речи. Хотелось узнать, как эти люди, замечают ли они, одобряют ли благое дело, совершенное им?

Насытившись, жнецы убрали скатерть и, запрокинув руки за головы, растянулись в тени на траве.

— Да покоится с миром душа человека, посадившего это дерево! — воскликнул молодой парень с густой черной шевелюрой, лежавший с краю.

— Да... На этом пустом месте, — поддержал его кто-то

¹ Хурджин — переметная сума из коьровой ткани.

² В Азербайджане окрошку готовят именно так, как сказано в рассказе. В отличие от русской окрошки, в Азербайджане вместо кваса пользуются разведенным в воде кислым молоком.

другой, — тень ивы стоит чего угодно! Да нальются силой руки человека, посадившего здесь дерево!

Взволнованный, дядюшка Салман не мог устоять на месте. Шагнув через борозду, он подошел к жнецам и тихо заговорил:

— Долгую жизнь и здоровья джигитам, умеющим ценить добро!

Жнецы узнали в нем человека, посадившего дерево. Парень с черной шевелюрой приподнялся и сел.

— Ты прости меня, дядюшка. Я только что молил покоя твоей душе, тогда как ты жив.

— Ничего, сынок, добрым словом можно помянуть и живого человека. С меня достаточно того, что ты понял и оценил мой скромный труд на благо людей.

Дядя Салман просунул одну руку за пояс, жестом другой указал на тень и сказал то, о чем давно искал случая сказать:

— Многие, проходя мимо, побывали здесь. Многие сидели в тени и, уходя, ругали человека, который посадил дерево, проклинали и его и его предков. Я слышал собственными ушами и понимал, что все они думают только о себе, о своей выгоде. На свете, племянничек, всякие бывают люди. Я уверен, что найдутся и такие, кто в знойный летний день оценит прохладу и тень этого дерева и возблагодарит меня. Свет не без добрых людей. И вот теперь, когда я слышу, о чем вы говорите, я забываю все свои боли и горести. Чувствую себя так, будто только что родился на свет. Сердце мое наполняется уверенностью в том, что свой долг на свете я выполнил...

— Цену золота знает золотых дел мастер! — перебил дядю Салмана один из жнецов. — Мы все люди труда...

— По мне, сын мой, человек, не совершивший полезного дела на свете, — ничто! Конечно, живет и всякая собака. Но мы, люди,

должны оставить след после себя. А хорошие дела — это и есть следы наших рук.

Дядюшка Салман повернулся в сторону и широко развел руками, будто собирался обнять просторы далей:

— Вот, глядите! Кругом — сады и огороды. Посадили их, выпестовали и вырастили наши отцы и деды. И плоды их труда достались нам. И мы в свою очередь обязаны сажать и растить, чтобы плодами нашего труда могли пользоваться наши сыновья и внуки. А то, если все будут думать только лишь о своем брюхе, весь мир за каких-нибудь десятков лет превратится в груды развалин...

Жнецы в один голос одобрили слова дядюшки Салмана. Когда они собирались уходить, ива покачивала своими молодыми ветвями и, тихо шелестя чистыми зелеными листьями, словно тоже поддакивала словам дядюшки Салмана: «Да, да! Верно!»

1939

Перевод Мир Джабара (Мусаева)

СЕМЬЯ КЯМТАРОВЫХ

— Ба! Ты ли это? Что не видать-то? Как дела? Ну, здравствуй?

— А ты как живешь?

— Поправилась-то как, не сглазить бы! Посвежела-то как!

— Где уж нам?хлопот сколько!..

— Как бы нам повидаться?

— На ближайший выходной не рассчитывай. Занята. На следующий, может быть?

— А ты будешь дома?

— Подожду, если пообещаешь наверняка.

— Жди! Вывусь как-нибудь и приду!

Кто они, эти добрые друзья, так горячо пожимающие друг другу руки, так живо интересующиеся здоровьем и делами друг друга?

Если я скажу, что они живут в одном городе, вы, конечно, не поверите. Если скажу, что оба живут в одной квартире, тогда совсем не поверите. «Не может быть! Возможно ли, чтобы люди жили под одной крышей и ничего не знали друг о друге?» — спросите вы. Но, если я скажу, что они супруги, вы удивитесь и будете недоумевать: «Что это за выдумки?»

Но я готов поклясться чем угодно, что это так. Так уж сложилась жизнь Гулама Кямтарова и его жены Лейлы. Вы скажете, что Гулам Кямтаров и Лейла, возможно, когда-то в прошлом были супругами, впоследствии, же не сошлись характерами и развелись. А то, что они живут вместе, то это, наверно, от недостатка жилья. Но нет! Ваши предположения ошибочны. Ни Кямтаров не бросал жены, ни Лейла не разводилась с ним. И если бы заведующий райжилотделом хоть сегодня вызвал к себе Гулама или Лейлу и

вручил тому или другой ключ от четырехкомнатной квартиры со всеми удобствами и потребовал, чтобы кто-нибудь из них остался на старой квартире, а другой или другая перебрался или перебралась на новую, то никто бы из них и не подумал перебираться. Они вместе вернулись бы к себе домой, и хлопоты заведующего райжилотделом, попросту говоря, пошли бы насмарку. Но дело не в этом.

А в чем же?

Мне, видимо, придется отнять у вас немного времени и познакомить вас с Кямтаровым.

Как и было оказано, Гулам Кямтаров и Лейла — супруги. И не просто супруги, не просто люди, связанные формальным браком, а супруги, которых связывает глубокая любовь. Поэт назвал бы их «возлюбленными». Нет и двух лет, как они сыграли свадьбу. Причем нелегко достался им этот долгожданный праздник. Из-за любви к Гуламу Лейла целый год была в ссоре с родителями. Гулам же из-за Лейлы получил глубокую ножевую рану в шею, шрам от которой и поныне заметен у него за ухом и, видимо, не исчезнет до самой его смерти.

И зимняя стужа не в состоянии охладить их друг к другу. Гулам не выносит мужчин, которые заглядываются на каждую смазливую девчонку. Лейла тоже не из ветрогонок. Никого, кроме того, кому она отдала сердце, ей не нужно, никого другого она не замечает. Она и не представляет себе, что на свете есть мужчина, кроме ее мужа.

Так отчего же эти любящие друг друга супруги так редко встречаются? Не может быть, чтобы любящие, живущие в одной квартире люди не встречались целыми неделями! Вероятно, вы усомнитесь в моей правоте и скажете: «Возможно, что по причинам, о которых неловко говорить вслух, они избегают встреч».

Нет! Вовсе нет!

Знайте же, что ни Гулам Кямтаров, ни Лейла не служат где-нибудь на далекой окраине. У них нет причин ощущать какую-либо неловкость от своей работы или стыдиться своей должности. Оба работают в городе. Тысячи девушек и парней, тысячи жен и мужей на таких же должностях чувствуют себя превосходно, отлично уживаются и проводят большую часть своего времени у себя дома, в семье.

Так в чем же тогда недуг наших героев?

Он, этот недуг, в некотором роде застарелый. А вообще, я могу заверить вас, что если на свете сыщется пять любящих мужей, то одним из них является Кямтаров. Перо и не в состоянии описать, с какой любовью, с каким увлечением сыграл свою свадьбу Кямтаров, с какой радостью ввел он в свой дом Лейлу. Ему казалось, что все блага жизни, все удовольствия и наслаждения, какие только существуют на свете, собраны и соединены воедино в одной Лейле. И стоит ему жениться на ней, как привалит ему счастье, и ничего ему на свете больше не понадобится. Он будет счастлив до конца, будет доволен всем! Кямтаров думал, что его свадьба — это последний в его жизни трудный рубеж, который предстоит преодолеть ему, что стоит ему достойным образом обставить и провести свадебный пир и прочие церемонии, связанные с бракосочетанием, то во всем остальном он уже может быть спокоен. И если ему в дальнейшем суждено будет довольствоваться куском черствого хлеба, то он охотно сядет с женой и пожует этот хлеб.

Но аппетит, как говорится, приходит во время еды. После того как Кямтаров сыграл свадьбу и достиг вершин блаженства, он обнаружил однажды, что для полного счастья не хватает ему еще очень многого. Подобно тому как выбивается из-под земли и буйно

растет молодая поросль весенней порой, точно так же откуда-то вдруг возникали и зрели в Кямтарове все новые и новые желания, которые захватывали его целиком и уже не давали ему покоя. Да это и понятно. На этом свете всегда так. Видишь у других и спрашиваешь: «Почему у тебя не должно быть того, что есть у других?»

Лейла видела, что жена артиста Эйюбова щеголяла бриллиантовыми перстнями и дорогими серьгами, парила, как ястреб на ясном небе, вызывая всеобщую зависть. Видела она, что грузчики вносят в трехэтажный дом подслеповатого Алекпера сверкающее лаком пианино, стильную мебель из орехового дерева, трюмо от пола до потолка, никелевые варшавские кровати, пестрые кубинские ковры. Видела она все это и рассказывала мужу. Кямтаров хмурился, почесывал затылок и говорил жене:

— Ты знаешь, Лейла-джан, нам надо работать. Крепко работать! Моя честь, мое достоинство не позволяют мне отставать от других. Ну, чем подслеповатый Алекпер лучше меня? Мы должны перетерпеть любые тяготы, бросаться в огонь и воду и во что бы то ни стало обставить свой дом с такой пышностью, чтобы соседи сгорали от зависти!

Лейла поддакивала ему. Были бы деньги...

Для начала Кямтаров решил устроить жену на работу. До замужества Лейла работала машинисткой и неплохо зарабатывала. Кямтаров подыскал для нее работу в двух местах. На выбор! После долгих споров и обсуждений решено было приберечь оба места для себя, поскольку они уже найдены. Тем более что в одном из них — Азериттифаке — надо было работать с восьми утра до четырех, а в другом — адресном столе — с пяти до одиннадцати вечера. Лейла охотно согласилась работать в две смены. Кямтаров же освободил ее от уборки, стряпни и всякой прочей домашней работы.

После того как жена была надежно устроена, Кямтаров занялся «уплотнением» собственного рабочего времени. Как человеку грамотному и энергичному, ему так же легко было найти работу, как выпить стакан воды. До этого он работал переводчиком в издательстве. Ходил на работу к десяти часам утра и возвращался домой в шесть. Отдохнув часок, он уходил в проектное бюро, где работал с восьми до двенадцати ночи. Кямтаров пошевелил мозгами и нашел, что, несмотря на двухсменную работу, у него остается уйма свободного времени. И он решил, что, используя это время, он может немало выгадать. «К лицу ли человеку, да еще такому, который решил создать себе райский уголок, валяться в постели до десяти часов? Я свободно могу поступить еще на целую ставку. Не почернеют же руки, если буду получать лишних пять-шесть сотен рублей?..»

Сказано — сделано. Кямтаров нашел себе еще одну должность. В типографии «Свет» требовался корректор, для работы от двенадцати ночи до четырех утра. И вот восьмого числа Гулям Кямтаров добился зачисления на эту должность и в этот день радовался не меньше, чем в день своей свадьбы. И было от чего! Если подсчитать все, что он получал с трех, а его жена с двух мест, да прибавить к этому и ту «мелочь», которая попадала ему в руки «невесть откуда» на карманные расходы, то все это составляло кругленькую сумму в несколько тысяч. Год-два — и ему некуда будет девать червонцы! Пусть тогда приходит Алекпер и своим подслеповатым глазом полюбуется на их богатство и роскошь!

Кто не приметил человека в сером пальто, который, выдувая из носа и рта клубы пара, в холодный и промозглый осенний день торопливым шагом спускается по Коммунистической улице? И лицо, и фигура, и взгляд, и походка его выражают только одно: он спешит. Идет он так стремительно, что прохожие предусматри-

тельно сторонятся его. Перекладывая потертый и «беременный» портфель из одной руки в другую, он то сует озябшую руку в карман, то вынимает изо рта жеваный мундштук папиросы, то взглянет на небрежно завязанный шнурок ботинка, который волочится по грязи, и, махнув рукой, идет дальше. Иной раз видишь, Кямтаров срывается с места и на полном ходу вскакивает в трамвай. Не успеет милиционер и заикнуться, как Кямтаров протягивает трешку и не берет квитанцию за уплаченный штраф.

С шапочными знакомыми он здоровается мимикой и знаками. А близких знакомых и друзей предпочитает не замечать. Дескать, зачем зря терять время?

В общественных местах Кямтаров не бывает. Показывается на собраниях в редких случаях и то только в учреждениях, в которых работает. Причем показывается он только в тех случаях, когда заранее знает, что неявившиеся будут взяты на учет. Он, разумеется, показывается в этих случаях и, зарегистрировавшись, тут же исчезает, как видение. В театрах и кино он не бывает. Некогда! С него хватит и того, что расскажут ему товарищи о виденном спектакле или кинокартине. Он лично знаком с некоторыми писателями. Поэтому потратить время на чтение того или иного произведения литературы считает для себя излишним.

Большинство его родичей живет в районе. А те, кто в городе, никак не могут раздобыть домашний адрес Кямтарова. Таким образом, личная и общественная жизнь Кямтарова течет своим чередом.

В семье он очень собран, серьезен и аккуратен. Дома у него никто не повышает голоса. Разумеется, и скандалов здесь не бывает. Когда кто-либо из супругов дома, дверь в квартиру не замыкается. В остальное же время на ней висит увесистый замок. Так что и птичка ненароком не залетит в квартиру. Кямтаров встает

с постели ровно в десять утра. Вы скажете, что человек, которому в десять надо быть уже на работе, потрудился бы вставать хотя бы на час раньше. Верно, но не забывайте, что Гулам возвращается из типографии, где читает корректуру, в лучшем случае в четыре-пять утра. Причем возвращается таким разбитым, что засыпает буквально на ходу. Он уже начинает дремать над последней полосой газеты. Отяжелевшая голова Кямтарова то и дело падает на развернутый перед ним лист и стучается об стол. Он кое-как добирается до постели и валится, как куль. Сумели бы вы встать с постели в девять, будь вы на месте Кямтарова?

Гулама спасает будильник, который начинает трещать за десять минут до начала работы. Гулам вскакивает как безумный, наскоро одевается и, заперев дверь на замок, бежит как угорелый на работу.

Не в лучшем положении и Лейла. Недаром в народе сказано: «Муж и жена — одна сатана». Словом, и тот и другая так заняты, что Гулам не видит Лейлу, а Лейла — Гулама. Возвращаясь из типографии, Гулам застаёт возлюбленную спящей. Лейла же, оставив спящего мужа, бежит на работу. Если ей надо передать мужу что-либо важное, она оставляет ему записку: «Гулам, если надумаешь сделать себе яичницу, возьми яйца с нижней полки буфета, а масло — с ниши; грязное белье брось в корзину. Я отошлю прачке»; «Ключ не следует вешать на прежнее место. Клади под кирпич у бассейна. Только, чтобы никто не видел»; «За тобой приходили из редакции. Позвони им туда».

Уходя из дому, Гулам тоже оставлял жене записки. Переписка между мужем и женой шла усиленная. Но они обходились без почтальона. Из писем Гулама мы располагаем следующим: «Ты не видела, милая, мою профсоюзную книжку? Если найдешь, положи в ящик стола»; «Располагаешь ли временем попечать на машинке? У нас в редакции есть халтура. Принести?»; «Чего не

отвечаешь на записки? Как с тем делом, что я говорил?»

Эти коротенькие и частые записки превратились в единственное средство общения в семье Кямтаровых. Таким образом, любовь Гулама и Лейлы находила свое выражение в корявых и торопливых росчерках этих записок.

Человек привыкает ко всякому. И эти любящие супруги так привыкли к заведенному ими порядку, что совершенно забыли про свою «былую» жизнь. Они настолько свыклись с этим порядком, что по их понятиям ему должны были следовать все, кому дорого собственное благополучие, кому охота получше, побогаче обставить свой быт. Они искренне думали, что этого порядка должны придерживаться все образованные люди, все семьи, скрепленные истинной взаимной любовью.

Правда, Лейла писала, чтобы муж клал ключ «под кирпич у бассейна. Только, чтобы никто не видел», и Гулам торопился выполнить поручение своей возлюбленной, но что поделаешь, когда нашелся человек, который увидел ключ, когда его прятали под кирпич?..

Однажды в одиннадцатом часу утра, то есть вскоре после ухода Гулама на работу, соседи Кямтаровых увидели какую-то женщину в желтой кофте, которая вошла к ним во двор, взяла как ни в чем не бывало ключ из-под кирпича, отперла дверь в квартиру Кямтаровых и вошла с таким видом, будто входит в собственный дом. Она убрала квартиру и, уходя, сказала соседкам Кямтаровых: «Сами поручили мне, сестрицы. Пусть мое появление здесь не тревожит вас». Так она решила отсечь всякое возможное подозрение.

Одна из болтливых соседок сказала Гуламу о том, что к ним приходила женщина в желтой кофте. Гулам решил, что приходила работница, приглашенная Лейлой, и воздержался от дальнейших

расспросов. А когда весть дошла до Лейлы, она подумала, что женщину пригласил Гулам, заботясь о поддержании чистоты и порядка в доме. В одном только усомнилась Лейла и тут же спросила соседку:

— Молода она или стара?

— В годах. Такая худенькая и шупленькая...

Смекнув, что Гулам пригласил женщину не с какой-либо задней мыслью, Лейла успокоилась и ушла по своим делам. В эти самые дни муж и жена обменивались записками такого содержания: «Куда ты дел мое шелковое платье?»; «В газетах вышла новая таблица тиражей займа. Надо бы проверить. Может, выиграли? Куда-то запропастились облигации. Не нашла»; «Куда делись серебряные ложки?»; «Вчера на голове у одной женщины увидел платок, точно такой, как твой. Чуть было не принял ее за тебя».

А женщина в желтой кофте в эти самые дни преспокойно занималась своим делом. Приходила ежедневно, убирала квартиру и, сунув что-либо ценное себе под кофту, отправлялась прямехонько на толкучий рынок. Она выведала все о Гуламе и его жене, точно знала, чем они занимаются, где и когда работают. Потому-то и ходила в дом без малейшей опаски. Ее проделки все без исключения благополучно сходили с рук. С течением времени она осмелела настолько, что однажды привела с собой в квартиру Кямтаровых двух покупателей, которые — она знала об этом — располагали большими деньгами. Тут для начала она вытащила из буфета несколько бутылок пива. Выпив друг за друга, женщина в желтой кофте и ее «гости» помянули добрым словом и человека, который припас эти бутылки. Затем приступили к «делу». Порылись в нише и большом сундуке, вывалили на середину комнаты шелковые одеяла, ковры, дорогие отрезы, одежду, обувь и прочие ценные вещи. Женщина не слишком запрашивала,

покупатели оказались не очень скупыми. Начался оживленный торг, и сделка, к обоюдному удовольствию, была заключена без промедления.

Сорвав большой куш с богатых покупателей и спрятав полученную кучу червонцев себе в лиф, женщина в желтой кофте, торопливо выпроводила нагруженных купленными вещами покупателей, окинула насмешливым взором обобранную квартиру Гулама и прошептала: «Мне уж нет надобности наведываться сюда. Прощай навек!»

Вечером того же дня Гуламу стало известно о неудаче, постигшей его в типографии. В газете была им допущена ошибка. Его вызвали к редактору.

— Скажите мне, — спросил его редактор, — как корректор вы прочли эту полосу? Или подписали, не прочитав ее?

— Что вы, товарищ редактор? Неужели вы считаете меня таким безответственным человеком, что допускаете мысль, будто я подписал полосу, не прочитав ее?

— Прочли, стало быть?

— Разумеется! По складам прочел...

— А это что? — протянул он ему газету. — Вместо слова «поработали» у вас вышло «покушали»!

Гулам впился глазами в указанные редактором строчки и попытался отделаться шуткой:

— Пустяк! Это и нельзя считать ошибкой. Проскочило, товарищ редактор. Да и если разобраться, что «поработали», что «покушали» все одно. Между этими словами имеется определенное смысловое соотношение. Говорят же у нас «кто не работает, тот не ест!»

Редактор вырвал газету из рук Гулама Кямтарова.

— Сколько занимаете должностей?

— Какое это имеет отношение к делу? — пристально посмотрел Кямтаров на редактора.

— Я спрашиваю вас, во скольких местах работаете?

— Всего-навсего в одном-двух...

— В издательстве работаете?

— По утрам... Это к делу не относится.

— А в проектно бюро?

— Всего шесть часиков...

— А в Заготзерно?

— Сдельно, товарищ редактор.

Редактор вскипел:

— К лицу ли вам, солидному человеку, занимать столько должностей, работать в стольких местах?

— Не к лицу тому, кто ничего не делает. А я работаю день-деньской... Работаю днем и ночью... Тружусь в поте лица!.. И вместо поощрения вы...

Редактор поднялся.

— Вашу сегодняшнюю ошибку можно было бы простить, — сказал он спокойно, но тут же строго добавил: — Но если вы не откажетесь сегодня же от работы в названных мною учреждениях, завтра не будете допущены к работе в типографии! Утомленная голова и притупившийся мозг в печати пользы не принесут! Ясно? Идите!

Гулам Кямтаров повернулся и вышел из редакторского кабинета. Кончив работу в типографии, он, разбитый, утомленный и расстроенный сегодняшним разговором с редактором, поплелся домой. Дорогой он раздумывал о том, где бы ему найти работу с приличным окладом.

Лейла этой ночью не ложилась. Сидела в опустошенной комнате, скрестив на груди руки, и дожидалась мужа. Тысячи

разных мыслей вспыхивали и гасли в ее мозгу. «Что это значит? Уж не обманывает ли меня Гулам, уж не женился ли он на другой? Может быть, уже разделил вещи и увез свою долю? А что, если он не работает вовсе и проводит время в ресторанах, пьет, играет в карты и просаживает свои деньги на подобные развлечения? Иди-ка знай, чем занимается человек?..»

А ночь тянулась как месяц уразы¹. Лейла то рылась в нише, где были сложены матрацы, одеяла, подушки, ковры, которые составляли ее приданое, то со стуком выдвигала ящики буфета и пристально глядела на любой сверкающий предмет и не могла понять, куда же делись серебряные ложки, ножи и вилки?

Соседи уже давно спали. Радио замолкло. Прекратился шум трамваев на улице. Пропели в первый раз петухи. Наконец слышались шаги на дворе. Войдя в комнату и видя Лейлу, сидевшую в скорбной позе, со скрещенными на груди руками, Гулам опешил. Хотел спросить: «Чего не легла до сих пор, дорогая?», но в глаза ему бросились вещи, которые в беспорядке валялись посреди комнаты.

Лейла не дала ему раскрыть рта. Указывая обеими руками на оголенные, без занавесок, окна, разбросанные по полу подушки и матрацы, сказала:

— Что это? Торги, что ли, тут были?

— А что? Не хватает чего? — заплетающимся языком спросил Гулам.

— Где мое прид... приданое? Где мои вещи, платья? Где все, что осталось мне на память от родителей?

Задав свои вопросы, Лейла залилась горькими слезами. Гулам побледнел.

— Но кто же отпер дверь? — удивился он.

На шум сбежались соседи. Каждый рассказывал все, что знал о

¹Месяц уразы — месяц рамазан, когда постятся мусульмане.

женщине в желтой кофте. Лейла упала в обморок, а Гулам, выбрав двух свидетелей из числа своих соседей, отправился в милицию.

Он шел, тяжело вздыхая. В душе его вскипал гнев, который постепенно уступал свое место отчаянию. Он шел и не знал, на кого и на что жаловаться: на женщину ли в желтой кофте, на соседей ли, которые не раз видели ее, или на собственную жадность, собственную страсть к наживе, богатству и роскоши?

1939

Перевод Мир Джабара (Мусаева)

ГАДЖИ-ОГЛУ ПОЖИНАЕТ ПЛОДЫ

Человек вправе радоваться делам рук своих. О, видеть, что ты не напрасно живешь на земле! Сердце нефтяника наполняется счастьем, когда до его слуха доносится гул самолета; хлопкороб не может не улыбаться, видя забитые тканями и одеждой полки магазинов; агроном... разве в силах он унять волнение, когда его руки пересыпают янтарную пшеницу; садовод гордится обилием плодов в своем саду; учитель — пробужденными его трудом способностями учеников; инженер — построенными по его чертежам сооружениями. Нет человека, которому не пришлось бы хоть раз в жизни испытать чувства удовлетворения сделанным.

Впрочем, так уж и нет такого человека? А герой нашего рассказа — Гаджи-оглу?

Нет, нет, он тоже гордится плодами своего труда. Стоит посмотреть, как аккуратно, словно это крупные ассигнации, складывает он в бережно хранимые папки копии всего того, что им написано за долгую жизнь. Он помногу раз исправляет и переписывает набело свои творения. Он, наверное, писатель, наш Гаджи-оглу? Или нет?

У него очень много конвертов. Вот Гаджи-оглу берет несколько штук, сует в них какие-то бумаги, наклеивает марки и вечером, в уже наступившей, благоприятствующей делу темноте опускает письма в почтовые ящики. Не сразу все письма в один, нет. Гаджи-оглу можно увидеть за таким занятием в самых разных концах города. И всегда при этом он удовлетворенно потирает руки, радостная улыбка (мол, дело сделано!) сияет на лице:

— Вот так. Кое-кому теперь не поздоровится!

... Гаджи-оглу сейчас нежится в постели. Ах, как это приятно — представлять себе в картинах последствия разосланных в различные адреса посланий.

«Вряд ли мне придется долго ждать, — размышляет он. — Почту в учреждения приносят по утрам. Значит, уже вчера утром... Сегодня секретарша уже зарегистрировала мое письмо. Ближе к вечеру его прочтет директор. Если он не устал, то сегодня же, а в крайнем случае завтра будет готова резолюция. — От удовольствия Гаджи-оглу заерзал в кровати. — А послезавтра назначается комиссия. На днях кое-кому не поздоровится».

О, Гаджи-оглу — суровый мститель!

У него внушительный вид. Роговые очки, из верхнего кармашка пиджака торчит автоматическая ручка. Ни дать ни взять — автор научных трудов (если уж не писатель). И действительно, разве мало у него произведений, а разве он не создает гипотезы? С тех пор как Гаджи-оглу овладел грамотой, все свое воображение и фантазию он заставил как следует работать; им было написано бесчисленное множество заявлений. В старину кочи¹ наводили страх кинжалами и револьверами, наш герой жаждал устрашать всех своим пером. Иногда он, признаться, привирал. Прослышав о случае увольнения кого-нибудь, Гаджи-оглу начинал во всеуслышание похвалиться:

— Месяца два назад ваш покорный слуга пустил в ход свое перо. И что же мы видим?! Ай-яй, несчастный: долго ли пришлось мне ждать?

Еще хуже было, когда кто-нибудь задевал его самолюбие. Тогда Гаджи-оглу и вправду прилагал все усилия к тому, чтобы, как он выражался, поднять обидчика на кончик пера и бросить под жернова судьбы.

Никогда ни перед кем не оставаться в долгу! — вот какой был жизненный девиз Гаджи-оглу, сурового мстителя.

Сейчас в голове Гаджи-оглу кипят планы борьбы с монтером

¹ Кочи - наемные бандиты

Джахангиром. Наглый обидчик! Несколько дней назад Джахангир провел во дворе электричество, ему, видите ли, и во дворе нужно электричество, что ему до того, что тем самым нарушается покой Гаджи-оглу. Гаджи-оглу нужна благоприятствующая темнота — чтобы спать, писать письма. Жена правильно заявила этому монтеру:

— Убери свет, хозяин спит, свет падает в комнату, беспокоит его, слышишь...

Этот наглец Джахангир тогда ответил:

— Занавесь окно, сестренка, и свет не будет падать в комнату. Нельзя же, чтобы двор оставался в темноте. Сейчас лето: люди выходят посидеть, книжку почитать.

Конечно, этот наглый ответ не мог не задеть за живое Гаджи-оглу: «Хорошо же! Этот молокосос, видно, еще не знает, с кем имеет дело. Мое перо жалит сильно! .. Посмотрим! Боюсь, кое-кому не поздоровится!..»

Гаджи-оглу вышел из дому только через два дня. Под мышкой у него был портфель. Прошел он несколько шагов, и — надо же так случиться! — столкнулся с Джахангиром, тот возвращался с ночного дежурства. Джахангир хотел уже пройти дальше, своим путем, но Гаджи-оглу остановил его и, показав рукой на молодое тутовое дерево — оно впервые в этом году принесло плоды, — спросил:

— Сосед, говорят, это ты посадил в прошлом году дерево?

— Верно, я. Только не в прошлом, а года четыре назад.

— Напрасно ты это сделал!

— Почему же, ведь сажать деревья всегда считалось делом добрым.

— Э-э, доброе дело, доброе дело!.. Когда люди отвыкнут от штампов! Милый мой, вы же (Гаджи-оглу перешел на «вы»)

прекрасно понимаете, что перезрелый тутовник будет падать прямо на дорогу, его будут топтать прохожие. Слетятся мухи, а потом что? Куда они полетят? На мой стол! Или вам не известно, что мухи источник заразы? Молодой человек, вы читаете книги?

Джахангир в свою очередь не без иронии спросил:

— Сосед, а вы когда-нибудь сажали деревья?

— Зачем мне сажать деревья?

— Правильно сделали. Если вы с вашим характером посадили бы дерево, оно все равно бы не поднялось, засохло.

И, сказав так, Джахангир резко повернулся и пошел к себе. Вслед ему, уже с улицы, прогремел гневный голос Гаджи-оглу:

— Ах, так? Засохнет? И это ты говоришь мне, Гаджи-оглу? То, что я посажу, не вырастет? Ладно! Поживем — увидим... Я кое-что посею где надо. Посмотрим, как у тебя делишки пойдут!

Вернувшись домой, Гаджи-оглу сердито швырнул портфель на стол, торопливо, подобно готовящемуся к схватке человеку, скинул пиджак (о, Гаджи-оглу! Суровый мститель Гаджи-оглу!) и крикнул жене:

— Налей чернила, я буду писать!!

Жена хорошо изучила привычки мужа. Она тотчас затворила окно, разложила на столе бумагу, ручки. Гаджи-оглу принялся сочинять послание.

Кончив писать, он немножко подумал, потом размножил письмо в четырех экземплярах: один — в местное отделение милиции, второй — в управление городской электросети, третий — в редакцию газеты, четвертый — на всякий случай: всегда может пригодиться.

Гаджи-оглу провел по краям конвертов узким, бескровным языком, тщательно заклеил конверты. Потом левой рукой надписал адреса, сложил написанное в стопку и придавил объемистым томом.

Мы начали рассказ с разговора о гордости человека сделанным. Гаджи-оглу, откинувшись на спинку стула, с гордостью смотрел на плоды рук своих. Мало того, довольный собой, он несколько раз горделиво прошелся по комнате, потом лег на диван и, подложив под голову руку, не отрывая взгляда от конвертов на столе, стал оживлять в памяти содержание.

— «Уважаемый товарищ директор, — шептал он, — довожу до вашего сведения, что некто Джахангир, проникший в ваше учреждение при помощи разных махинаций, известен всему городу как враждебный элемент. Отец этого человека в прошлом был торговец-бакалейщик второго разряда. Будучи бакалейщиком, он, несомненно, торговал и яйцами. Как стало известно, в 1918—1919 годах, в период интервенции империалистов, вышеупомянутый отец этого Джахангира благоденствовал в своей бакалейной лавке, снабжая вражеские войска маслом и яйцами и тем самым эксплуатируя трудящийся народ. Таким образом, плоть и кровь известного вам Джахангира не могла не пропитаться и, конечно, пропиталась нечистыми доходами от продажи тех яиц. Прошу вас, обратите внимание и на самое его имя, истинно империалистическое имя¹! Случайно ли это?! Можете справиться у знатоков фарсидского языка. Я убежден, что грязно нутро этого человека, человека столь гнусной закваски, буруемого желанием причинить нам зло. Это ни у кого не может вызывать сомнений, тем более у вас, бдительный товарищ!»

О, Гаджи-оглу многоопытен и весьма искусен в такого рода делах! Он не преминул, конечно, приписать в конце своего послания угрожающую фразу: «Если не примете надлежащих мер, мы, советские люди, будем вынуждены обратиться в вышестоящие инстанции».

...Наступило приятное для Гаджи-оглу время. С нетерпением ждал он увольнения Джахангира: нахала, как пить дать,

¹ Джахангир означает «завоеватель».

вышвырнут с работы со всеми потрохами. Или — если уж его не уволят — воспоследуют другие неприятности: уж придется ему, думал Гаджи-оглу, помучиться, помытариться, представляя всевозможные объяснения. И вот тогда он, Гаджи-оглу, выйдет на верхнюю площадку лестницы: руки в брюки, небрежное покачивание, дым папироски — и, как бы размышляя вслух, многозначительно покашливая, произнесет:

— Теперь кое-кто убедился, как произрастает семя, посеянное Гаджи-оглу!

Да, да, так оно и будет. Гаджи-оглу был уверен в этом. Не зря ведь его недавно вызвал следователь, да и прокурор им интересовался. А уж Гаджи-оглу всякий раз, рассказывая о своем соседе, пытался дополнить новыми подробностями греховное прошлое Джахангира и его родственников по прямой и косвенной линии.

И вот однажды, как бы суля исполнение всех желаний, закрипела входная дверь. К Гаджи-оглу подошел милиционер, спросил фамилию, имя, передал листок бумаги, предложил расписаться в получении.

— Откуда это, простите?

— Вас вызывают в суд.

— Как?

— Очень просто, потрудитесь прочесть.

Глаза Гаджи-оглу впились в повестку, с каждым прочитанным словом все больше вылезая на лоб: «4-го числа в Народном суде на открытом заседании будет рассматриваться дело Гаджи-оглу, обвиняющегося в клевете на советских граждан».

Из задрожавших губ Гаджи-оглу упал и покатился по лестнице мундштук, колени «мстителя» подогнулись, и, как ударенный током, он сполз со ступенек на землю.

А из комнаты раздался голос жены:

— Ой, не садись на сырую землю, послушай, ревматизм схватишь!

1939

Перевод Юрия Суровцева

ОБОЖАТЕЛЬ ГОСТЕЙ

В домик к садовнику Насибу я зашел ранней весной, когда помутнели воды раздувшихся ручейков, и зашел я затем, чтобы осмотреть его больную шестилетнюю дочурку. В ту пору я был молодым, еще неопытным врачом, хотя и не лишенным самомнения. Сознание собственного превосходства во мне было очень сильно. Я старался не давать никому повода усомниться в моей врачебной самостоятельности и стремился казаться таким, будто я уже достиг высокой степени совершенства в своей профессии. Это, бесспорно, было признаком недостаточности моих знаний, вернее — следствием непреодоленных еще остатков мальчишества, которые впоследствии, когда я был уже умудрен достаточным житейским опытом, так же сошли на нет, как тает и сходит весенний снег под действием горячих солнечных лучей. Но это имело и другие, я бы сказал, положительные последствия. Соответственно присущей мне в ту пору амбиции, я в своих отношениях с людьми старался казаться отлично подготовленным, опытным, внушительным и солидным врачом. Посещая по приглашению те или иные дома, я надевал мягкую шляпу и нанимал одноконную коляску. Войдя в дом, я тут же снимал шляпу и пальто, прежде чем войти в комнату больного, тихим покашливанием предупреждал его о своем приходе. Мне доставляло огромное удовольствие, когда я слышал слово «пожалуйста!», произносимое хозяевами с особой сердечной теплотой и почтительностью. С моим приходом глава семьи обычно начинал суетиться, предлагал мне стул, торопливо готовил перо и бумагу. Стоило мне раскрыть рот, как все умолкали и внимательно прислушивались к тому, что я скажу. И я думал про себя: «Было бы чудесно, если бы все люди были такими добрыми

и ласковыми, как хозяин этого дома, или же такими врачами, как я!» Я, разумеется, щупал пульс, проверял сердце и легкие, осматривал язык и горло больного и, поставив диагноз, садился выписывать рецепт. Покидая дом, я слышал тысячу благодарностей. По правде сказать, я не знал, мне ли одному оказывают столько почтения или всем врачам. В детские годы я не знал, что такое врач. В нашем доме, по крайней мере, он не появлялся. О лечении людей я знал только из сказок. Я слышал еще и о том, что в дом, куда заглядывает солнце, врач не заходит. Но в наш дом ни солнце не заглядывало, ни врач не ступал ногой.

Вернемся, однако, к сути повествования. Маленькая больная дочурка дядюшки Насиба лежала как сухая тростинка на тахте в темной и затхлой, напоминающей закут, тесной лачуге. Слабенькое и нежное тельце девочки билось в жестокой лихорадке. Девчушка таяла на глазах. Она была так слаба, что, вдохнув воздух, еле выдыхала и, выдохнув, еле вдыхала. Жизнь угасала в ней. Только в ожидающих помощи от любого и каждого крупных, полных мольбы и тревоги глазах ее еще теплилась искорка жизни.

Когда я собрался выписать рецепт, отец девочки взял меня за локоть и потянул за собой во двор. По правую руку находилась лесенка в несколько ступенек. Мы поднялись по ней и через небольшую прихожую вошли в просторную, убранную пышными коврами комнату. У стенки стоял письменный стол с настольной лампой под абажуром. Тут же под рукой были чернила, перо и бумага, заранее приготовленные хозяином. Я сел и выписал рецепт. Посоветовал хозяину содержать больную в чистой и хорошо проветриваемой комнате, назначил диету и вышел.

Мне, однако, не пришлось вторично увидеть девочку, которую я начал лечить. На следующий же день я вынужден был выехать по делам и, вдали от этих мест, разумеется, не мог знать, что случилось

с девочкой и другими моими больными.

Через два или два с половиной года, как-то осенью, мне еще раз пришлось побывать в доме у дядюшки Насиба. В той же лачуге на той же тахте лежал мальчик четырех-пяти лет — бледный, изможденный, с сухими, лихорадочно сжатыми губами. Дизентерия изнурила его. По словам дядюшки Насиба, не найдя меня дома, он показал сынишку нескольким врачам и хотя больной проглотил изрядное количество лекарств, но пользы от них не имел. Просматривая ранее выписанные рецепты, я заметил у подушки больного продавленный с одного бока, полусгнивший гранат.

— Надо бы достать чистых, хороших и не попорченных гранатов, выжать сок и дать мальчику попить! — посоветовал я.

По окончании осмотра больного меня опять ввели в комнату для гостей выписывать рецепт. Я выписал нужные лекарства. Отчего-то вдруг вспомнил свое первое посещение и девочку, болевшую тогда малярией.

— Как здоровье вашей девочки? — спросил я.

Дядюшка Насиб поник головой. Из груди его вырвался глубокий вздох.

— Подарила вам свою жизнь... — печально отозвался он.

Мне стало неловко. Поняв неуместность своего вопроса, я пожалел о том и покраснел от стыда. Ранее я полагал, что дядюшка Насиб доволен мною и моим лечением, что на примере дочурки убедился в моих хороших способностях и потому пригласил меня к сыну. Теперь же мне казалось, что тут все обстоит совсем наоборот, что дядя Насиб нарочно пригласил меня вторично, чтобы попрекнуть и пристыдить меня. Говоря «подарила вам свою жизнь», дядюшка Насиб, кажется, смеялся надо мной и моим лечением. Особенно больно мне было думать о маленькой девчушке, об этом бутончике, который поблек, не раскрывшись.

Зачем было ей умирать? Она должна была жить! Будь она жива сейчас, в семье царили бы радость и веселье. Она поучилась бы в школе и в будущем стала бы одной из сотен тысяч женщин, полезных народу. Быть может, она стала бы образованной и интеллигентной матерью, хорошей воспитательницей. Будь она жива, и я смело мог бы глядеть в глаза людям, и мне нечего было бы стыдиться за себя. До чего же дика и неумолима смерть!..

Я был до того расстроен услышанным, что рецепт в две строки выписал с большим трудом. Наконец я поднялся, произнес на ходу несколько слов утешения и направился к выходу. Хозяин загородил мне дорогу. Тут же распахнулись обе створки двери, и перед нами предстал мальчик с большим подносом в руках, полным прекрасных фруктов. На тарелке были нагромождены, груды спелых и сочных, очень хорошо сохранившихся гранатов, больших спелых груш и янтарных гроздей винограда.

— Отведайте, доктор, — предложил дядюшка Насиб. — Это все наше, собственное, из нашего же сада. Покушайте, пожалуйста!

Я разрезал гранат с крупными, как кизилловые ягоды, пунцовыми и прозрачными, как рубин, зернышками. Напрасно было бы искать в таком плоде что-либо иное, кроме живительного сока природы, укрепляющего здоровье людей и удлиняющего их жизнь.

— Какой изумительный гранат, дядюшка Насиб, — похвалил я хозяина, умеющего растить такие замечательные плоды. — Давайте ребенку пить сок этих прекрасных плодов, и мальчик скоро встанет на ноги.

— Кушайте, доктор! — ответил он. — Для мальчика найдутся и другие. А эти припасены специально для таких, как вы, дорогих гостей!

Полакомившись фруктами и побеседовав немного, я поднялся уйти. Но дядюшка Насиб опять не отпустил меня.

— Погодите уходить. Обедать пора. Я нарочно поручил подать фрукты, чтобы чем-нибудь занять вас. Посидите, пожалуйста, еще малость. На обед у нас хорошая долма¹. Сейчас подадут.

Немного погодя старший сын дядюшки Насиба, Имран, постелил скатерть и подал обед. Мы сели кушать. Парень, будто ожидая чего-то, стоял в сторонке. Я и его пригласил к столу. Но отец так сверкнул на сына белками глаз, что тот сейчас же исчез.

— Неловко получилось, — заметил я. — Надо было Имрану сесть и покушать с нами.

Дядюшка Насиб запротестовал и жестом руки и отрицательным покачиванием головы.

— Доктор, — веско сказал он. — Всякому свое место. Он кушает там, под навесом.

— Но он мог бы сесть и с нами?

— Не годится, доктор. Во всем должно соблюдать порядок. Здесь — комната для гостей. Гостю — свое место, своим — свое. И если бы я давал волю ребятам, то они за два денька превратили бы эту комнату в конюшню. А ведь к нам ходят и люди. У человека бывают друзья, враги. Надо, чтобы пять человек, которые зайдут сюда при случае, остались бы довольны чистотой и порядком.

В третий раз я был у дядюшки Насиба зимой. Старший сын его, Имран, страдал ревматизмом. Режущие боли в ногах не прекращались и не давали парню ни минуты покоя. Не успел я войти, как хозяин начал жаловаться:

— Спасите, доктор! Помогите Имрану! Ноги у парня отнялись.

¹ Долма — национальное блюдо. Нечто вроде голубцов, но завернутых вместо капустных листьев в виноградные.

Скрючило их так, что и шагу не в состоянии сделать!..

Ничего не ответив ему, я стал осматривать больного. Не то думая, что своей просьбой он подействовал на меня, не то из каких-то иных соображений, дядюшка Насиб продолжал:

— Не понимаю, доктор, откуда такая напасть? Из семи детей троих я уже похоронил. Остальные четверо — все время между жизнью и смертью. Уж больше того, что я предпринимал, делать невозможно. Врачи постоянно у нас, сам я то и дело бегаю в аптеку. Не счесть таких, как вы, искусных врачей, которые побывали у меня. В аптеках не осталось медикаментов, — все перетащил домой, все отдал детям... Какие бы дорогие лекарства ни выписывали, я все брал и набивал ими желудки ребят. Я просадил уйму денег, и все напрасно. Ребятам все хуже и хуже. Все хиреют, все слабеют... Не пойму, что за напасть? То ли сглазили их, то ли прокляли и накликали на них беду, не знаю! Будто злой рок вцепился мне в глотку и давит неотвязно...

Скрестив на груди руки, тут же стояла мать Имрана. Она ахала, охала, произносила какие-то невнятные слова печальным и умоляющим голосом, подтверждала каждое слово мужа, кивая головой и продолжая стоять в той же скорбной позе.

Как только я покончил с осмотром больного, мать и отец Имрана уставились в меня молящими глазами, видимо хотели услышать нечто утешительное, бодрящее. Было заметно, что они готовы на все, готовы лишиться всего своего достояния, лишь бы услышать хоть что-нибудь обнадеживающее.

Я был рассержен, но не знал, с чего начать. Я молчал некоторое время, и дядюшка Насиб истолковал мое молчание по-своему. Решил, что средства лечения, которые я собираюсь предложить, будут стоить очень дорого и потому, положив руку на сердце, шагнул вперед и, готовый к любой жертве, сказал:

— Пусть расходы не тревожат вас, доктор. Все, что вы находите нужным назначить, предлагайте! Если потребуется, я и в Москву свезу его. Я согласен лишиться всего, лишь бы спасти Имрана...

Назвав сына по имени, дядюшка Насиб совсем расчувствовался. На глаза ему набежали слезы, тяжелый ком сдавил ему горло, голос его дрогнул и сорвался. Насилу овладев собой, он продолжал тем же скорбным тоном:

— Сами понимаете, доктор... Зачем мне жизнь без детей? Я страдаю... Я готов умереть с горя, доктор!..

Воспользовавшись правом своего человека в этом доме, я повелительным тоном предложил отцу и матери больного следовать за мной. Сопровождаемый мужем и женой, я поднялся по лесенке, ударом ноги распахнул дверь, ведущую в «парадную» комнату.

— Чей это дом? — злобно спросил я.

— Как чей, доктор? Наш, слава аллаху. Разве вы не знаете, что эта комната предназначена у нас для гостей?

— А та, другая?

— Эх, доктор, — заговорила мать Имрана, — да будет черен лик судьбы. Мы ведь лелеем мечту... Ту комнату мы приготовили Имрану к его свадьбе, для нашей невестки...

Я распахнул дверь и этой комнаты. Подошел к сверкающей никелем кровати, откинул покрывало, под которым лежали роскошное шелковое одеяло и белоснежные пуховые подушки.

— Почему же Имрану не лежать здесь?

Дядюшка Насиб сразу понял, куда я клоню. Он молчал. Я же продолжал:

— Все для гостей!.. Все самое лучшее только для гостей!.. Послушай ты, сын мусульманина! По собственной же воле ты отнимаешь у себя родных детей одного за другим. И ты сам

виноват во всех твоих несчастьях! Везти больного в Москву незачем. Он и здесь прекрасно поправится. Для этого надо только вырвать его из той лачуги и поместить здесь, в этой комнате, которую ты держишь под замком в ожидании каких-то гостей... Если восстанут из проба твои умершие дети, они ведь проклянут тебя за то, что ты по собственной воле отдавал гостям все, что имел, за то, что ради своих обожаемых гостей лишал собственных детей всего, даже чистого воздуха! Лучше бы то, что ты готов выложить перед гостями, отдавал своим детям! Пожалей их! Конечно же, если ты будешь преподносить гостям отборные, а собственным детям гнилые гранаты, если ты будешь отдавать гостям лучшую свою комнату, а собственные твои дети будут ютиться в темной лачуге, если будешь укрывать гостей шелковыми одеялами, а собственных детей какими-то грязными лохмотьями, тем это и кончится, чем кончалось до сих пор. А врач, который узнает о том, как ты поступаешь, и ногой не ступит в твой дом! А если и ступит? Чем он поможет тебе? Пусть теперь гости, которых ты обожал, которых ты кормил и поил в ущерб собственным детям, придут и воскрешают твоего Имрана!

Подавленные тяжестью и силой услышанных слов, отец и мать глядели на меня глазами, полными стыда, горечи и раскаяния и виновато молчали.

1940

Перевод Мир Джабара (Мусаева)

ВСТРЕЧА С ДРУГОМ

Я был в отпуске. Карманы были полны денег, настроение — лучшего не пожелаешь. Дней десять — пятнадцать я пробыл в городе, затем пресытился, начал скучать. Мне вспомнился Фатулла — один из моих друзей, мой школьный товарищ, которым я очень дорожил.

Я знал, что он женился и обосновался в одной из ближайших к городу деревень, где и продолжал учительствовать. Выйдя на одну из оживленных улиц, я сел в машину и покатыл в деревню.

Фатулла был моим другом в «прямом смысле этого слова», как принято выражаться среди критиков. Я не знаю, какой придают смысл слову «друг» составители словарей. В «своем же словаре» я называю другом того человека, сердце которого я согласен носить в своей груди и который согласен носить мое сердце в своей. Надо полагать, что следствия, вытекающие из этого обоюдного согласия, ясны и понятны сами по себе.

Вот такими друзьями мы и были с Фатуллой. Обо всем, что имело место в моей жизни (хорошем ли, плохом ли, безразлично), я считал нужным сообщать ему. Советоваться по всякому поводу с ним было для меня внутренней потребностью. Если я не виделся с ним дней пять — десять, все, чем я жил за эти дни, все, что могло оставить след в моем сознании, все это казалось мне половинчатым и неполным. Все в жизни доставляло мне истинное удовольствие и наслаждение только в том случае, если обо всем этом я делился мнениями с Фатуллой.

Жизнь, однако, идет своим чередом и подчиняется своим законам, от нас не зависящим. Ее законы подчас не поддаются объяснению. Времена меняются, меняется и возраст человека, и его сознание, и склад его ума. В итоге меняются вкусы человека.

Смотришь, некоторые черты характера твоего друга уже не нравятся тебе так же, как перестают ему нравиться и некоторые черты твоего характера. Вдруг замечаешь, что у него отыскался друг, который ему дороже тебя. Оказывается, что у тебя есть друг, которого ты предпочитаешь ему. По-моему, давнишняя ли дружба связывает тебя с человеком или ты подружился с ним совсем недавно, это не имеет существенного значения. Друг должен быть верным. Главное — это. Без этого ты хоть дружи сотню лет, — что проку в такой дружбе?

Собственно говоря, когда речь идет о нас с Фатуллой, такие разговоры ни к чему. Ибо мы начали дружить без какого-либо предварительного обсуждения этого вопроса и в дальнейшем между нами не произошло ничего такого, что могло бы побудить нас ощущать необходимость такого обсуждения.

Итак, я сказал, что вспомнился мне мой друг Фатулла, и я сел в машину. Это не означает, что за эти несколько лет я забыл про Фатуллу и вспомнил его вдруг, невзначай. Вовсе нет! Мысленно я всегда ругал себя: ведь человек работает в деревне, обременен семьей, не может он каждую минуту скакать к тебе. Стало быть, ты должен ехать к нему. И я давно уже решил во время отпуска навестить его.

Это мое решение пришло мне на память у базара, где я сел в машину и укатил за город.

Проследовав по извилистым, устланным опавшей листвой дорожкам, машина привезла меня в деревню Чанахчы. «Где живет учитель Фатулла?» — спросил я у встречного крестьянина. Тот указал мне. В небольшом дворике Фатуллы, огороженном низенькой стеной простого камня, росли фруктовые деревья. Я сошел с машины, прошел по узенькому переулку и постучался в низенькую калитку.

Мне открыла девочка в огромных старых башмаках, в которых она еле волочила ноги. Ей было лет пять-шесть. Я знал, что Фатулла женился четыре — четыре с половиной года назад. Откуда у него такая дочь?

— Здесь живет Фатулла? — спросил я.

— Да, — ответила девочка.

— Он дома?

На этот вопрос девочка не ответила. Она повернулась, вошла в дом и через минуту прибежала обратно.

— Просит войти!

Я поднялся на крылечко, снял калоши и вошел. В доме, где я ожидал горячую встречу, надеялся встретить радость, смех, объятия, рукопожатия, меня сковал какой-то зимний холод. Не похожий на себя Фатулла лежал в кровати в глубине комнаты. Я с трудом узнал его. Вместо круглолицего, краснощекого, веселого и всегда улыбающегося учителя на кровати лежали сухие мощи с лихорадочно мерцающими, как пара свечей, глазами. Увидев меня, Фатулла расчувствовался. Глаза его прослезились. Он попытался приподнять голову, опереться на подушку, но тщетно. У него зашевелились губы, и он что-то пролепетал слабеньким, неслышным голосом.

Я подсел к больному, пощупал ему пульс и начал расспрашивать о его состоянии. По словам жены, Фатулла болел уже свыше месяца. Недельки две он пролежал в районной больнице, но истосковался по детишкам и, почувствовав некоторое облегчение, попросился домой. После того как привезли его из больницы, у него пошла кровь горлом, он постепенно начал таять и терять силы.

Ежедневно к нему навещался сельский врач. Я просмотрел выписанные им рецепты и убедился в том, что эти лекарства вряд

ли могли помочь больному. Не считаясь с тем, что больному было тяжело повиноваться мне, я тщательно осмотрел его и, как ни старался, не смог обнаружить ни малейших признаков, подтверждающих правильность поставленного врачом диагноза. Вероятно, врач был введен в заблуждение кровохарканьем и сильно напуган. Но приостановить выделение крови выписанным им лекарством не представлялось возможным. Это лекарство обычно дается больным женщинами и то в мизерных дозах.

Жена Фатуллы и его малые детишки, выбитые из колеи тяжелой болезнью главы семьи, осунулись и завяли, как нежные растения, прихваченные стужей. Сейчас жена Фатуллы пристально наблюдала за моими движениями и с тревогой дожидалась результатов моего осмотра. Порывистыми движениями она помогала мне и в то же время жалобным тоном рассказывала о том, как бредит Фатулла по ночам, как он не ест, не пьет, не принимает внутрь ничего, за исключением прописанных врачом лекарств.

Правда, состояние моего друга встревожило меня, но еще больше взбудоражило и возмутило меня лечение, применяемое врачом. Мне хотелось тут же разорвать и выбросить вон выписанные им рецепты и сейчас же послать человека за ним. Но, смекнув, что моя поспешность может вызвать еще большее смятение в семье, я сдержался и попросил жену Фатуллы помочь мне приподнять больного в постели, подперев его подушками, и, погрузившись в безмолвие, стал дожидаться прихода врача.

Под вечер в комнату вошел низенького роста мужчина средних лет с тросточкой в руке и завернутым в газету пакетиком под мышкой. Я не знал его имени. Здесь звали его Мирзой. Как свой человек в доме, он спокойно разделся и прошел в глубь комнаты.

— Ну как? — спросил он, обращаясь к жене Фатуллы. — Не усилился ли кашель у него? Шла ли кровь горлом?

Женщина что-то ответила ему. Мирза проверил пульс больного, походил туда и сюда около него, взял в руку тросточку и зажал под мышкой свой сверток.

— Давайте пить лекарства в том же порядке, как я говорил. По ночам укрывайте потеплее... — поручил он жене Фатуллы и направился к выходу.

— Мирза! — бросил я ему вдогонку. — Этот бедняга обременен семьей. Сам в тяжелом состоянии. Пожалуйста, посерьезнее относитесь к его лечению.

Мирза покосился на меня:

— Откуда вам знать, серьезно ли я занимаюсь с ним или несерьезно? Медицина имеет свои правила, свои законы. Как требуется, так и лечим. Это вам не хлопковый план, чтобы перевыполнять, да еще досрочно...

Я был в дорожном костюме не первой свежести. Сидел я здесь тихо и смирно. Разумеется, я не мог произвести большого впечатления на врача. Мое замечание он принял как нечто не заслуживающее внимания и как будто не прочь был посмеяться над ним. Видно, Мирза принял меня не то за простака, не то за случайного путника. Я поднялся с места, взял в руки выписанный им рецепт, прочел написанные по латыни слова и сказал:

— Простите меня, доктор. Но выписанное вами лекарство дается обычно при женских болезнях. Мне кажется, что вы неправильно поставили диагноз.

Как только латинские слова сорвались с моих уст, Мирза опешил. Мне показалось, что он чуть заметно вздрогнул. Попытавшись овладеть собой, он взял у меня рецепт и, опустив голову, уткнулся в него. Он делал вид, что читает. На самом же деле он краснел все гуще, на висках его появились капельки пота. Видимо, от стыда не решался поднять голову. Я подоспел ему на выручку.

— Доктор, — заметил я. — По-моему, недуг больного заключается в следующем...

Из моего разговора Мирза понял, что я врач.

— Быть вам всегда здоровым! — воскликнул он. — Уж если в вас такая сила, что же не появлялись раньше?

Мирза переделал рецепт по моему совету и поинтересовался моей личностью. Дескать, кто и откуда родом? Я рассказал ему о себе.

Но Мирза был напуган, и это чувствовалось во всех его движениях. Он никак не мог прийти в себя. Выходя из комнаты, он попросил меня выйти с ним во двор.

— Я вижу, — сказал он, — вы человек благородный. Пожалуйста, не отнимайте у меня мой хлеб. То, что вы узнали обо мне, тут и должно остаться.

— Как вы думаете, Мирза, — просил я — поможет ли ваше лечение Фатулле встать на ноги?

Врач не ответил, размахивая тросточкой, зашагал прочь. Затем вдруг остановился и обернулся ко мне:

— Вы знаете, виноваты наши учителя. Знания, которыми овладели вы, нам не достались...

Я проводил врача до калитки. Прощаясь, он ухватился за мой локоть:

— Не откажите мне в моей просьбе. У меня семья, куча детей...

— Не бойтесь, Мирза, — попытался успокоить я его. — Никому худого я в жизни не сделал. Но об этом потолкуем позже.

Я засучил рукава и вплотную занялся лечением Фатуллы. Я нанял извозчика, послал в район человека закупить в аптеке кое-какие медицинские принадлежности. В квартире Фатуллы я создал условия, не уступающие условиям хорошей больницы.

Одной из причин быстрого улучшения состояния здоровья больного является его моральное, так сказать, самочувствие, покой,

душевное равновесие и уверенность. Фатулла верил мне как врачу и проникся уверенностью в результатах моего лечения. Он аккуратно выполнял все мои предписания, старался следить за собой. В то же время я не давал ему пасть духом, хандрить, заскучать. Хотя мне самому не очень — то было приятно засиживаться часами у постели больного, тем не менее я сидел, развлекал Фатуллу, занимал его беседой, заставляя его забывать о болезни. Во время же сна я обеспечивал полную тишину в доме.

Положение Мирзы заставляло задумываться и Фатуллу. Он тоже порой сердился и говорил о Мирзе, как о человеке, не чувствующем ответственности за свои действия.

На четырнадцатый день моего пребывания в деревне Фатулла был уже на ногах. Он окончательно оправился от болезни, окреп и поздоровел. В канун моего отъезда из деревни Мирза пригласил нас к себе в гости. Я заявил, что не сумею принять приглашения. Раньше Фатуллы против моего решения возразила его жена:

— Не обижайте человека. Вы возьмете и уедете в город. А нам нет-нет да и придется — таки встречаться с Мирзой. Как-никак, а все-таки мы нуждаемся в нем. Не надо, чтобы человек обиделся на нас по пустячному поводу. Не хорошо...

В тот же день я возвращался в город. Но, прежде чем уехать, я вызвал Мирзу на улицу и сказал ему:

— Сколько лет вы работаете здесь?

— Одиннадцать...

— Какой процент мертвецов лежащих в этих могилах, на вашей совести?

Мирза взглянул на кладбище, которое простиралось перед ним на склоне холма. Затем он перевел взгляд на меня и начал ковырять землю носком ботинка.

— Не они меня смущают. Больше всего я чувствую неловкость перед вами. Помните, я обратился к вам с просьбой? Любой

человек может рассчитывать на поддержку другого. Разве не так?

— Мирза, - сказал я, - ничего худого я вам не сделаю, как уже говорил вам. В этом можете быть уверены. Но о том, что вы лечите людей, как коновал, я не сумею промолчать. Будьте уверены в этом.

Мирза покраснел.

— Ясно, - ответил он после недолгой паузы. - Значит, что бы вы мне ни сделали, сделаете через органы власти, верно? Иными словами, сделаете и через власть и сами по себе!

— То есть как? - спросил я, ухватил Мирзу за руку и потянул его в сторону. Мы уселись на придорожный камень. - Сколько вы получаете жалованья?

— Сотен пять - шесть.

— Как вы думаете, хорошо ли будет, если я устрою вас на небольшую работу и в то же время помогу вам поступить на курсы по усовершенствованию врачей?

Мирза обрадовался:

— Учиться рад бы и башмаки мои... Лишь бы семья была как -нибудь обеспечена.

— Поскольку вы человек семейный, вам будут давать соответствующую стипендию. Будете получать также жалованье по месту работы. Поучитесь год-два и узнаете все, что нового появилось в науке. Вы поймете свою ошибку, поучившись, станете настоящим врачом и не будете в дальнейшем краснеть перед пациентами и своими коллегами.

Правда, Мирза поддавался каждому слову, но по выражению лица я видел, что он не верит моим обещаниям. Он все еще думал, что я разглашу его тайну, заведу где следует речь о его ошибке и исподволь добьюсь его отстранения от работы.

Больше ничего, однако, я ему не сказал. Попрощавшись с Фатуллой, выехал в город.

В выполнении обещания, данного мною Мирзе, мне помогли и

работники райздравицы. Спустя некоторое время я как-то встретился с Мирзой в городе. Он крепко пожал мне руку и поклялся совестью:

— Или я стану врачом, не уступающим Логману¹, или навсегда брошу профессию врача. Я все больше убеждаюсь в том, каким я был невеждой.

1940

Перевод Мир Джабара (Мусаева)

¹Логман — легендарный врач-мудрец.

СЫН

Крестьянин Мохбали был близок с Мешади Мохсуном и считал его честным и правдивым человеком. Продукцию своей единственной коровы он продавал только Мешади Мохсуну.

Он сливал сгустившийся в холоде зимней ночи каймак в медную кастрюлю, накрывал ее платком и относил на станцию, в лавку Мешади Мохсуна.

Каждое утро первым и наиболее важным делом Мохбали было это путешествие с каймаком. Если по дороге кто-нибудь приехавший из города — любитель каймака — останавливал его и просил за любую цену продать каймак, Мохбали не склонялся ни на какие посулы.

— Это каймак Мешади Мохсуна! — отвечал он неумолимо.

За сколько продавал Мохбали каймак Мешади Мохсуну, как тот рассчитывался с ним, мы этого не знаем.

Надо думать, этого не знал и сам Мохбали.

Он знал лишь одно, что, увидя каймак, Мешади Мохсун улыбался. Он клал янтарный мундштук на прилавок, протягивал Мохбали руку, спрашивал о его здоровье.

Затем он ставил посуду с каймаком на одну чашку весов, а на другую все имеющиеся в лавке гири, которых всегда не хватало. После этого Мешади начинал сыпать в ту же чашку лук, чеснок, сушеную алчу, орехи — словом, все, что ему подворачивалось под руку, пока обе чашки весов не оказывались на одном уровне.

Взвесив таким образом принесенный каймак, Мешади Мохсун брал огрызок карандаша и записывал на стене вес каймака, после чего он переправлял каймак в свою посуду и, возвращая кастрюлю Мохбали, прощался с ним.

Мохбали не интересовался ни гирями и взвешиванием, ни

расчетом, потому что на этот счет был совершенно спокоен. Он ожидал только, чтобы опорожнили его кастрюлю.

Когда Мешади Мохсун записывал на стене вес каймака, Мохбали казалось, что деньги за каймак со звоном сыплются ему в карман.

В то время кооператив в селении работал неважно, и Мохбали покупал все у Мешади Мохсуна.

Сдав каймак и собираясь уходить, Мохбали вдруг вспоминал, что жена поручила ему купить спичек и имбиря.

— Мешади, — говорил он смущенно, беря у Мешади Мохсуна спички и имбирь, — прости, что беспокою. Как теперь у нас со счетом?

Мешади Мохсун затягивался из мундштука, щурил один глаз от густого синеватого дыма и, повернувшись к стене, начинал считать по пальцам и щелкать на счетах.

— Значит, так, — говорил он задумчиво, — если при несешь еще одну кастрюльку каймака, будем как раз в расчете. Это ничего. Принесешь, тогда посмотрим. Слава богу, ты же не чужой.

Мохбали тотчас же соглашался.

— Ты говоришь, одну кастрюльку?

— Да, одну.

— Хорошо.

Как-то случилось, что Мохбали затемно должен был идти в поле, поливать люцерну. Он с вечера наказывал жене:

— Я буду в поле, и ты отдай каймак мальчику, как только встанет. Чтобы не задерживался. Пусть отнесет раненько, человек будет ждать.

Утром жена завязала кастрюлю в платок и, передавая восьмилетнему сыну, ласково ударила его по спине.

— Ну-ка, миленький, беги на станцию! Быстренько возвра-

щайся! На завтрак я тебе молочка оставила.

Взяв платок за узел, Надир отправился на станцию.

Было холодно, но солнце уже взошло, дорога была сухая. В канавке бежала мутная вода.

По шоссе проезжали фаэтоны, арбы, иногда пробегал автомобиль.

Бережно неся каймак, Надир часто заглядывал в кастрюлю, и каждый раз все сильнее ему хотелось попробовать вкусного каймака. Он раздвигал пальцами платок, поднимал крышку, и вид желтого, как янтарь, каймака неудержимо тянул его к себе, дразня аппетит.

Надиру, когда он был еще совсем мальчиком, был поручен уход за коровой. И зиму и лето, дома и в поле, он заботился о ней. Он пас корову до поздней осени. Когда травы уже не было, он взбирался на абрикосовые и тутовые деревья и сбивал листья. Надир собирал арбузные и дынные корки, приносил домой, резал на мелкие ломти и, присолив, угощал свою любимицу.

Он кормил и холил корову.

Ради чего?

Ради ее теленка, ради молока, ради простокваши!

Как-то он и каймак пробовал и знал его вкус, он ни разу в жизни не ел его досыта.

Почему-то каймак от коровы Надира доставался лавочнику Мешади Мохсуну; дома никто к нему не притрагивался. Каждое утро отец Надира уносил каймак его признанному хозяину Мешади Мохсуну и не успокаивался, пока этого не сделал.

Чем больше смотрел Надир на каймак, тем значительнее в его глазах становилась дававшая этот каймак корова.

Соблазн был слишком велик, и наконец Надир ему поддался. Мальчик засунул два пальца в кастрюльку и, сняв густой верхний

слой каймака, отправил в рот.

Какой был вкусный каймак!

Надира удивляло одно обстоятельство:

«Почему такую вкусную штуку мама мне не дает? Почему и отец не ест? Он ест сухой хлеб, а этот удивительный каймак относит Мешади Мохсуну?»

Детский ум Надира не мог понять этой тайны.

Размышляя обо всем этом, Надир дошел до станции, нашел лавку Мешади Мохсуна и поставил завязанную кастрюлю на прилавок.

Мешади Мохсун было чем-то занят, убирал лавку и даже не взглянул на Надира. Протянув руку к кастрюле, он развязал платок, снял крышку и, заглянув внутрь, оттолкнул кастрюлю.

— Забирай назад! — сказал он сурово. — Сливки слопал, а болтушку мне принес? Кто это купит?! Забирай, живо... И проваливай!

Взяв каймак, Надир отправился обратно. Он шёл грустный, и страх сжимал его сердце. Мальчик понимал, что, узнав о случившемся, отец больно прибьет его, и он тщетно силился придумать какое-нибудь оправдание.

Вечером Мохбали, с засученными до локтя рукавами, с лопатой на плече, вернулся домой, усталый и голодный. Обмылся теплой водой, поел, попил, передохнул и вдруг вспомнил о каймаке.

— Надир, — обратился он к сыну, — ты отнес каймак?

Надир, с выражением робости, в страхе перед возмездием, сидел прижавшись к стене.

— Да! — ответил он тихо.

Его ответ не удовлетворил Мохбали.

— А что он сказал? Взвесил, принял? Ты видел, когда он записывал на стене?

Вопрос остался без ответа. Надир молчал, и мать поспешила ему на выручку.

— Нет, — сказала она. — Он не нашел лавки Мешади Мохсуна и принес каймак обратно.

— Как это не нашел? — удивился Мохбали. — А где каймак?

Увидя кастрюлю с каймаком в нише, Мохбали остолбенел. Он почувствовал себя виноватым за то, что такое ответственное дело поручил ребенку, но, открыв кастрюлю и взглянув на каймак, сразу понял действительное положение вещей.

— Это ты, сосавший сучье молоко! Куда девались сливки? — грозно произнес Мохбали. И когда он обернулся к Надиру, мальчик, заплавав, прижался к матери.

— Не трогай его! Надир мне сам признался, что съел сливки! Не бей мальчика, я уже его наказала.

Мохбали никак не мог прийти в себя. Ему казалось, что дружба с Мешади Мохсуном, укреплявшаяся в течение многих лет, теперь разрушена. Своим поступком Надир разбил эту многолетнюю дружбу, словно глиняную миску. И как, наверное, зол Мешади Мохсун, как он бранил Мохбали.

— Ах, чтоб ты умер маленьким! Соблазнился на чужое добро, негодник! Что я завтра скажу Мешади?

Улучив момент, Надир выскользнул в дверь и удрал на улицу. Там было темно и пустынно. Неподалеку росла одинокая ракита. Прижавшись лбом к холодному стволу, Надир заплакал.

Сколько листьев сбивал Надир с этого самого дерева для своей коровы!

Весной он не пригонял ее домой, пока она не наедалась досыта. И корова давала полное ведро молока.

Но почему-то это молоко становилось чужим добром. Вот хотя бы каймак! Он принадлежит другому, и за то, что Надир

попробовал им полакомиться, его бранили и чуть не прибили.

Он думал о том, что, вернувшись домой, начнет просить отца о прощении, обещает под клятвой никогда более не прикасаться к чужому добру. Но мог ли отец простить его, поступившись интересами Мешади Мохсуна?

Завтра, при виде Мешади Мохсуна он разгневется еще сильнее и, выслушав упреки и недовольство своего друга, по возвращении, сильно отколотит Надира.

На другой день Мохбали особенно заботливо стал готовиться к встрече с Мешади Мохсуном. Он увеличил порцию каймака и пошел на станцию раньше обычного.

Увидя лавку Мешади Мохсуна закрытой, он удивился.

«Что я местом, что ли, ошибся?», — подумал он и стал оглядываться.

Внимательно присмотрелся к дверям лавки и, заметив повыше фунтового замка сургучную печать, все понял.

— Лавку запечатали! — сказал он с сожалением.

Постояв несколько минут, Мохбали прошел направо, потом налево. К кому ни обращался он, чтобы разузнать, что случилось с Мешади Мохсуном и где он, никто не мог сказать что-нибудь определенное.

— Он обвешивал народ.

— Налога не уплатил.

Эти ответы не удовлетворили Мохбали, и он решил, не теряя времени, отнести каймак Мешади Мохсуна на дом.

Дом Мешади Мохсуна оказался также запечатанным. Его сосед, сторож Пири, рассказал, что, боясь наказания за какие-то нечистые дела, Мешади-Мохсун ночью собрал свои манатки и сбежал.

Мохбали опять не удалось доставить каймак хозяину. Позабыв о несчастье своего друга, он теперь, весь был занят судьбой

каймака. Мысль о том, куда девать содержимое кастрюли, тяжелым камнем лежала на сердце.

Исчез хозяин того добра, которое он ежедневно с чувством радости от исполненного долга сдавал по назначению. Как же теперь быть? Хранить каймак долго нельзя.

Некоторое время Мохбали ходил по вокзалу, около буфета, мимо товарных вагонов, по площади, где стояли извозчики.

После долгих размышлений и колебаний он вернулся домой.

Поставив кастрюлю у очага, он задумался.

— Что случилось? — спросила жена. — Опять не взял? Да чего он хочет, чего не берет такой чудесный каймак? Ты не спрашивал его?

Мохбали рассказал жене, что Мешади Мохсуча нет, что его лавку запечатали.

Жена слушала с удивлением. А потом выпалила:

— Ну и к черту его, хорошо, что запечатали! А ты зачем расстраиваешься?

— Как же не расстраиваться, когда не удалось сдать его каймак?

— Откуда каймак стал его каймаком? Пусть камень упадет на его голову! Не берет, и не надо.

Эти слова жены словно сняли пелену с глаз Мохбали.

Он понял, что ведь на самом деле каймак не Мешади Мохсуна, а его — Мохбали. Корова — его, пасет корову его сын, каймак делает тоже его жена. И корм корове доставляется с поля, которое он обрабатывает и где растет его люцерна, зеленая, как изумруд, которую косит он сам своей собственной косой.

"Но как выходило до сих пор, что каймак попадал в лавку Мешади Мохсуна?

Мохбали затруднялся найти разгадку этой тайны.

Но, вспомнив об отношениях к лавочнику своих соседей, других крестьян, он медленно стал прозревать.

В самом деле, разве не в эту лавку уходили продукты крестьян, с огорода ли, от скота или с пашни?

Каким образом лавочник оказался соучастником крестьянина во владении его добром? Какое вообще имели право лавочники претендовать на бязь, сделанную рабочими, на крестьянское добро: хлопок, шерсть, пшеницу?

Лишь теперь понял Мохбали, почему советская власть запечатывает частные лавочки и наказывает тех, кто обирает и надует крестьян.

Он поставил кастрюлю на стол, И решительно сказал:

— Жена, накрывай скатерть! Наливай чай!

Жена принесла скатерть, налила в стаканы чай. Мохбали посадил сына рядом и, загребая ложкой каймак, клал его в рот поочередно, то себе, то Надиру.

— Кушай, сынок, кушай! До сих пор мы были несознательные. С каждой ложкой Мохбали все больше входил во вкус.

— Какой дурень теперь понесет продавать каймак! Чем мы хуже других?

Он радовался так, словно сделал важное открытие.

Надир ел каймак, и после каждой проглоченной ложки, робко поднимая глаза на отца, он удивлялся, почему отец на него не сердится, а еще угощает каймаком?

Мать вспомнила об имбирном чае.

— Мешади Мохсун закрыл лавочку. Теперь где ты будешь покупать имбирь? — спросила она мужа.

— А зачем тебе имбирь?

— Он помогает мне при боли в желудке.

Мохбали проглотил ложку каймака и ответил жене:

— Каждое утро наедайся досыта этим каймаком,— и если у тебя заболит живот, я отвечаю. Пусть теперь Мешади Мохсун сам пьет свой имбирный чай. Спасибо советской власти, что открыла нам глаза. Наконец-то нашелся настоящий хозяин каймака.

Надир не слушал их разговора.

Получив свободу действия, он уплетал за обе щеки каймак.

1940

Перевод Азиза Шарифа

УРОК ПРИЛИЧИЯ

На обратном пути он на два дня задержался в Тбилиси, чтобы осмотреть этот красивый и живописный город.

Возвращаясь из Ботанического сада, он остановился на мосту и стал смотреть на Куру.

Была весна. Под лучами послеполуденного солнца вода сверкала, как расплавленная бронза.

Ильяс долго смотрел на широкую водную гладь, и ему стало казаться, что река застыла, а он сам медленно плывет вверх по течению. Его мысль, как ласточка, скользила над речным простором.

Ему представлялись высокие горы свободного и гордого Кавказа, дикие скалы с орлами и соколами на вершинах, широкие степи с ланями, вольными табунами и джейранами, цветущие сады, оглашаемые соловьиным пением, плодородные поля, оживленные дороги, новые деревни, шумные города, мосты...

Кто-то тронул Ильяса за плечо. Обернувшись, он увидел своего школьного товарища Кямила, с которым не виделся много лет.

— Здравствуй, дружище! Ты сюда попал какими судьбами?

Ильяс пожал Кямилу руку, объяснил, что едет из Нахичевани и по пути решил осмотреть Тбилиси.

— А где ты остановился? — спросил Кямил.

— В «Орианте».

— Как тебе не стыдно! Ты же знаешь, что я живу здесь и у меня большая квартира. Никого бы ты не стеснил... Зачем было останавливаться в гостинице?

Ильяс почувствовал некоторую неловкость.

— Я знал, что ты живешь в Тбилиси, но адреса твоего не знал.

— Хороший друг нашел бы и адрес.

Кямил так горячо упрекал своего друга, что тот даже покраснел от стыда. Опустив смущенно голову, Ильяс искал повода, чтобы переменить разговор. Кямил, словно чувствовал это, деловым тоном спросил:

- А когда ты едешь?
- Сегодня вечером, девятичасовым.
- Ты правду говоришь?
- Клянусь жизнью друга. Вот и билет.

Говоря это, Ильяс подумал, что Кямил потащит его к себе на квартиру, и решил, если придется задержаться, осмотреть еще раз Тбилиси с другом, хорошо знакомым с городом, посетить выставку грузинских художников, а если удастся, побывать и в театре.

Но, узнав, что Ильяс едет вечером, Кямил как будто слегка даже обрадовался.

— Да ведь я как раз искал знакомого, едущего в Баку! Я хочу отправить свояченицу и искал ей надежного спутника... Она неопытна, впервые выезжает из Тбилиси. Ах, как хорошо, что я тебя встретил! Пойду сейчас же за билетом.

Ильяс был очень доволен таким оборотом дела. Да и всякий на месте Ильяса был бы рад. Ехать в мягком вагоне в приятном женском обществе...

— Будь покоен! — сказал Ильяс. — Я постараюсь оказать в дороге все услуги твоей родственнице. Если у тебя есть еще какие-нибудь поручения, я к твоим услугам.

— Очень тебе благодарен. С меня достаточно, если ты исполнишь эту мою просьбу. Где мне найти более надежного человека, чем ты. В каком ты едешь вагоне?

Ильяс сообщил, что в одиннадцатом, мягком, вагоне, а про себя подумал, что было бы замечательно ехать с девушкой в одном купе.

— Хочешь, поедem вместе раздобывать билет. В моем купе

имеется свободное место. Попросим кассира выдать нам билет на это место. Это будет удобнее. Зачем ей ехать в другом купе?..

Друзья поехали на вокзал. Взяли билет на свободное место в том же купе. Ильяс был очень доволен, что все устроилось, как он хотел.

Прощаясь, они условились встретиться на вокзале у вагона за полчаса до отхода поезда.

Кямил отправился домой собирать вещи уезжающей родственницы.

После его ухода у Ильяса сильно застучало сердце. Словно, сам успокоившись относительно поездки свояченицы, Кямил отнял его собственное спокойствие. В своей походке, в движениях Ильяс обнаружил какую-то суетливость и ненужную поспешность, а в груди проснулось ожидание, связанное с надеждой.

Охваченный какими-то смутными представлениями и почему-то оглядываясь по сторонам, Ильяс пошел бродить по улицам и безотчетно очутился в кондитерском магазине. Его привел в себя голос продавца:

— Каких хотите, товарищ?

Ильяс выбрал дорогие конфеты в изящной упаковке. Затем зашел в парфюмерный магазин, где взял два флакона духов, мыло «Гюльджахан», зубную щетку, хлородонт.

Тут он вспомнил, что его полотенце давно просится в стирку и что стыдно доставать его при людях. Но магазины были уже закрыты. Проходя мимо портняжной мастерской, он увидел на витрине что-то похожее на полотенце и вошел.

— Что вам угодно? — спросил его человек, стоявший за прилавком.

Ильяс перегнулся через прилавок и стал разглядывать висевшие на стене дамские платья и вышитые сорочки. Хотел было уйти, но,

о чем-то подумав, ухватившись за мелькнувшую мысль, обратился к продавцу.

— Сосед, — сказал он вкрадчиво. — Я к вам зашел не за платьем. Человек я приезжий и нуждаюсь в вашей помощи. Мой товарищ передал мне полотенце, и я его вез с собой. По дороге его украли. Товарищ мой из деревни, предлагаю ему деньги за полотенце, не берет. Верни, говорит, мне такое же полотенце. Мне надо спешно ехать, а магазины уже закрыты. Помогите мне достать где-нибудь у ваших знакомых хорошее полотенце. Я заплачу сколько попросят.

Продавец помолчал с минуту, подумал. Он поверил рассказу Ильяс и искренне хотел помочь ему.

— Можно найти! — наконец сказал он. — Тут поблизости есть дамская мастерская. У хозяйки вы найдете какие хотите полотенца. Пройдите туда...

Тут он подозвал мальчугана лет десяти — двенадцати.

— Мишка! — сказал он ему. — Проводи этого товарища к Наташе, он хочет купить кое-что.

Наташа показала Ильясу простое бумажное полотенце, но Ильяс отверг его. Тогда она принесла другое полотенце, с вышитыми на концах петухами.

— А как это? — спросила она. — Такие у вас любят. Я знаю.

— Нет, сестра Наташа, — с достоинством ответил Ильяс, — это старые узоры. Раньше эти узоры нравились любителям петушиного боя. Но сейчас выбирать не приходится. Я тороплюсь на вокзал. Сколько вам заплатить за него...

Забрав полотенце, Ильяс поехал на вокзал, всю дорогу думая о свояченице Кямила.

«Правда, мы с Кямилом друзья, но мы давненько с ним не виделись. Я слышал, что он живет в Тбилиси и удачно женился на

красивой девице, местной уроженке. Я слышал, и вообще известно, и поэты об этом писали, что тбилисские девушки отличаются особенной красотой. Кроме того, они очень культурны, говорят на нескольких языках. И я проведу целые сутки в обществе такой девушки! Надо быть начеку, обдумывать каждое движение, каждое слово. Надо вести себя так, чтобы она и в Баку не забыла меня».

Когда Ильяс приехал на вокзал, было ровно восемь часов. Он быстро вошел в вагон, умылся и открыл чемодан, чтобы достать чистую сорочку.

В это время его окликнул проводник.

— Это вы сейчас умывались?

— Да, я.

Проводник молча выписал квитанцию и, протягивая Ильяс, сказал:

— С вас три рубля штрафа. Во время стоянки поезда нельзя пользоваться уборной.

Будь это в другое время, Ильяс ни копейки не дал бы проводнику и поднял скандал. Но сейчас положение было иное. Потребуй проводник не три, а сто три рубля, он бы не спорил.

Достав из кармана пять рублей, Ильяс молча вручил их проводнику и занялся своим делом.

Надев свежую сорочку и взглянув на себя в зеркало, он обратил внимание на то, что давно небрит. Это обстоятельство очень его опечалило.

Замкнув чемодан и поставив его на полку, Ильяс кинулся в парикмахерскую. Там было человек восемь ожидавших. Первым в очереди сидел мужчина со смуглым худым лицом, на вид добродушный и приветливый.

Ильяс подошел к нему и стал шептать на ухо:

— Дорогой товарищ, мой поезд отправляется через четверть часа, а борода меня прямо изводит... Может быть, вы уступите вашу очередь...

Смуглый мужчина уступил, и Ильяс сел на парикмахерское кресло.

— Пожалуйста, мастер, приведите меня в порядок.

Когда он, бритый и надушенный, поднимался в вагон, до отхода поезда оставалось десять минут.

На перроне, словно муравьи, бегали и суетились люди с чемоданами, корзинами, кулками, женщины тащили детей. Все торопились, каждый разыскивал свой вагон.

Проводники с фонарями проверяли билеты.

Ильяс не спускал глаз с выхода из зала ожидания, ожидая своего друга, вернее его свояченицу. Ему представлялось, что сейчас на перроне покажется носильщик с двумя чемоданами, перекинутыми через плечо, возле него будет торопливо идти Кямила и смотреть на номера вагонов, а рядом с ним — девушка в легком весеннем шелковом платье...

Ильяс решил устремиться к ним навстречу, как только они появятся на перроне, и привести в вагон, освободив их от труда его разыскивать.

Он сообщил проводнику, что второе место занято. Затем он велел принести постель для своей будущей спутницы.

Когда проводник принес постель и хотел ее постлать, Ильяс остановил его.

— Не надо раскрывать, — сказал он повелительно. — Я потом вас сам позову.

Ильяс сообразил, что тбилисская красавица, увидев постель уже застланной, подумает, что постель бесплатное приложение к билету, и ей будет невдомек, насколько внимателен и

предупредителен ее сосед.

«Пусть тбилисская красавица узнает, что есть человек, жертвующий ради нее, синеглазой, пятирублевкой!»

Однако его замысел не был понят проводником, который решил, что пассажир раздумал брать постель для знакомого.

— Если не хотите, я унесу! — сказал он Ильяс.

— Вот вам деньги, — рассердился Ильяс. — Только прошу вас, товарищ, еще не стелить. Когда придет пассажир, я вас позову. Поняли?

Проводник ушел.

Ильяс начинал не на шутку беспокоиться о друге, который опаздывал.

«Вероятно, он ошибся и ищет поезд на другом пути...»

Он покинул вагон и побежал, прыгая через рельсы, искать Кямила у других поездов. Обегав пути, он прошел по вагонам. Но нигде не обнаружил друга и его свояченицы.

Видя хорошеньких девушек в вагонах, слыша их melodичные голоса и смех, он завидовал поклонникам, явившимся с цветами, и сердце его сжималось от нетерпения. Наиболее понравившихся ему девушек он мысленно сравнивал со свояченицей Кямила и безапелляционно решал, что, конечно, она красивее и обаятельнее всех их.

Он был уверен, что как только он сядет рядом с тбилисской девушкой и заговорит с ней на азербайджанском языке, все пассажиры и даже эти щебечущие с нарядными девушками молодые люди раскроют рты от изумления и в душе позавидуют его счастью.

Когда до отхода поезда оставалось три минуты,

Ильяс, усталый и расстроенный, вернулся в свой вагон.

Увидя столпившихся у его купе людей, он ускорил шаги, решив,

что девушка уже пришла и все пассажиры, каждый под каким-нибудь предлогом, собрались у дверей купе, чтобы полюбоваться ею. Он почувствовал даже раздражение от такого проявления некультурности с их стороны.

Растолкав публику и заглянув в купе, он увидел Кямила, который стоял на лесенке и, обливаясь потом, совал на верхнюю полку чемоданы.

От радости сердце запрыгало в груди Ильяс, и он едва мог выговорить:

— Где же ты был до сих пор, Кямил?

Кямил улыбнулся.

— Входи, входи! — сказал он. — Познакомься с моей свояченицей.

Стоявшие у дверей расступились, и Ильяс вошел в купе. Там сидела у столика тщедушная, уродливая старушонка.

— Будь знаком! — сказал Кямил.

Старушонка протянула Ильясу тонкую руку, шершавую, как древесная кора. Нехотя он до нее дотронулся и ощутил невольный холод. Ильяс застыл в тягостном недоумении. А Кямил, будто только этого и ждал, вытер пот платком и, попрощавшись, перешагнул через порог.

— А твоя младшая свояченица? — пробормотал Ильяс. — Ведь ты говорил...

Кямил прекрасно понял, что хотел сказать Ильяс, и прервал его на полуслове:

— Нет, младшая свояченица остается у меня. Тебе я поручаю эту и вполне надеюсь на тебя. Счастливого пути!

Едва Кямил ушел, у входа в купе появился проводник и кивнул в сторону постели.

— Можно стелить?

Услышав вопрос проводника, старуха подняла голову и посмотрела на свернутую постель. Красными от негодования глазами Ильяс посмотрел на старуху, потом на постель, перевел взгляд на проводника и не был в силах что-нибудь сказать. Махнув рукой, он процедил сквозь зубы:

— Стели...

Поезд мчался. Каждый занял свое место. В купе остались Ильяс и старуха.

Как ни старался Ильяс подавить свое огорчение, забыть об обманутых надеждах, ему это не удавалось. В тесном купе это было невозможно: старуха колола ему глаза.

Ильяс горько жалел и удивлялся, как он мог забыть о возможности существования на свете и таких своячениц, как эта карга. Лишь теперь он понял, почему его приятелю так трудно было найти попутчика для свояченицы.

«Черт с ней! — стал он наконец утешать себя. — Тут она не будет меня беспокоить. А в Баку постараюсь отделаться от нее, как только приедем на вокзал».

Глядя в темноту окна, Ильяс весь ушел в свои мысли. А старухе хотелось поболтать, и она то и дело обращалась к спутнику:

— Что это за станция?.. Как будто дождь идет?.. Вы давно живете в Баку?..

Ильяс, не оборачиваясь, односложно отвечал: «да», «нет» или отмалчивался, не вслушиваясь в ее слова.

Вдруг кто-то потянул Ильяс за рукав.

Обернувшись, он увидел раздраженное лицо старухи, губы у нее тряслись.

— Я ведь вам говорю... Выйдите на минутку. Мне надо раздеться.

Ильяс, опустив голову, вышел из купе.

Поутру, когда поезд мчался, купаясь в первых лучах восходящего солнца, в вагонах началась оживленная жизнь.

Одни, одевшись и приведя себя в порядок, смотрели в окна, другие собирались идти в вагон-ресторан завтракать, третьи закусывали тут же, в купе.

Разносчики из вагон-ресторана проходили с полными корзинами пирожного, конфет, бутербродов, икры, лимонов.

Проснулся и Ильяс. Скосив глаз, он увидел внизу старуху уже одетой.

Он спустился.

Старуха достала из чемодана синий чайник.

— Если я утром не напьюсь чая, — сказала она, — у меня кружится голова и меня мутит. Пожалуйста, детка, возьми мне кипятку на станции.

Ильяс, не ответив ни слова, обозленный, вышел из купе.

«Как же, держи карман шире! — думал он с раздражением. — Другие проводят время с очаровательными, как пери, девушками, а мы будем таскать бабушке воду. Этого тебе не дожидаться, старая ведьма!...»

Ильяс остался в коридоре, чтобы во время остановки не попасться на глаза старухи.

Когда поезд остановился на большой станции, Ильяс перешел в другой вагон и, разглядывая суетившихся по перрону пассажиров, пытался обнаружить, не несет ли кто-нибудь старухин синий чайник, но чайник не появлялся.

Лишь после отхода поезда он вернулся в свое купе и, скинув ботинки, хотел лечь.

Старуха продолжала сидеть в том же положении. Чайник стоял на столике. Ильяс убедился, что старуха не пила чая, но отнесся к этому равнодушно.

— Почему это, — вдруг сказала старуха, — некоторые мужчины не имеют совести?

Ильяс решил, что старушка имеет в виду своего зятя, который поручил ее чужому человеку, а не провожал сам. И, решив раздуть ее негодование, поддакнул:

— Как ваш зять?

— Нет, как ты!

Ильяс не поверил своим ушам.

— Это вы мне говорите?

— Да, тебе, бессовестному.

Краска залила лицо Ильяса. Он растерялся.

— Вы что, бабушка, с ума спятили?

— Это ты спятил с ума. Разве трудно было принести мне кипяток?..

Ильяс вышел из терпения. Он хотел разругать старуху и наговорить ей дерзостей. Но побоялся, что она начнет кричать и затеет скандал.

— Может быть, тебе хочется еще как-нибудь поездить на моей шее? — сказал он раздраженно, но негромко. — Будь ты приличная особа, твой зять не подкинул бы тебя мне.

Едва успел Ильяс сказать эту фразу, как женщина истерично завопила «вай!» и упала ничком на койку.

На крик прибежали пассажиры.

Увидя старушку в обмороке, один пассажир в военной форме взял ее за руку, прощупал пульс и попросил принести воды.

Ильяс стоял бледный, испуганный. Он боялся, что старуха, придя в себя, начнет его срамить при пассажирах.

Видя его растерянность, военный сказал с раздражением:

— Чего вы стоите, товарищ! Помогите уложить женщину на спину.

Ильяс быстро взял старуху за руку, и они вдвоем перевернули ее на спину.

Как ни старался Ильяс держаться подальше от старухи, это не удавалось. Все принимали ее за мать Ильяса.

— Массируйте руки! Посильнее! Быстрее, — командовал военный.

Ильяс вынужден был с отвращением массировать морщинистую руку старушки.

После долгих усилий старуху привели в чувство. Подняв голову, она села и знаком попросила дать ей воды.

Ильяс побежал за водой.

Пассажиры постепенно разошлись, давая Ильясу наставления, как обращаться с больной. И он вынужден был, делая заботливое лицо, подтверждать:

— Да, да! Сделаю! Хорошо! Непременно...

Оставшись наедине со старухой, Ильяс спросил:

— У вас и раньше бывали такие припадки?

— Раньше никто меня так не оскорблял и не доводил до припадков.

— Чем же я оскорбил вас?

— А это по-твоему не оскорбление?! Я потребую, чтобы ты на суде доказал, что я «неприличная»,

Ильяс, перепугавшись, стал убеждать старушку:

— Ведь я же не в том смысле сказал это, тетенька. Я хотел сказать, что вы слабы здоровьем, что вы больны...

— Сам ты болен. Мое здоровье подорвал ты сегодня, и это недешево тебе обойдется. И ты понесешь большую ответственность, чем если бы совершил преступление, покушаясь на честь девушки, которую ты рассчитывал заполучить.

У Ильяса в горле пересохло. Он уже не жалел ни о напрасных

заботах о туалете, ни о разбитых надеждах, ни о деньгах, потраченных на полотенце и постель старухи.

Его занимала лишь одна забота, как бы умаслить, чтобы эта ведьма не поносила его имени и даже не вспоминала о нем в Баку?

1940

Перевод Азиза Шарифа

ШЕРБЕТ¹

Как-то я провел свой летний отдых в одной из благодатных деревушек Советской Украины. Тогда же я и узнал Остапенко Василя Тарасовича, старательного и аккуратного труженика, в небольшой, но чистенькой и опрятной хате которого я нашел приют. Высокого роста, с густой русой бородой, дядя Василь отличался исключительным трудолюбием. Овдовев лет пять назад, он не женился вторично только лишь потому, что не мог доверить судьбу своих детей мачехе, и один воспитывал и растил их, один заботился о них. А детей у Остапенко было двое — дочь двадцати одного года, которая училась в городе в медицинском институте, и сын — парнишка четырнадцати лет, ходивший в сельскую школу и в свободное от занятий время помогавший отцу по хозяйству.

Василь Тарасович никогда не сидел сложа руки. Его можно было увидеть то в районном книжном магазине, где он выбирал учебники сынишке, то у медицинского института, где он поджидал дочь, то у сапожника, которому он отдавал в починку обувь своих детей, то у порога собственной хаты, где он, остановив сына, на ходу пришивал ему оторвавшуюся пуговицу.

Домовитый и хозяйственный, Василь Тарасович был прежде всего искусным пчеловодом. В его большом, густо засаженном деревьями и цветами дворе, который полого тянулся вниз к обрыву, была пасека в десять—двенадцать аккуратненьких ульев. Большую часть своего времени он уделял пчелам — этим чистоплотным, полезным и трудолюбивым созданиям. Стоило появиться в хате гостю, Василь Тарасович сейчас же брал нож и тарелку и исчезал за густой стеной листвы. Помешкав недолго у ульев, он возвращался обратно со сладкими и пахучими сотами на

¹ Шербет — прохладительный напиток, подслащенная сиропом вода.

тарелке, сопровождаемый хлопотливыми пчелами. Дядя Василь знал толк в пчеловодстве. Он умел извлекать пользу из своих питомцев, но умел и поухаживать за ними. Ульи у него всегда находились в отличном порядке, пчелы были сыты и здоровы. Он хорошо знал цену меду и воску.

По известным причинам мне в этом году не удалось свидеться с Остапенко. Места, где он живет, кишели незваными «гостями», с которыми он не избежал встречи, хотя встреча была ненавистна ему и не совсем благополучно сошла для «гостей».

Как бы ни встревожила война Остапенко, он все же не оставил своих любимых занятий, не остыл к ним. Наоборот, перед лицом грозящей стране смертельной опасности он стал работать с удвоенной энергией.

Когда молодежь, вооружившись, шла на врага, Остапенко проводил в армию свою дочь, только ставшую врачом. Когда в стране начались сборы средств в фонд обороны, дядя Василь упаковал в ящик вынутые из ульев соты душистого меда и отнес этот ящик в сельсовет.

— Не стыдится тот, кто отдает все, что имеет, — сказал он. — Не взыщите. Примите от меня вот это!

При первом же призыве районных организаций о замещении мест ушедших на фронт опытных земледельцев Остапенко послал сынишку-подростка на курсы механизаторов и вскоре посадил на трактор. Война разгоралась все сильнее, вооруженные до зубов фашистские полчища рвались к крупнейшим центрам нашей родины. Дядя Василь не мог усидеть дома. Он пошел к председателю сельсовета, который руководил вновь созданным отрядом народного ополчения.

— Дай и мне, Михаил, винтовку! — попросил он.

Председатель прекрасно понимал волнение и чувства,

владевшие Остапенко. Тем не менее отказал в винтовке.

— Тебе незачем волноваться и тревожиться. Ты трудишься на пасеке, сеешь и жнешь. Это тоже своего рода фронт. Нам нет нужды вооружать пожилых людей. У нас достаточно сил и возможностей, чтобы разгромить врага и без твоей помощи. Ступай, займись своим делом!

Так, Василь Тарасович продолжал заниматься своим делом. И в самые страшные минуты он не терял самообладания, был спокоен и уверен за родину.

Случилось, однако, так, что советские войска отошли по приказу командования и временно оставили места, где жил Остапенко. Однажды, когда Василь Тарасович выходил из хаты, два дюжих фашистских солдата загородили ему дорогу. Они втоптали старика обратно в хату и тут же потребовали поесть, приказали подать меду. Василь Тарасович не знал языка пришельцев и не желал знать. Его гордость не мирилась с унижительным состоянием покоренного, и в угрюмом молчании он стоял как вкопанный. Лицо залила пунцовая краска, в расширенных от обиды глазах его сверкали молнии — предвестники надвигающейся бури. Белобрысый гитлеровец посмотрел в гневные глаза Остапенко и струсил. Он сразу выхватил пистолет, но в это самое время его окликнул другой гитлеровец, стоявший на крыльце. Солдат с пистолетом обернулся и увидел товарища, который, запрокинув голову, что-то пил из большой чаши. Напившись досыта, он сказал что-то и протянул чашу товарищу. Это был шербет — растворенный в кипяченой воде мед, который дядя Василь приготовил еще вчера для раздачи детям своих односельчан-фронтовиков. Гитлеровцы с волчьим аппетитом выдули весь шербет и с наглостью изголодавшихся попрошайек спросили хозяина:

— Откуда это?

— Давай еще!

Василь Тарасович молчал. Каждое слово гитлеровца, коверкавшего русский язык, пулей вонзалось старику в грудь. Он молчал, но его суровые глаза не могли молчать. Смерив ненавистным взглядом солдата с ног до головы, он посмотрел на пистолет, сверкавший в его руке, и затем перевел взгляд на свой аккуратный двор. Фашистские солдаты поняли смысл его взгляда. Потому-то солдату с пистолетом захотелось позабавиться, оскорбить человеческое достоинство в Остапенко, задеть в нем чувство гордости. Постучав указательным пальцем по перилам крыльца, он посмотрел на Остапенко и тоном победителя повелел:

— Дай меду!

Василь Тарасович опять не ответил. Подняв поникшую голову, он посмотрел фашисту прямо в зрачки. Казалось, он пришел в душе к твердому и непреклонному решению и сейчас думал о том, как и с чего начать осуществление своего страшного приговора. Думал он недолго. Вдруг сорвался с места, шагнул в хату и тут же выскочил обратно, держа в руке большой, остро отточенный нож.

Перепуганный фашист опять потянулся за пистолетом. Не отрывая глаз от старика, наблюдая за резкостью и стремительностью его движений, он наконец понял, что тот собирается идти к улью за медом. Гитлеровец увязался было за ним, но обозленные пчелы быстро отогнали его прочь.

Пасмурный и сурово сосредоточенный, Остапенко работал быстро. Нервным движением он отрезал соты, складывал их на тарелку и со стуком захлопывал крышки ульев. Казалось, пчелы чувствовали что-то неладное в движениях своего хозяина. Ведь добрый старик всегда подходил к ним с нежной песенкой на устах, всегда ласкал и лелеял их, стараясь не причинить им ни малейшего

зла или вреда. Стоило ему уловить жалобу в звуке, издаваемом какой-либо пчелкой или почувствовать слабость ее крылышек, как он осторожненько брал ее на ладонь и давал ей попить сиропу, как дают корм прирученной птичке. Он не сердился, когда в улье оказывалось мало меда. И не трогал соты в этом улье. Наоборот, смачивал сахар в тарелке и клал в улей. Сейчас пчелы ощущали в движениях своего хозяина что-то чужое, что-то несвойственное характеру этого благородного добряка и, будто спрашивая о причинах его странного поведения, взбудораженным роем кружились вокруг его головы.

Василь Тарасович отлично понимал своих питомцев. Он думал о том, кому их оставить, если ему придется-таки покинуть эти места, если обстоятельства вынудят его к этому. Теперь эти ульи, эти маленькие домики, в которых ютились его пчелы, не представлялись Остапенко ничем не примечательным, простым и обычным имуществом, простой и обычной собственностью. Они составляли частицу его долгой и хлопотливой жизни, его дум и чаяний, его приятных воспоминаний о счастливо проведенных годах. Они воплощали в его глазах пестрый цветник, выращенный его трудом и заботами. Он видел в них смысл своей долгой жизни, радость незабываемых дней своей безмятежной юности.

Василь Тарасович поставил тарелку с аккуратно нарезанными сотами на стол. Фашисты подвинули стулья и сели.

— Принеси хлеба, дай еще шербета!—приказали они.

Остапенко растворил изрядный кусок сотового меда в воде. Черпнув чашками шербет, солдаты подняли их как бокалы:

— За здоровье старика!

— Нет, за пчел выпьем!

Оба залились хохотом и поднесли чашки к губам. В это время Остапенко опустив липкое лезвие ножа в ведро с водой, мыл и

чистил его. Вдруг солдат с пистолетом, который первым выпил шербет, ахнул и, взыв от боли, рухнул на пол. Тут же раздался гневный голос Остапенко:

— Это тоже шербет! Шербет рока! Пей и успокойся!

С этими словами он поднял сжатый в руке острый нож и вонзил широкое стальное лезвие в грудь второго фашиста.

1941

Перевод Мир Джабара (Мусаева)

РАНЫ РОДИНЫ

Подобно тому как бросается в воду пловец, точно так же я, выскочив из окопа, бросился вперед навстречу огневому шквалу на передовой. Ни оглушительный грохот боя, ни ослепляющие вспышки разрывов, ни тучи пыли и дыма, которые, обволакивая все кругом, будто заслоняли от меня ужасы войны, не казались мне чем-то необычным, странным. Будто я сам являюсь одной из тех пуль, которые со свистом проносятся кругом, сам грохочу, сам горю тем пламенем, которое полыхает, подобно полотнищу знамени, на горизонте в этот серый и душный полдень. В стремительной горячке боя я будто горел, сам не замечая того. Но, когда глаза мне заслонила кровь, у меня вдруг будто подкосились ноги. Я рухнул на землю, как подрубленное дерево. И будто кто-то говорил мне: «Оставь, хватит!» Но я и слышать не хочу об этом. Напрягая все свое внимание, я пытаюсь ощутить свои раны, прийти в себя. Но это мне не удастся. Я чувствую, что какая-то тепловатая жидкость вливается в мое тело и, вливаясь, отрывает меня от привычного мира и уносит в какой-то иной мир — мир покоя и забвения. Но я не хочу оторваться от привычного мира. Хочу видеть, слышать, думать. Под действием какой-то неведомой силы у меня слипаются глаза, гудевшие все время, как кузнечный горн, уши внезапно глохнут, и боль, которую я ощущал в голове, разлившись по телу, уводит меня куда-то. Все кругом внезапно погружается в безмолвие и мрак, все, кто находился подле меня, превращаются сначала в пули, затем в камешки, постепенно тают, уменьшаются, растворяются в воде и исчезают.

Товарищи, которых ранило раньше меня, беседовали между собой. Один говорил о своей неосуществленной мечте, другой — о перенесенных им муках, третий — о том, как он преодолел в себе

страх смерти. Я не думал обо всем этом и, возможно, не пережил того, что пережили мои товарищи. Очнувшись в теплой и чистенькой комнате, в которой царила полная тишина. Лежал я на удобной койке, а над моей головой стоял убежденный сединой врач и улыбался мне. Молоденькая девушка вытирала пот с моего лица и поила меня не то водой, не то холодным чаем. Увидев все это, я понял, что возвращаюсь к жизни. И кажется, возвращают меня эти вооруженные большим смыслом, заключенным в толстые книги, врачи и сотканые из нежности и милосердия девушки. Куда возвращают? Я возвращаюсь из того мира бесчувствия и молчания, куда я провалился вдруг и где пребывал столько времени.

В душе у меня — радость. На устах — смех. Лицо мое, изможденное, обескровленное, состоящее из костей, обтянутых тоненькой кожей, осветилось улыбкой. Затем откуда-то вдруг возникла мысль и захватила меня. Куда я возвращаюсь? К той ли жизни, которой я жил двадцать пять лет, туда ли, где я родился, вырос, уставал, отдыхал, горевал, радовался? А что там есть такого, чего я не видал еще?

Этого я ни из книг не вычитал, ни от врача не слышал. Но мне кажется, что больной человек больше живет духовной, нежели физической жизнью. Его ведут не твердые шаги, не сильные ноги, не несгибающиеся колени, а неосязаемые, неуловимые думы. Возможно, что в пору, когда человек здоров, эти думы не находят доступа к его голове. Водоворот жизни оттесняет их, преграждает им путь, лишает, так сказать, пробойной силы. А вот когда лишнее возможности двигать руками и ногами человеческое тело распростерлось на койке, тогда оно целиком находится во власти этих самых крылатых дум. Я думаю и убеждаюсь в том, что возвращаюсь к жизни не из праздного любопытства, не для того, чтобы вступить в игру, не ради того, чтобы есть и пить за столом.

который ломится от яств, разбивать хрустальные бокалы, говорить и выслушивать пышные тосты. Не затем, чтобы сидеть за огромным начальническим столом и, облокотившись на зеленое сукно, кричать на подчиненных, подписывать красными чернилами приказы и указы. Не нужны мне ни девушки, ни веселые катания на лодке, ни хохот, начинающийся до и кончающийся после рассказываемых анекдотов.

Во мне заговаривает странное желание. Я мечтаю о второй жизни. Хочу, чтобы моя первая жизнь стала для меня школой, предметным уроком, чтобы она была посвящена изучению этого сложного мира, изучению людей, обычно таких замкнутых и скрытных. И, если я выдержу экзамен, пусть будет предоставлена мне возможность жить второй, истинной и осмысленной жизнью. Я бы знал цену такой жизни. Надо, чтобы я снова стал малюткой, чтоб бросался в объятия матери, этой доброй и ласковой женщины, и вбирал в себя тепло ее нежности. Чтоб я ползал по прохладной земле у порога отцовского дома, чтоб слышен был мой голос, чтоб, падая и вставая, я делал первые шаги, чтоб для меня настали дни, когда ты умеешь отличать белое от черного, сладкое от горького, теплое от холодного, — беззаботные дни малыша...

О, эти дни!.. Разве фантазия в состоянии вернуть их обратно во всем их чарующем многообразии?.. Я играл у арыка, который проходил мимо нашей калитки. Нежный ветерок, струясь с тонких, покрытых острыми листьями веточек ивы, играл моими взлохмаченными, похожими на клочок нерасчесанной шерсти волосами, рассыпая их по лбу и закрывая ими мне глаза...

Где теперь мои друзья-товарищи? Где мои товарищи, с которыми я играл в бабки, в мячик, в прятки? Где они, мои ровесники, с которыми я дружил, ссорился, мирился, расходился и опять сходилась?

Вот всем этим я и не насытился?

Если мне будет дано жить сто дней, то девяносто девять из них я прожил бы в своем доме, своем краю, на своей земле и не насытился бы.

О чем говорить? О приятно проведенных часах ли, счастливых днях ли, прелестных вечерах ли?..

Нигде эти воспоминания не приносят столько радости, сколько на фронте. Солдат оставил их там, в тылу, за спиной. Он пришел сюда во имя того, чтобы защищать их, отстоять их, ликвидировать опасность, грозящую им.

Проведав о том, что решено эвакуировать меня из полевого госпиталя в тыл, ко мне пришли двое моих товарищей. Одним из них был мой ровесник и школьный товарищ — Насреддин. Нас обоих взяли в армию с университетской скамьи. Каждый раз, когда увижу Насреддина, мне вспоминается его школьный ранец. Он у него был очень красив и добротен. Насреддин носил его за плечами на длинных ремнях. Иногда мы хватали за ранец Насреддина и дергали его. Насреддин норовил повернуться назад, чтобы узнать, кто дергает его, но не успевал и злился. Сейчас Насреддин является помощником нашего командира, который делится с ним всеми своими тайнами и секретами и в трудные минуты не расстается с ним.

Со вторым я познакомился на фронте. Это — парень из деревни Колайыр, сын тетушки Мины — Лятиф. Отец его давно умер. Мать же была деревенской активисткой. На женских собраниях ее постоянно можно было видеть стоящей на ногах за столом президиума, стучащей ключом по чернильнице и призывающей участниц собрания к порядку. Она всегда старалась председательствовать, хотя сама очень мало подходила к этой роли.

Лятиф не похож на свою мать. Это скромный и послушный

парень. Будучи двумя годами младше нас, он и ведет себя соответственно своему возрасту. Стараясь угодить нам, он, не дожидаясь каких-либо просьб или указаний, выполняет за нас всякую мелкую работу, порой приносит нам поесть и попить. Во время походов, когда объявляется привал, Лятиф сейчас же берется за дело, очищает и выравнивает место для отдыха, утрамбовывает каблуками землю для наших «постелей», и мы, положив под головы противогазы, падаем замертво на выровненном им клочке.

Так вот, эти двое парней пришли ко мне попрощаться и заодно передать через меня приветы своим и кое-какие поручения. Мне, однако, не разрешалось ни говорить с кем-либо, ни слушать какую-либо весть, могущую взволновать меня. За семь дней пребывания в полевом госпитале я видел только врача и одну сестру. Никто не заходил ко мне, никто не заговаривал со мной, и это очень огорчало меня. Особенно тяготило меня то, что, оберегая мой покой, сестра никого не подпускала ко мне. Одних она выпроваживала без разговоров, а других обманывала: дескать, больной спит. На этот раз это не удалось ей. Я увидел Насреддина и Лятифа из-за полога палатки и тотчас же услышал голос сестры:

— Товарищи бойцы, больной спит. Не надо тревожить его!

— Я уже проснулся, сестра, — отозвался я с места, — пропустите, пожалуйста, товарищей.

Приход друзей очень обрадовал меня. Хотелось приподняться и облокотиться на подушку. Но малейшее движение острой болью отзывалось во всем теле. И, прикованный к постели, я остался лежать.

Сопровождаемые все еще протестующей сестрой, товарищи вошли ко мне в палатку.

— Узнает врач, и спуску мне не будет, — взмолилась сестра. — Умоляю вас, не задерживайтесь!

— Будьте покойны, сестра, — заверил ее Насреддин. — Долго не пробудем.

— Минуты две-три, не больше, — добавил Лятиф.

Насреддин уже не глядел на сестру и не слышал ее. Войдя в палатку, он нагнулся, поцеловал меня в лоб, взял мою руку в свою и с такой тоской глядел на меня, будто прошли годы с тех пор, как его разлучили со мной.

Первым делом друзья попытались утешить и подбодрить меня:

— Горячая пуля обжигает ткани, и потому пулевая рана быстро заживает. Да, видать, мать усердно молилась за тебя. Легко отделался. Через недельку-две встанешь на ноги...

Я пожаловался на боли, и тогда Насреддин тоном знатока человеческой природы начал:

— Я знаю тебя. Ты не дряхлый старик, повидавший жизнь, и не пессимист, пресытившийся всем в жизни. Такие, как ты, острее чувствуют всякую боль. Людям, умеющим ценить жизнь, тонко чувствующим, живущим полноценной жизнью, любая рана причиняет невероятные страдания. Вот, скажем, в дупле какого-нибудь старого дерева ты можешь развести костер, и ничего с этим деревом не станет. Но достаточно сделать небольшой надрез перочинным ножом на коре молодого, здорового тополя, как, смотришь, из этого надреза вытекает сок. Жизнь такого рода деревьев так же полноценна, как жизнь здорового молодого человека. Но ты знай, что спустя несколько месяцев кора тополя станет гораздо тверже именно на месте надреза... Будем здоровы, ты и вылечишься, и отдохнешь, и окрепнешь, и даже...

— И даже в родных краях побываешь! — угадал мысль Насреддина и договорил за него Лятиф.

При этих словах краска залила их лица, оба улыбнулись и посмотрели мне в глаза. Я отлично понимал их. Им хотелось бы

поделиться с родными и близкими теми чувствами, теми представлениями, которые овладели ими здесь за несколько месяцев фронтовой жизни, равной десятилетиям жизни обычной.

Сестра стояла перед Насреддином и просила его уйти поскорее. Тот не сводил глаз с меня и говорил:

— Ни о чем особенно не прошу тебя. Только сходи к нам домой, посиди за моим письменным столом, полистай мои книжки и бумаги, узнай, в таком же ли они состоянии, в котором я оставил их. Узнай, искал ли кто меня, пишет ли мне кто. Пройдись по нашей улице, выслушай мою мать и запомни все, что она скажет. Я подробнейшим образом спрошу тебя обо всем. Знаю, что ты обязательно побудешь в университете. Передай привет всем ребятам. Посиди в лектории за меня и помолчи несколько минут. Вспомни там здешний грохот... Наверно, в библиотеке целая еще моя абонементная карточка. Возьми ее, просмотри, узнай, спрашивала ли библиотечарша, почему этот парень не приходит больше за книгой.

— Сам знаешь, чего тебя еще учить! — перебил Насреддина Лятиф. — Как только жена узнает о твоём приезде, сейчас же прибежит. Передай ей эту карточку и скажи, чтобы не беспокоилась. Узнай, там ли еще учитель Адиль, хорошо ли идут у него занятия, кто уехал, кто еще там. Передай мой адрес директору и учителю Адилу. Авось надумает кто-либо из них написать мне...

Насреддин, будто вспомнив о чем-то, перебил Лятифа:

— Поезжай к нам домой и побудь у нас денек-два. Пусть мать услышит голос сына. Возьми мою тару, прижми к груди и сыграй Чаргях¹. Поверь, если в это время здесь будут грохотать хоть сотни орудий, я и то услышу мелодии Чаргяха...

— Когда будешь в деревне, — поручил Лятиф, — выйди на поля у Зубчатой скалы, черпни горстью воды из прозрачного, как

журавлиное око, родника и выпей вместо меня. Весна там теперь. Посиди на лужайке, послушай пение птиц. Узнай, как они теперь поют, не влияют ли здешние события на их песни? Поброди по зеленым лужайкам, собери букет. Там сейчас и тюльпаны, и нарциссы, и фиалки, и колокольчики, и многое другое... Ты положи их листочки и лепестки и высуши между страниц книжки. Если они и высохнут, мы, понюхав их, все равно уловим аромат родных земель. О, эти края!.. Хотелось бы мне склонить перед ними колени, целовать их, касаться обнаженным сердцем земли и камней этих мест!

Я не известил мать о своем приезде. Сойдя с поезда, тихим шагом направился домой. Торопясь повидать мать, я в то же время пристально разглядывал улицы, дороги, знакомые дома, деревья, ограды, от которых случай так внезапно оторвал меня. Хотелось узнать, какие здесь произошли перемены. Что изменилось в этих местах со дня моего отъезда? Мне казалось, что все на своем месте, все в должном порядке. Опять тот же обычный сентябрьский вечер, наш город живет своей обычной жизнью, уверенный в себе. Казалось, высокие чинары и зеленые холмы, склоняя головы, приветствуют бойца, идущего с фронта, и напутствуют сыновей, уходящих на фронт.

Матери дома не оказалось. Я взял ключ с известного нам обоим места, отпер дверь и сел отдыхать.

Что нового в нашем доме?

Вот карточка, на которой я снят в военной форме, стоит на столе. Там же мои письма, аккуратно собранные стопочкой. Будто мать ежедневно перечитывает их и складывает снова на место. На подоконнике небольшая коробочка, обшитая холстом. Наверно, мать опять собрала мне посылку. Захотелось вскрыть коробку и узнать, что посылает мать сыну-фронтовику. Стекла книжного шкафа

начисто вытерты. За ними — стопка прибывших за мое отсутствие газет и журналов. Понял, что мать хранит их для меня. Она не имела привычки выкидывать непрочитанную газету.

В убранстве комнаты и царившем здесь порядке чувствовалась рука заботливой женщины — рука работающей, трудолюбивой солдатской матери, которая делала каждый свой шаг, думая о родном сыне.

Все это было ясно и понятно мне. Но я не мог понять, с какой целью мать, уходя из дому, оставляет ключ под никому не известным камнем во дворе? Никто, кроме нее, не отпирает дверь нашего дома. Так зачем же она оставляет ключ на том же месте, что прежде?

Отвечая на мой вопрос, мать вздохнула:

— Дитя мое, — сказала она, — я очень часто сижу и мысленно беседую с тобой... Пусть ключ там и останется. С благой целью, с хорошими надеждами я оставляю его там. Сердце все время говорило мне: «Пока ты вернешься с работы, прибудет сын, а дверь заперта. Останется на улице. Зачем? Уходя из дому, ты оставь ключ...» Ты видишь? Как думала, так и вышло!..

По мере того как говорила мать, на душе у меня становилось как-то светлее и просторнее. Во мне заговаривало чувство гордости, и я думал: «Если бы все человечество жило думами и чаяниями матерей, на земле уже давно был бы рай. Их сердца, их мысли и чувства, помыслы и деяния, их забота и участие всегда с нами, с фронтовиками. Непобедимы герои, которые стоят на страже тех, кому принадлежат эти священные сердца».

От того ли, что на меня благотворно влияли воздух и вода родного края, от того ли, что наши люди принимали меня — фронтовика — с распростертыми объятиями и оказывали мне щедрое гостеприимство, или от чего-то другого, я быстро

поправлялся и набирался сил. С каждым днем мне становилось все лучше, и я наконец окреп настолько, что стал чувствовать себя лучше прежнего. По мере выздоровления я все больше думал о возвращении на фронт. Наконец, когда мать уверилась в том, что час моего отъезда настал, пригласила к нам матерей и Насреддина, и Лятифа. Все провожатые собрались у нас дома. Все пришли с готовыми посылками. Я запротестовал: «К чему зря взваливать на меня весь этот груз? Душа моя, люди на фронте ни в чем не нуждаются. Зачем мне таскать на себе эту тяжесть?» Меня и слушать не захотели. Кто тащил шерстяные носки, кто перчатки, кто табак, папиросы. Одни напекли пирогов, другие — всяких сладостей... Без моего ведома и мать уже приготовила посылку.

— Это — не тебе одному и никому из твоих товарищей в отдельности, дитя мое, сказала она. — Это — для всех троих. Как доедешь, сейчас же найдешь Насреддина и Лятифа и все вместе вскрыете ящик. Тут — труд и забота трех матерей. Вскрывайте вместе, кушайте вместе, будьте всегда вместе и вместе же идите на врага!

Я вернулся на фронт. Командование решило повысить меня в должности и дать мне новое назначение. Но я не захотел отрываться от товарищей. Кое-как отказался от нового назначения и вернулся в свою часть. К сожалению, ни одного из моих друзей я не застал на месте.

Я узнал, что дня за два до моего приезда Насреддина ранили и он уже в полевом госпитале. Но о Лятифе никто ничего определенного мне не сказал. Я тут же пошел к комиссару. Заметив мое волнение, комиссар показал мне записку в две строки. На клочке бумаги грамотным русским языком было написано: «Как я предсказывал, так и случилось. Боец не умрет».

Я прочел записку и устремил вопросительный взгляд на комиссара. Тот сразу понял меня.

— Пишет врач, — сказал он. — Мы не надеялись на то, что Лятиф выживет. Его грудная клетка была пробита двумя пулями и одним осколком мины. Было задето легкое... Доктор Гияслы обнадеживал нас. Теперь уж он пишет определенно, что Лятиф поправится.

Я отпросился и пошел искать товарищей, которые месяца два назад приходили навестить меня. Дорогой подарок — посылку матерей — я погрузил в одну из машин, направлявшихся в полевой госпиталь, и сам вспрыгнул в нее.

Первым делом я направился к Насреддину. Он был легко ранен в руку и в теплом халате прогуливался на воздухе у госпиталя. Мой приход оказался праздником не только для него, но и для всех остальных больных. Засыпали меня вопросами о нашем городе, о дорогах, посевах и урожае. Чтобы поговорить наедине, Насреддин потянул меня в сторону от палаток. Мы опустились на землю, и я рассказал ему обо всем, что видел на родине. Затем достал нож, чтобы вскрыть посылку. Насреддин остановил меня:

— Не допущу!

— Да тут же все съестное.. Испортится ведь.

— Все равно, не смей вскрывать! Без Лятифа — нельзя!

Я смирился и, сложив нож, положил в карман.

— В таком случае вставай. Отправимся к нему. Врачом Насреддина был человек высокого роста и очень внушительный собой. Другие пришли в армию, уже став врачами. Этот же человек до получения медицинского образования был кадровым военным и занимал высокую командную должность. Потому и очень любил формальности, требовал беспрекословного соблюдения субординации и всех уставных правил. Больные и сестры, зная об этом, не

решались обращаться к нему со всякими просьбами и, махнув рукой, старались избежать встреч с ним. Вот почему Насреддин не пожелал отпроситься у него.

«Смягчить» врача взялся я сам. Я подстерег его и вытянулся перед ним в струнку в тот момент, когда он, выходил из своей комнаты. Я коротко изложил нашу просьбу.

— Можете уйти завтра после обеда на полчаса! — отрезал врач и зашагал прочь.

Я не успел и заикнуться насчет того, что мне нельзя ждать здесь до завтра.

К Лятифу я отправился один, в тот же день. Он только оправился от тяжелого ранения. На нем лица не было. Увидев меня, Лятиф заплакал от радости. Его слезы растрогали меня. Чтобы не беспокоить его, я не стал задерживаться у него и вышел, оставив посылку.

Лятиф поправился окончательно и вернулся в часть через два с половиной месяца. Все это время посылка матерей пробыла то у койки Лятифа, то в карете скорой помощи, то в землянке. Только после возвращения Лятифа мы — трое друзей — сели и вскрыли ее.

В ней было все, начиная от чернослива, изюма и мелкого ореха и кончая ордубадскими аланы¹. Под этими лакомствами для каждого из нас было положено по одному полотенцу, куску туалетного мыла и по паре шерстяных перчаток.

Мы тут же натянули на руки перчатки. Слова матери прозвучали у меня в ушах: «Будьте всегда вместе и вместе идите на врага!»

— Ребята, — воскликнул я, — в этих перчатках тепло материнской любви и ласки. В них — теплое дыхание дружеской верности и единства нашей родины. Глядя на руки, мы чувствуем, что наши

¹ аланы — сушеные персики, начиненные размельченным ядром ореха, смешанным с сахарным песком.

матери — с нами. Нас согрело и вырастило их доброе материнское дыхание. Оно же ведет нас в бой, ведет нас к славной победе!

И Ляtif, и Насреддин повторили слова матери:

— Побудем вместе и вместе пойдем на врага!

— Пусть, — заключил я, — образы матерей будут перед нашими глазами. Пусть их слова звучат в наших ушах, их руки касаются наших сердец! Пусть они своими ласкающими, источающими бальзам руками касаются наших ран и вылечивают их. Будем здоровы, уничтожим насильников, вторгшихся на нашу землю! Пусть ликуют наши матери и живут в мире и спокойствии. Пусть мать родина будет довольна своими сыновьями!

1942

Перевод Мир Джабара (Мусаева)

МАТЬ

У меня память слаба. Самые сильные радости я забываю, как свои детские развлечения. Тяжелые потери не оставляют следа в моей памяти, как язвинки от занозы.

Я могу предать полному забвению бури, пронесившиеся над моей головой в детстве, любовные восторги моих юношеских лет, мои радости, не вмещавшиеся в узкие сельские улицы, мои надежды и ожидания, ароматные, как тмин, чистые, как родниковая вода, мои мимолетные, как весенний дождь, горести...

Все, все я могу забыть.

Но ее не могу забыть!

Она, жалкая, одинокая, беспомощная, ярко рисуется в моем сознании.

Какая-то таинственная рука мастера создала в утреннем цветнике моего сердца, моей души, моей полной желаний груди нетленный образ этой мечты.

И я помню ее ярко, все ярче.

Они полюбили друг друга весенним вечером, слились в объятиях летним утром. Их крепко связала бесконечная и горячая страсть пламенной юности.

Первые дни молодой любви, беззаботно-радостные, как пение скворца, сменились днями материнства.

Как море, глубокая и, как солнце, горячая любовь привязала ее к невинному младенцу.

Отец, знавший счастье лишь под своей убогой кровлей, в жутких условиях того времени, напрягая все силы, в тяжелых условиях тяжелых дней, обливаясь кровавым потом, едва зарабатывал для семьи черствый кусок хлеба.

И только вечером, вернувшись домой, взглянув на стройную

фигуру Арзу и видя расцветающую улыбку младенца, он забывал о всех своих мучениях.

Наступили смутные дни.

В мире все сотряслось.

В городе, сжатом между двумя реками, окруженном зелеными садами, спящем под столбами очажного дыма, началась какая-то новая жизнь. Лица людей отражали теперь вместе с заботами, печалью и горем еще и напряженное ожидание.

Встречаясь друг с другом, люди не обменивались приветствиями или не отворачивали лиц в сторону, а молча впивались глазами друг в друга, отражая в этих взглядах волнение и тревогу.

В начале весны часто шел град; ударяясь о крыши домов и наполняя воздух резкими звуками, он вызывал в людях самые разнообразные чувства.

Для одних этот шум града обещал урожайный год и казался мелодией изобилия; другие улавливали в нем тревожные, неясные призывы: «Приди, приди, приди!», третьи кусали губы или, сжимая между пальцами янтарные мундштуки, кусали их в бессильной злобе.

Град неистово бил по городу...

Ветры теперь не обволакивались пылью улиц, не бросались в грязь, не бились в кустах, а пролетали над крышами, вея могучими крыльями, и будили всех от сна, заставляя трепетать боязливых.

С наступлением темноты, обретая язык, громко шептались высокие чинары, а улицы набирали в рот воды.

Вставало солнце, и на таинственные вести, родившиеся и выросшие в темноте минувшей ночи, распространившиеся с быстротою аромата цветов, набрасывались покрывала, а людям объявлялись успокоительные сообщения. Ворота заброшенных фабрик оставались открытыми, а двери тюрем и камер запирались

на тяжелые замки.

Волнение ширилось и росло.

Жизнь отца изменилась. Он стал приходить домой реже и, появляясь, что-то шептал жене на ухо, отчего ее мрачное лицо расцветало в улыбке, целовал ребенка и вновь уходил.

События следовали одно за другим.

Ненависть, голод и смерть вступили в дружный союз. Люди предпочитали, чтобы их скорее постиг ужасный конец, чем теперь «бесконечный ужас».

И вот однажды отец был вырван из теплых объятий Арзу; его увели силой, грозя штыками и осыпая бранью. Он стал солдатом, и его погнали на фронт.

Отец ушел, и с ним погас свет, исчезла радость, кончилась жизнь семьи.

Ни слезы, ни разрывавшие грудь материнские стоны, ни мольбы не вернули его.

Заговаривали ли об арестантах, о ссыльных, о каторжниках, — мать чутко прислушивалась.

У всех приезжавших издалека она спрашивала о муже.

Кто-то передавал, что его видели на одном из фронтов; говорили, будто он сошел с ума и, безоружный, дико крича, бегал по окопам и бросал комья земли в невидимого врага.

Мать довольна была и этой вестью.

— Пусть будет даже так, — говорила она. — Лишь бы он был жив... Любовь сделала его безумцем. Если он вернется, взглянет на ребенка и почувствует свою руку в моей, — он выздоровеет.

Но эти рассказы оказались ложью.

Фронты распались. Солдаты вернулись в родные места. Но никто не мог ничего о нем сообщить.

Он исчез, исчез бесследно, словно сокол, потерявший во мраке

путь к своему гнезду.

Слезы — и слабость и сила женщины.

Растапливая великую, как горы, скорбь, томящую их грудь, они изливают ее по каплям и обретают утешение. У матери также оставалось одно это средство.

Проходили месяцы, проходили годы. Нужда заставила мать пойти искать работу поденную. Хозяйки не брали ее в прислуги из-за ребенка.

А в лесах не осталось даже диких плодов, в степях — съедобных трав, на нивах — позабытых колосьев...

Как-то вечером мать вернулась радостная. За три года после исчезновения мужа это был первый случай, когда на ее лице, словно весенний ветер, затрепетала улыбка. Арзу была принята уборщицей в столовую.

После продолжительных дней весны наступила летняя жара. Люди старались одеваться полегче. Обмахивались веерами, включали вентиляторы. Перед киосками с прохладительными напитками тянулись очереди. Глыбы льда с далеких горных ледников везли в город.

Счастливы покатали в автомобилях и фаэтонах на дачи, прохладные и чистенькие, словно нарисованные на картине.

Покинувшие душный город наслаждались в объятиях зеленевших гор и слушали радостное пение родников, птиц, ветров, чувствуя себя словно вновь родившимися.

Но мать со своим ребенком была далека от такого счастья.

В то время как радушная, щедрая природа ждала, что к ней придут в гости родные дети земли, явились чуждые ей люди. Кто-то разлучал подлинных детей земли с их матерью. Они были лишены весеннего молока. Они были прикованы к заплесневелым стенам подвальных этажей. Ради куска хлеба они вынуждены были

отдавать другим все дни своей жизни.

В обжигающем зное июльских дней тело матери таяло по каплям; она тратила последние силы, чтобы прокормить ребенка.

Однажды утром ее пробудил от сна громовой гул.

От тишины, разлитой вечером, не осталось следа.

Город горел в огне.

Воздух сотрясаясь от непонятного грома, пламенел горизонт, стлался тяжелый запах пороха...

Мать оставила на минуту ребенка и выглянула окно.

— Мир загорелся! Горит! Война...

Она подумала об исчезнувшем муже. И, страшась потерять и сына, она прижала ребенка к груди, касаясь горячими губами его широко раскрытых, испуганных глаз.

И вдруг что-то ударило ее в голову.

Она едва устояла на ногах. Придя в себя, она схватила старую винтовку, перебросила через плечо ремень и босиком, с открытой головой, прижимая ребенка к груди, кинулась на улицу.

Она бежала, присоединившись к тысячам плачущих женщин и детей.

Снаряды падали на их головы. Люди пытались заглушить свои стоны и жалобы, укрепить сердца сражавшихся в окопах бойцов.

Бежавшие падали десятками, чтобы больше не встать. Все вокруг было окутано дымом. Никто никого не узнавал.

Задыхаясь, мать бежала вперед. Ветер расчесывал ей косы, камни ранили ноги, а она бежала...

Зачем она бежала?

Хотела ли спасти обожженное, уставшее тело от смерти?

Нет.

Хотела ли добраться до источника милосердия, утешения, надежды?

Нет.

Она больше не верила ни в милосердие, ни в утешение, ни в надежды. Она верила только в беспощадность судьбы, в тяжесть жизни, в муки бытия, в лукавство ночи, в ужасы дня.

Она бежала лишь с одной целью: унести подальше от этого огненного ада свое любимое и невинное дитя, чтобы спасти его маленькое, слабое тельце.

При каждом разрыве снаряда, она теснее прижимала ребенка, чтобы скрыть его у себя на груди.

А он, пугаясь, плакал.

В открытую грудь матери ударила пуля.

Мать прижала руку к ране, и в воздухе задрожали, словно колосья, окровавленные пальцы.

Мать упала на землю и осталась недвижима.

Ребенок выпал из рук. Он подполз к матери, обнял ее голову и стал кричать и плакать.

Грохотали орудия, свистели пули, ржали кони, тарахтели колеса, сверкали сабли.

Из груди матери лилась кровь.

Увидя скачущих всадников, напуганный ребенок стал кричать еще громче. Он звал мать.

Всадник, на винтовке которого трепетала красная лента, остановил лошадь, сошел на землю.

Он стер ладонью слезы мальчика и взгляделся в его черты.

А тот плакал, звал мать.

Глаза всадника наполнились слезами.

Этот крик осиротевшего ребенка заставил его вспомнить о покинутой семье.

Он перевел взгляд на распростертую женщину.

Узнал. Наклонился к ней и осторожно поднял ее голову с

распущенными косами, положил к себе на колени.

Арзу навсегда закрыла глаза на мир.

Отец, привезший своей семье счастье, заплакал.

Но тут же поклялся стереть слезы с лица всей земли.

Взяв ребенка на руки, вскочил на коня и продолжал свой боевой путь.

1942

Перевод Азиза Шарифа

ЛЕЙЛА

Женам, матерям, невестам —
тем, кто ждет любимых.

Было время, когда она почти каждый день видела мужа. Трамвай вез ее через весь город до самых дальних пригородов, где стояла воинская часть Мир Али.

Но и после прощального последнего свидания ее можно было встретить в том же трамвае. Мир Али уже давно уехал на фронт, а известий все не было. Теряя выдержку, не умея найти дела, которое дало бы сердцу хоть временное успокоение, она ехала за город; тоска гнала ее туда, откуда она проводила своего Мир Али. Ее встречал гудящий ветер, один только ветер. Учебные окопы осыпались, мишени и палатки исчезли, лишь пепел давно отгоревших костров крутился по земле и валялись кругом пустые консервные банки.

Молодая женщина вглядывалась в даль, куда убегали холодные рельсы и тихо звала:

— Мир Али! Мир Али! Я пришла за тобой...

Тягостно молчание покинутых мест... Пядь за пядью исходила здесь Лейла каждую тропку. По-прежнему клонились под напором ветра деревья, птицы спешили к солнцу. Где-то за дорогой, как и прежде, рокотало море, но Лейла жила тревогами своей молодой любви, и мир был для нее закрытой книгой...

Лейла приходила сюда и в холодные осенние вечера, когда не было уже ни солнца, ни птиц.

Над ней посмеивались, сомневались, в уме ли она, нельзя же так верить самообману. Неумолимый голос кричал ей: «Куда ты идешь опять? Разве в пустом этом поле ты можешь встретить Мир

Али?! Неужели ты еще не устала метаться? Смотри, вот ты снова принесла в узелке все, что приготовила для мужа».

Лейла постоянно слышала этот голос, но не поддавалась ему, и на следующий день, после работы, с какой-то горькой убежденностью говорила сестре:

— Я иду к Мир Али, присмотри за домом...

И вот однажды она увидела, как почтальон просунул в щель меж дверей конверт. Как птица подлетела она к дверям. Вскрыла конверт, дрожащими от волнения руками развернула письмо и прочла:

«Уважаемая сестра моя Зибя! Привет! Не удивляйтесь тому, что Вам пишет совершенно незнакомый Вам боец. Я фронтовой товарищ Мир Али. Знаю Вас по его рассказам. В настоящее время нахожусь в Тбилиси, в 72-м госпитале.

Я бы очень просил Вас, если можно, приехать сюда. Надо сообщить очень важное известие. Если б не ранение в ногу, я не стал бы Вас беспокоить этой просьбой.

Привет от меня и Мир Али Вашей сестре и близким.

Мурсал Бабаев»

Лейла перечитала письмо вслух. Задумалась.

— Кто такой Мурсал? Что общего у него и Зибы? Товарищ Мир Али? Но почему он ничего не пишет о Мир Али?..

Она опять стала читать письмо. Быть может, в нем есть скрытый смысл?

«Почему Зибя скрыла от меня знакомство с этим Мурсалом? Может быть, этот человек влюблен в нее и хочет ее видеть? Но он называет ее просто сестрой... И адрес точный. Но почему, почему — если этот человек знает нас по рассказам Мир Али, — почему он обращается не ко мне?!»

Не прошло и получаса, как покрасневшая, запыхавшаяся Зибя с книгами под мышкой вбежала в комнату.

— Мне передали, что ты звала меня, да? Что случилось, сестрица? Ты получила письмо от Мир Али?

— Скажи, — прервала ее Лейла, — у тебя есть знакомый по имени Мурсал?

— Мурсал? Нет!

— Постарайся вспомнить... Правду скажи, прошу тебя.

Зибя взглянула на серьезное лицо старшей сестры.

— Мурсал?.. Есть у нас один Мурсал, в нашем классе...

— Да нет, нет! Это боец. Его фамилия Бабаев. Подумай хорошенько: ведь если бы ты не была с ним знакома, он не стал бы писать тебе письма. Может, ты забыла, вспомни?!

И Лейла протянула конверт Зибя.

Последние слова сестры задела Зибю, она даже покраснела, но, прочитав письмо, пожала плечами:

— Понятия не имею... Что это за Мурсал? Что это за глупое письмо?!

А Лейла поняла истинный смысл письма.

«Мурсал — товарищ Мир Али. Он приехал с дурной вестью и пока скрывает ее от меня. Вызывает Зибю, хочет сначала рассказать ей...»

Может быть, нет? Может быть, рано отдавать себя в руки горя ей, которая так верила в счастливую свою судьбу? Но ведь не какой-нибудь любитель шуток сложил это письмо? Нет, нет, пришло несчастье, буря готова разразиться над ее головой...

Острая боль заполнила сердце, боль и какая-то странная опустошительная слабость. Лейла опустилась на колени.

— Зибя! Это не глупое письмо. Это письмо... оно не сулит нам ничего хорошего... Оставляю на тебя ребенка и дом. Мне надо

ехать и повидать этого Мурсала.

Проснулся маленький Тофик и потопал в комнату, откуда доносились голоса. Стоя у двери, он смотрел на расстроенное лицо Зибы, на какое-то черное лицо матери, говорившей что-то изменившимся голосом.

Вдруг взгляд Лейлы встретился с глазами Тофика. С громким плачем мать обняла ребенка.

— Можно видеть Мурсала Бабаева?

Медсестра переспросила:

— Это того, у которого ногу отняли?

Лейла сжалась, словно ее ударили, и тихо повторила:

— Будьте добры, вызовите Бабаева Мурсала.

Покрасневшая медсестра молча вышла.

Минут через пять в дверях приемной показался высокий, худощавый молодой человек с густой шевелюрой.

— Простите, это вы спрашивали Бабаева?

— Да, — Лейла невольно смотрела на его костыли, — вы Мурсал Бабаев?

— Я! А вы, наверно, Зибя, Зибя-ханум, да?

Лейла кивнула.

Они сели. Лейла протянула Мурсалу узелок.

— Простите, — сказала она смущенно. — Это вам... маленький гостинец... Фэтир¹.

— Спасибо, спасибо... — Мурсал опустил голову. — Нас кормят здесь хорошо...

Скованность не исчезала. Надо было найти какие-то правильные слова, чтобы подготовить собеседницу к главному. Но Мурсал не находил их. Он смотрел на утомленную дорогой, нет, не только дорогой, но и страданием ожидания — это было видно —

¹ Фэтир - сдобный хлеб

лицо женщины и чувствовал, что не сможет заговорить сейчас о чем-то постороннем, о чем-то отвлекающем, надо говорить о главном, только о нем.

— Зиб-ханум, вы, конечно, удивились, когда получили мое письмо. Я нарочно послал его вам, именно вам.

Мурсал снова опустил голову, задумался. Потом, будто решившись, продолжал:

— Лучше не иметь на свете друга — эту беду переживешь — хуже, если он у тебя был... есть... полюбил ты его, сроднился, а потом... Видите, Зиб-ханум, куда девалась правая нога... Может быть, придется еще выше ампутировать. Я вытерплю... Но потерять Мир Али!.. С того дня, как это произошло, мне кажется, что у меня отняли половину тела. Зиб-ханум!.. Мир Али был такой человек!.. Никакими слезами его не оплачешь...

Мурсал отвернулся и, не глядя на Лейлу, продолжал:

— Вас я прошу об одном: скройте пока все от Лейлы... Я знаю, как они любили друг друга... Он мне много рассказывал о жене, о сыне. Он всегда восхищался, какая она преданная, верная, мужественная. Такая любовь заслуживает счастья... Пусть оно продлится, пусть даже путем обмана... До окончания войны...

Мурсал рассказал, как он потерял друга.

— Наши части наступали. Я видел его впереди. Он подымал людей, кричал «вперед!» Потом он упал. Я подполз с пулеметом. Мир Али был ранен, но все равно помогал мне бить из пулемета. Потом ударил снаряд. Меня стукнуло, и я словно провалился куда-то. А очнулся уже на перевязочном пункте... Мир Али был героем, он честно уплатил свой долг... А нам — хранить память о нем, мстить за него...

Мурсал решился наконец взглянуть на Лейлу.

Она была без сознания.

Большая любовь заслуживает счастья... Да, да, это так. И пусть продолжение этой истории покажется кому-нибудь маловероятным, но так случилось — случилось, может быть, став наградой Лейле за ее великую верность, за силу ее любви и надежды.

Когда бой отгремел, Мир Али нигде не нашли — ни живого, ни мертвого, вот почему Мурсал решил, что друг его погиб.

Однако судьба Мир Али сложилась иначе... Повеял ночной летний ветерок, и от его дуновения Мир Али пришел в себя. Он лежал, почти засыпанный землей, на самом краю вырытой снарядом ямы, его рука свисала вниз. Кругом — трупы, трупы. Как кладбище. Но правильно говорят в народе: если можно еще уловить дыхание, значит жива надежда. Истинная сила человека проверяется на мосту между жизнью и смертью.

Сначала Мир Али открыл глаза, потом медленно перевернулся на спину; глядя в небо, он думал, что вот умирает, все кончено и этот его взгляд — последняя вспышка угасающих искр жизни, отяжелевшие веки скоро сомкнутся, и все погрузится во мрак.

Но, думая так, Мир Али все пробовал и пробовал шевельнуться. И потом, теряя сознание, напрягая все силы, пополз по взрытому, истерзанному полю туда, к своим.

Спустя два дня санитары нашли полуживого Мир Али в лесу.

Два месяца его перевозили из госпиталя в госпиталь и наконец доставили в глубокий тыл. От одной из сестер он узнал, что больных, требующих длительного лечения, отправят в Новосибирск, но есть другая партия — в Баку. Мир Али стал просить начальника госпиталя и врачебную комиссию включить его туда.

И вот он в санитарном поезде мчится в Баку...

И без моих описаний легко себе представить, что переживал и

о чем думал Мир Али, выздоравливающий, и, главное, возвращающийся — пусть на время — на родину.

Понятно читателю и горе Лейлы, охватившее ее после поездки в Тбилиси.

А Мурсал все еще был уверен, что его спутница — сестра Лейлы Зиба. Он всячески старался ее утешать и успокаивать — ведь сестра не должна догадаться по расстроенному виду Зибы о постигшем их горе. Но как можно утешить человека, потерявшего своего близкого?

Мурсал словно уже видел, как входит Зиба в дом Мир Али, как страшным криком встречает ее Лейла-ханум, только лишь взглянет ей в очи — и вот уже собираются близкие и дальние соседи. Сам Мурсал не хотел идти к Лейле.

— Зиба-баджи,— убеждал он Лейлу, — ни к чему мне ехать к вам. Я не смогу сдержаться, когда увижу сынишку Мир Али. Я вернусь, разреши мне вернуться с вокзала. И без того...

— Такой близкий друг Мир Али, как вы, не хочет открыть нашу дверь? Кто же после этого станет заходить к нам?

Ну разве возразишь что-нибудь на это?

Вот и Баку.

У вокзала стояли машины. К ним подносили прибывших больных и раненых. Тяжелые воспоминания... Один вид этих машин еще больше расстроил Мурсала.

Да знай он, что Мир Али, его друг, здесь, среди раненых, он закричал бы от радости и, кто знает, что еще натворил бы.

В это время Мир Али ждал, когда отправятся машины. А что, если... Сердце учащенно забилось...

Он подошел к бригадиру:

— Разрешите повидать семью, вот здесь я живу, недалеко. Честное слово, встречу — и вылечусь быстрее. Два часа прошу!..

С шинелью через руку, без фуражки, с расстегнутым воротом Мир Али подошел к калитке своего дома.

Но кто это — с чемоданом?

Они столкнулись.

— Лейла!

— Мир Али!!

— Родная!

— Милый, милый!

Полуодетый Тофик, потирая кулачками заспанные глаза, вошел в комнату и крикнул:

— Папа приехал!

Счастливый, смеющийся, он взлетел на руках отца, как знамя..

1943

Перевод Юрия Суровцева

ИСТОРИЯ ОДНОЙ БОЛЕЗНИ

Людей, одиноких по натуре, которые, как рак-отшельник или улитка, стараются уйти в свою скорлупу, на этом свете немало.

А. ЧЕХОВ

— Никаких болезней-молезней не признаю! Кто не выйдет, пусть персонально отвечает перед общим собранием.

— Послушайте только, что он говорит, что говорит! ..

Мирза Аскер так и остался стоять, растерянно глядя вслед Аббасали. «Пусть персонально отвечает перед общим собранием», — мысленно повторил он, и знакомое мутное чувство тревоги и страха вновь охватило его.

Мирза Аскер хорошо знал Аббасали. Когда он с явной неприязнью произносил дома это имя, жена, бывало, спрашивала:

— А что это за человек?

— Во-первых, отъявленный демагог. Во-вторых, личность вредная и кляузная. В-третьих, наглец! В-четвертых. ..

Но тут жена прерывала его:

— Хватит, хватит. Уже ясно, что от такого человека можно ожидать всего, что угодно.

Аббасали был в тресте председателем месткома.

На прошлой неделе было коллективно решено, что в выходной день все работники треста соберутся и выедут на товарную станцию — помочь разгрузить прибывшую партию строительного леса. Но Мирза Аскер, услышав, что предстоит перетаскивать целую гору досок и бревен, по своему обыкновению, тотчас выразил протест:

— Разумеется, при организации субботника будут приняты во внимание больные?

Как только эти слова достигли слуха Аббасали, гнев ударил ему в голову.

«Ну что за никчемный человек?» — подумал он и, повернувшись в сторону бухгалтерии, где за конторским столом, нахохлившись, сидел Мирза Аскер, громко произнес уже знакомые нам слова:

— Никаких болезней — молезней не признаю! Кто не выйдет, пусть персонально отвечает перед общим собранием.

Мирза Аскер вот уже двадцать лет работает в тресте счетоводом. За все эти двадцать лет не было дня, чтобы он явился на работу в хорошем настроении. Никто еще не видел у него улыбки на лице. Он постоянно жаловался и ныл, держась за голову или за поясницу. Стоило кому-нибудь заговорить о головной боли, как Мирза Аскер тотчас присоединялся к нему: «У меня головная боль никогда не прекращается».

Если же кто заводил речь о сердце или желудке, Мирза Аскер тотчас откладывал ручку, снимал очки и страдальческим тоном говорил:

— Можно подумать, что вы описываете мои болезни. Всего этого у меня в избытке. Я уже устал от лекарств. ..

Мирза Аскер во всем крайне осторожен. Он строго соблюдает вычитанный им в каком-то журнале распорядок дня: часы завтрака, обеда и ужина, сна и отдыха. У него имеется стакан, чуть ли не превосходящий его по возрасту, какая-то особая чайная ложка и специально выделенный для всего этого ящик письменного стола. Он хранит в этом ящике кипяченую воду в бутылке, аспирин, всевозможные витамины.

Если ему приходится писать слово «грипп», он предварительно закрывает нос и рот платком. Утром и вечером он ставит себе под мышку термометр и с трепетом смотрит: «Не натянуло ли».

Как-то раз, когда он ехал в трамвае, сидевшая рядом женщина подозрительно посмотрела на его сумку и неуверенно спросила:

— Товарищ, у вас в сумке курица или что?

— Нет, в сумке ничего нет, я еще не заезжал на базар.

— Что же это как будто квохчет?

Мирза Аскер смущенно ответил:

— У меня под пиджаком грелка. Говорят, что это хорошо от болезней. Когда трамвай трогается, она, проклятая, начинает раскачиваться и булькать. Это не курица, это вода булькает!

Вечерами, когда люди спешили в театры, в клубы, в кино, Мирза Аскер ложился в постель и начинал прислушиваться... Он прислушивался к себе так упорно и сосредоточенно, как прислушивается мастер к машине, поступившей в ремонт после долгой и трудной работы. Если термометр не обнаруживал повышения температуры, Мирза Аскер подходил к зеркалу и тревожно вглядывался в свое лицо, осматривал руки, ощупывал ноги, открывал рот и, высовывая язык, говорил: «А-а-а». Причем старался заглянуть как можно глубже в горло. Он любил, чтобы домашние собирались вокруг него, спрашивали о его самочувствии, выражали тревогу за его здоровье. Он был ярым ненавистником всех окон и дверей. И упаси бог, если кто-нибудь оставлял открытой хоть щелку. Даже в самую лучшую погоду он без крайней надобности не выходил из дому. На улице он поднимал ворот пальто или костюма, сутулился, шел, держась поближе к стене. Прежде чем выпить чай, он охлаждал его, а воду, наоборот, согревал. Не было такого витамина, которого бы Мирза Аскер не испробовал и не знал на вкус. Не оставалось больниц, диспансеров и поликлиник, в которых бы он не побывал. Путевки в санаторий заполнялись для него так быстро и к ним так поспешно прикладывалась печать, что, казалось, не приведи бог, запоздай кто

на минуту, и с этим круглым, упитанным мужчиной в очках приключится беда. Все врачи города знали, что у него обязательно «пошаливает» какой-нибудь из внутренних органов.

Неуверенно ставя диагноз, они спрашивали:

— Кажется, вы и в прошлый раз жаловались на почки?

— Доктор, а теперь у меня пошаливает и сердце, и желудок.

Мирза Аскер побывал на всех курортах и всеми ими оставался недоволен. «Никто мне уже помочь не может, — мрачно говорил он. — С каждым днем я чувствую себя все хуже и хуже».

И вот этому-то человеку Аббасали сказал:

— Никаких там болезней-молезней не признаю...

На этот раз Мирза Аскер был сильно озадачен и находился в полнейшей растерянности. «Идти или не идти?» — мучительно думал он.

В конце концов, утешал он себя, ведь на субботнике не обязательно таскать доски и бревна. Должен ведь кто-нибудь и учитывать труд работающих там. «Меня обязаны использовать по специальности. Не заставят же такого больного таскать тяжести!»

Но тут снова прежний страх и сомнения овладели Мирза Аскером: «От этого наглеца можно ожидать чего угодно! Боюсь, если я не выйду, он устроит мне такую проработку на общем собрании, что... Да разве я смогу вынести все это? Дело может дойти до инфаркта...»

Так переходил он от надежды к отчаянию. Сомнения терзали его. К вечеру Мирза Аскер дошел до полного изнеможения. Вперив отсутствующий взгляд в заставленную лекарствами домашнюю аптечку, он горестно бормотал про себя:

— Эх, будь что будет... Какой-то неразумный шейтан шепчет где-то внутри меня — возьми да пойдешь! Пусть тебя везут на разгрузку. Пусть твое больное сердце не выдержит и разорвется на

части. Пусть кровь твоя падет на бессовестного Аббасали. И пусть ему дадут по меньшей мере пять лет отсидки. Не беда, что я буду покоиться в могиле, зато пусть посидит. Эх, неразумный шейтан! Все шепчет — возьми и пойдешь, по крайней мере один конец...

Ранним утром к дому подъехал автобус и остановился у ворот. Послышался голос Аббасали:

— Утро доброе! Эй, товарищ Мирза! Машина ждет вас. Из автобуса донесся смех, слышались оживленные голоса. Народу, кажется, собралось много. Видно, все работники были в сборе. Мирза Аскер поднялся и, как был, в одном белье, подошел к окну. Осторожно выглянул он на улицу и жалобно простонал, обратясь к жене:

— Видали? Отдохнул, называется!

— Если плохо чувствуешь себя, не ходи.

— Как не пойти, не видишь разве, он собрал весь народ у ворот. Ты еще не знаешь, какой это бессердечный человек. Все это он нарочно подстроил, мне назло. Разве смогу я тут усидеть спокойно? ..

Пока он собирал и укладывал в сумку свой завтрак, лекарства, бутылку с боржомом, пока одевался, прошло немало времени.

Из автобуса доносились нетерпеливые голоса:

— Мирза, послушай, ай, Мирза, поторопись! Скоро полдень!

Мирза Аскера дружно подхватили и с шутками втащили в автобус. Машина быстро, покатила по дороге. Раскачиваясь из стороны в сторону, Мирза Аскер думал: «Как быть, что делать? Ах, если бы на меня возложили учет?»

На станции горами громоздились доски, балки, бревна. Мобилизованные заводские четырехтонки непрерывно нагружались и отправлялись в город.

Стоя в стороне, Мирза Аскер с тревогой следил за тем, как

Аббасали распределяет участников субботника по бригадам. Пока все шло благополучно. Мирза Аскер даже вздохнул свободнее, — никто его не звал и не посылал таскать бревна.

«Кажется, мне достанется учет», — радовался он.

Но тут Аббасали, ухватясь за длинное бревно, крикнул:

— Мирза, поди-ка сюда, пособи поднять эту штуковину на машину.

У Мирза Аскера перехватило дыхание. «Да разве я смогу поднять это?!» — в ужасе подумал он.

Но Аббасали не дал ему времени на размышления.

— Ну, Мирза, у меня руки отваливаются, поживей!

Мирза Аскер волей-неволей вынужден был взяться за другой конец бревна. Пока они дотащили его до машины, Мирза, наверно, раз сто выругал в душе Аббасали. После того как бревно было уложено на машину, он тотчас захотел проверить свой пульс. Но тут снова слышался голос Аббасали:

— Мирза, поживей, а то наша бригада отстает, мы оскандалимся, берись с того конца! Я ведь вижу, что силенок у тебя хоть отбавляй.

Мирза Аскеру пришлось поднять и положить на машину второе, затем и третье бревно.

...К вечеру, усталый, разбитый, едва войдя в дом, он простонал:

— Жена, приготовь постель! Со мною все кончено! Пусть гром поразит виновного!

Не успел Мирза Аскер раздеться и лечь, как крепко уснул. Обеспокоенная жена поставила ему термометр, сосчитала пульс. Одно удивило ее: этот человек, постоянно жаловавшийся на бессонницу, теперь, казалось, спит непробудным сном сказочного дэва.

Спал он долго. А проснувшись, тотчас же подошел к столу и нетерпеливо потребовал:

— Жена, дай чего-нибудь поесть, я чертовски проголодался.

Он крепко работал челюстями и даже не взглянул на приготовленные ему как обычно желудочные капли.

Видя, что муж ее ест с невиданным доселе аппетитом, жена обрадовалась:

— Аи, Мирза, — робко сказала она, — видно, такая работа тебе на пользу. А что, если ты бросишь свои счета-отчеты в тресте и поступишь на товарную станцию?

1954

Перевод Д.Гликштейна

ДИССЕРТАЦИЯ

— Выпьете ложечку вот этой микстуры, примете вот этих пилюль и два раза в день будете ставить компресс. Придете ко мне денька через два!

Выполнять предписания врача, казалось бы, не трудно, но я лично думаю, что и не легко. Хватит ли у кого охоты, времени и терпения выполнять все без исключения назначения врача? Я человек терпеливый и выносливый. И какой бы врач что ни предписывал мне, — выполняю беспрекословно. Хотя пользы от этого не имею, но все же выполняю только из уважения к авторитету врача. Одно не нравится мне в этих людях: осмотрев больного и выписав рецепт, они обязательно строго-настрого наказывают:

— Зайдите ко мне через два денька!

Конечно же врачу интересно всегда иметь при себе больного. Осматривать, выслушивать страдающего каким-либо недугом человека — это его профессия. Но ведь наша профессия, профессия простых смертных, не сводится к тому, чтобы постоянно подвергаться осмотру? У каждого своя профессия, свои занятия. И если я через каждые два дня буду тратить целых два часа на то, чтобы меня осматривал врач, то кто же будет содержать семью, кто будет зарабатывать ей на пропитание?

Правда, врачи всегда поручают больному наведываться через два дня. Но редко кто это делает. Обычно, выйдя от врача, люди уходят, не оглядываясь назад. И мало кто вторично стучится в дверь квартиры врача. А если кто и стучится, то делает это не по собственной воле, а потому, что его вынуждает к этому болезнь.

Со мной случилось точно так же, как случается со всеми больными. Выпроваживая меня из кабинета, врач сказал мне: «Придете через два дня». Я ответил: «слушаюсь», хотя после этого

даже не побывал в аптеке и не заказал выписанное врачом лекарство. Я уж не помню, сколько раз прикладывал к уху компресс и прикладывал ли вообще. Помню только то, что режущая боль в ухе понемногу унималась, порой настолько, что я уже не ощущал никакой боли.

Условленные два дня прошли. На третий день часов в девять-десять вечера я сидел дома и читал книгу. Вдруг зазвонил телефон. Девушка с тонким голосочком назвала меня по имени и фамилии и сказала: «Минутку. С вами будет говорить врач!» И я услышал знакомый голос врача-ларинголога Гарагёзова, который полуобитенно-полуфамильярно пожурил меня:

— Послушайте, товарищ Ахмед. Я же жду вас. Чего не являетесь? Нельзя же прерывать лечение, надо же довести дело до конца? Потрудитесь, пожалуйста, немедленно прийти ко мне!..

Возражать мне было нечего. Второпях я повязал ухо платком и направился к дому врача. Я шел и думал по дороге: «Видимо, свет не без добрых людей. Вот, оказывается, какие бывают люди и среди врачей!»

Не думайте, пожалуйста, что «врачи работают ради личной выгоды». Вовсе нет! Во-первых, я лечился за счет государства, то есть из собственных денег не платил врачу ни копейки. Во-вторых, Гарагёзов получает жалованье. Будет ли он принимать в день пятьдесят больных или никого не примет, все равно он будет получать свой оклад. Ни больше, ни меньше. А то, что Гарагёзов сам ищет меня, сам старается довести лечение до конца без видимой охоты с моей стороны, то это отнюдь не от корысти, а исключительно от его гражданских убеждений, от его добросовестного отношения к своим обязанностям.

Эти и подобные мысли возвысили Гарагёзова в моих глазах. Мне стало неловко за то, что человеку еще приходится настаивать на моем же лечении, что не я, а он кровно заинтересован в том,

чтобы от моей болезни не осталось и следа. И как не чувствовать неловкости, когда человек печется о моем здоровье, а я за все его труды отвечаю невниманием, ленью, отлыниваю, не желаю сделать лишних несколько шагов до его дома.

Словом, на этот раз врач осматривал мое ухо гораздо тщательнее и очень обрадовался, когда узнал, что после компрессов боли в моем ухе совсем прекратились. Он пододвинул ко мне свою аппаратуру, опустил на глаз зеркальце, которое сверкало на его лбу, прибавил света в комнате и очень внимательно проверил состояние моего больного уха.

— Уж не фотографируете ли вы, товарищ врач, мое ухо?

Гарагёзов не ответил мне. Был занят своим делом. Только то и дело говорил мне: «Спокойнее, не шевелитесь!» Он подсаживался ко мне то справа, то слева, то поднимал, то опускал зеркальце, прикрепленное ко лбу, то опускался на колени, то опять вскакивал на ноги. Он с таким ожесточением драл мое ухо, что казалось, собирается содрать с него шкуру. Я сидел и терпел. Еле дождался окончания действий врача. Я был так выведен из себя долгими манипуляциями врача, что говорил про себя: «Как вырвусь отсюда, больше никогда не дамся ему в руки!»

Гарагёзов отстранил лампу и убрал свои инструменты. Это очень обрадовало меня. Будто я избавился от тяжелого и опасного труда. Я перевел дыхание, вытер пот с лица и поднялся на ноги.

— Куда встаете? — удивился врач.

— Не кончили разве?

— Постойте, я проверю и нос.

Он проверял мой нос так же долго, как ухо. Я покорился, но мне было уже невозможно.

После всего Гарагёзов задал мне несколько вопросов. Спросил о возрасте, специальности, семейном положении. Записал мои ответы, а также мой домашний адрес и номер телефона.

— Товарищ врач, — сказал я, — такие вопросы задают обычно человеку, когда он устраивается на работу. Какое имеет отношение к ушной болезни семейное положение или специальность человека?

Гарагёзов улыбнулся:

— Вы, — сказал он, — очень любопытны. Но пусть мои вопросы не смущают вас. Все это необходимо для научных исследований. И если мы не будем выяснять, где, в какой общественной среде живет человек, каково состояние и количество больных в разных общественных прослойках и так далее, то мы не сможем принести пользы населению. Без этого не может развиваться также медицина как наука. И если бы проблема исчерпывалась только одним вашим ухом, горя бы не было. Беда в том, что болезнь находит пути проникновения в тысячи ушей. А наша задача — бороться с болезнями.

Я уже не был в состоянии слушать разглагольствований врача. Заметив, что я тороплюсь уйти, он перестал говорить, поднялся и, ухватив меня за локоть, строго-настрого потребовал:

— Приходите... Буду ждать!

Я застыл на месте.

— Доктор, — сказал я. — Я уже не ощущаю никакой боли в ухе. Совсем поправился.

— Не обращайтесь внимания на это. Абсолютно не обращайтесь! Пять дней боли может не быть, а затем целых пять месяцев будете мучиться. До того измучитесь, что молоко, которым вскормила вас мать, вытечет у вас из ноздрей. Я знаю, что делается у вас там в ухе. Я изучил вашу болезнь досконально. Ваше ухо еще нуждается в лечении. Приходите обязательно!

Досадую на врача, я вышел. Поклялся в душе: «Не пойду, и баста!» Тут же забыв о боли в ухе, о враче Гарагёзове и обо всем тому подобном, пошел по своим делам.

Прошло два, не то три дня. Часиков в восемь вечера я повел маленького сынишку в летний кинотеатр. Только мы подошли к буфету, чтобы взять стакан сельтерской малышу, как прибежала меньшая дочь моего соседа и, запыхавшись, сказала:

— Дяденька, к вам пришли гости. Ждут вас дома.

Конечно же возвращать из кино ребенка до начала сеанса было бессердечно. Хорошо, что не заупрямился. Наоборот, услышав о гостях, даже обрадовался.

— Пойдем, папа. Гости у нас. А в кино придем завтра, — предложил малыш.

Вернувшись обратно и войдя в комнату, я увидел Гарагёзова, который сидел за столом. Справа от него сидела статная девушка, а слева — смуглый молодой человек. Я поздоровался с гостями. Гарагёзов поднялся с места.

— Думаете, вы одни так... небрежны к самому себе? Одни манкируете своим лечением? Нет, душа моя! Все таковы! Пока у человека высокая температура, пока его ломит или тошнит он мечется от врача к врачу, бежит в аптеку, обращается за анализами в лабораторию, глотает уйму пилюль или микстур... Но, как только ему полегчает, его и калачом не заманишь к врачу. А ведь ему еще нужно лечиться и лечиться. И мы, врачи, обязаны проследить за ним, довести лечение до конца. Такова задача народного врача. Нуте-ка, садитесь вот сюда!

Гарагёзов опять напялил зеркальце на лоб, зажег настольную лампу и начал возиться с моим ухом. Было неловко заставлять гостей наблюдать за всем этим, и я попросил жену:

— Накрой там на стол. Пусть гости пройдут в ту комнату. Мы скоро присоединимся к вам...

— Нет, нет, — возразил решительно Гарагёзов, — Напрасны ваши хлопоты. Гостям тоже интересно взглянуть, что у вас там и как. Они побудут здесь!

И девушка, и молодой человек поднялись с мест и, подойдя к свету, начали следить за манипуляциями врача.

— Вот, вот! Видите? Видите, как ясно выражено? Малость тень мешает... Гляди-ка, Баба. Вот она! Инфекция вся перед глазами... И как ясно выражена!

Только теперь я понял, что молодые люди — ученики Гарагёзова, и он привел их ко мне для практики, готовя из них будущих врачей. Так вот, оказывается, зачем врач пожаловал! Вот зачем спрашивал мой адрес! И я подумал: «Ну и влип же я!.. Отныне Гарагёзов будет вызывать меня, когда ему будет угодно, и проводить с учениками занятия по моему уху... Теперь уж не отвертишься!.. Эх, зря я дал ему свой домашний адрес!..»

Мне хотелось попросить врача не приводить ко мне посторонних людей на практические занятия, но не решился. Неловко все-таки. Тем более что гости не попили у меня даже чайку. Уходя, Гарагёзов сказал мне:

— Не надо бы вам, голубчик, отлынивать от лечения. Постарайтесь-ка урвать время и понаведайтесь ко мне!

Гости попрощались и ушли, Я задумался: «Что бы такое предпринять, чтобы Гарагёзов оставил меня в покое?» Думал я долго, но ответа на свой вопрос не нашел.

Дней десять—пятнадцать о Гарагёзове ничего не было слышно. Я наивно думал, что избавился наконец от его назойливого внимания. Но однажды, придя домой, я обнаружил у себя на письменном столе пригласительный билет. Меня приглашали в Дом врача, где Гарагёзов должен был представить на обсуждение свое новое произведение. Я и не думал терять вечер из-за Гарагёзова и его произведения. Но в конце приглашения было написано: «В заключение — концерт». Это примечание озадачило меня: «Интересно, что представляет собой произведение Гарагёзова и почему его надо было заключать музыкой?» Это и в

самом деле было интересно. «Пойду, — решил я, — но попозже. Авось удастся мне услышать в сейгях Зульфи газель Физули!»¹

Не успел я еще покончить с ужином, как зазвонил телефон.

Знакомый голос... Мой друг Гарагёзов справлялся о моем здоровье.

— Спасибо, доктор, — отвечаю я. — Здоров. Чтоб вам быть здоровым. Нигде не болит, бодр и весел!

— Вот и отлично!

После этих слов я нарочно помолчал, чтобы Гарагёзов отвязался. Но, оказывается, он только начал переходить к сути дела:

— Послушайте, товарищ Ахмед, наверно, пригласительный билет вы уже получили. Сегодня у нас небольшое собрание. Я буду выступать. Прошу вас взять на себя труд и прибыть ровно в восемь. Я вышлю за вами машину!

За такую любезность мне оставалось только поблагодарить его в ответ.

Когда я входил в зал, Гарагёзов стоял на трибуне и говорил. Он подробно рассказывал о своем новом методе лечения ушной болезни при помощи компрессов. Кончив свой рассказ, он протянул указательный палец в мою сторону и сказал:

— Вот больной, который лечился по моему методу. Он сам может сказать вам, какие страдания причиняет человеку ушная боль. Послушайте, товарищ Ахмед, встаньте, пожалуйста!

Все присутствующие в зале, как один человек, посмотрели на меня. Я поднялся на ноги. Краска стыда залила мое лицо. Я не нашелся что сказать. Наводящими вопросами Гарагёзов все же вытянул из меня несколько слов:

— Вы не ощущаете больше боли в ухе? Опухоль рассосалась?

¹ Сейгях — название мутамы, одного из классических музыкальных произведений; Зульфи — имя популярного певца; Физули — великий азербайджанский поэт-классик.

Великолепно. Потрудитесь, пожалуйста, пройтись по этому ряду. Пусть товарищи наглядно убедятся в результатах моего метода.

Я рассвирепел. Чуть было не разразился бранью. Хотелось обругать и Гарагёзова, и все собрание, и медицинскую науку... Опять язык не повернулся. Я опустил на свое место.

— Стесняется товарищ... — заметил Гарагёзов. — Но желающие могут подойти к нему и посмотреть. Все, кому охота, могут убедиться в результатах моей научной работы. Я лечил этого больного, вернее бывшего больного, методом прикладывания компрессов. Его ухо, которое окончательно избавилось от недуга, являет собой пример отличного воздействия изобретенного мною метода.

После Гарагёзова выступил один врач, который назвал метод Гарагёзова революцией в медицинской науке. Другой выступающий горячо поздравил Гарагёзова и призвал товарищей к широкому внедрению нового метода лечения в больницах и амбулаториях.

Я был так разгневан проделкой Гарагёзова, что не мог усидеть на месте. Я поднялся и вышел из зала. «Не приведи господь снова свидеться с ним, — подумал я. — Но обругать его по телефону я обругаю во что бы то ни стало. Пусть не думает, что я простофиля и со мной можно проделывать все, что взбредет ему в голову!»

На следующий же день я узнал в справочном бюро номер телефона Гарагёзова и позвонил ему. Никогда в жизни я не ругался, ни с кем не ссорился, ни на кого не жаловался. Но на этот раз я твердо решил выместить свою злость на Гарагёзове: «Обругаю, да так, чтобы запомнилось ему на всю жизнь! Нашел, на ком проводить свои опыты!»

Трубку подняла какая-то женщина.

— Кто говорит?

— Попросите, пожалуйста, врача Гарагёзова!

Женщина опустила трубку на рычаг.

Уж не ошибся ли я? Может быть, справочное бюро дало мне не тот номер? Я вторично справился в справочном бюро, назвал имя, отчество и фамилию Гарагёзова, его домашний адрес. Мне снова дали тот же номер. Я позвонил ему вторично.

— Простите, пожалуйста, это квартира врача Гарагёзова?

В трубке зазвучал сердитый женский окрик:

— Гражданин, здесь живет не врач, а профессор Гарагёзов. Просьба не звонить человеку, которого не знаете!

И снова трубка опустилась на рычаг. Звонить еще раз было бы неловко. Решил отложить свой разговор до другого раза.

А вот вчера, возвращаясь домой с работы, я встретил своего двоюродного брата у поликлиники. Он стоял у входа, прижав к носу платок.

— Чего стоишь здесь? — К профессору пришел. Хочу показать нос.

— К какому профессору?

— Профессору Гарагёзову.

Услышав эту фамилию, я вскипел. Хотел было рассказать о нем все, что знал, и, взяв двоюродного брата за руку, увести отсюда. Но понял, что того привела сюда твердая вера в силу профессора, непоколебимая вера в его авторитет и он ни за что не повернет обратно.

— Иди! — сказал я со злой усмешкой. — Посмотрел мое ухо — стал профессором. Посмотрит твой нос — станет академиком.

1955

Перевод Мир Джабара (Мусаева)

МИНДАЛЕВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Дробный стук раздавался в доме Агарзы: еще со вчерашнего дня на доске у тендыра там чистили миндаль. Год выдался урожайный. А еще ходили слухи, что перед праздником в городе очищенный миндаль в хорошей цене. Агарза рассчитывал вывезти на базар большой мешок с миндалем; часть — обменять на зерно, а на выручку с остального купить по дешевке у старьевщика что-нибудь из одежды и обуви.

Шестилетняя Адалят не привыкла сидеть без дела. Она очищала зерна от расколотой скорлупы, собирала их в тарелку. Украдкой можно, конечно, одну-две миндалины отправить в рот, но разве успеешь быстро, чтоб не заметил отец, раскусить и проглотить их! Как подчас трудно бывает съесть то, что тебе не позволено! И Адалят подолгу держала миндалину во рту, осторожно ее покусывая. Девочка то и дело задерживалась взглядом на желтеющих ароматных зернах, она думала о том, как счастливы, наверное, люди, которые могут досыта лакомиться такой сладостью...

- Папа, а куда ты все это повезешь?
 - В город на базар, дочка.
 - А кому ты там будешь продавать?
 - Покупателям.
 - А кто такой покупатель?
 - Какой-нибудь человек, дочка.
 - Хороший человек?
 - Бывает, и хороший, бывает, и плохой.
 - Ой, нет, папа, ты плохому миндаль не отдавай, жалко, продавай только хорошему.
- Агарза усмехнулся.

— Ведь я же не даром отдаю, — продаю тем, кто платит дороже. Адалят настаивала на своем:

— Нет, нет, плохому человеку даже за много денег не продавай. Пусть наш миндаль не достанется плохому человеку, папа!

Выбрав три-четыре миндалины поменьше, отец положил их в ладошку Адалят.

— Эх, дочка, знаешь, как нам нужны деньги! Послал бы бог покупателей, выплатил бы я долги и налоги арбабу¹, а на то, что останется — мало правда, останется, — я куплю цветную бязь, а там — ведь кто знает? — вдруг удастся и пару новых башмачков с кисточками купить, чтобы было тебе что надеть в праздничный день.

Вдруг раздался топот ног, дверь распахнулась, и сосед Агарзы — Алиджан — влетел в комнату.

— Ай ты, несчастный, что сидишь? Твою рощу вырубают!

Агарза, сидевший до того на корточках, вскочил ошеломленный. В правой руке он все еще сжимал горстку скорлупы.

— Ради аллаха, Алиджан, что ты говоришь?

— Рощу твою вырубают, что говорю!

— Быть не может...

— Я только оттуда...

Агарза, поспешно натягивая чарыхи, бросил:

— Кто, кто вырубает, скажи, кто, по какому праву?

— Людей наслали... У старосты спроси.

— Какое он право имеет вырубать мои деревья? Разве я продал ему свой сад? Да отдышись ты, скажи толком.

— Нашел время разговаривать. Говорю тебе — беги со всех ног. И я за свой клевер боюсь: как бы не перепахали и мой участок.

¹Арбаб - староста села

Побегу к мяшавиру¹. Выход надо какой-то искать, Агарза, выход...

Затянув покрепче пояс, Агарза выбежал вслед за Алиджаном. По дороге могут собаки напасть, палку не мешало бы захватить с собой. Вернуться? Тут же передумал: «Люди арбаба увидят меня с палкой, еще больше разозлятся...»

Агарза подбежал к рощице. Какие-то люди разбирали уже изгородь, сбрасывая камни в речку. Взгляд Агарзы упал на срубленные деревья, их уже оттащили в сторону. На миг отнялись руки, в глазах потемнело от прихлынувшей к голове крови, все завертелось, словно мельничный жернов. Каким образом очутился Агарза на другом берегу речки, он уже не помнил. Схватил за ворот нагнувшегося за очередным камнем солдата.

— Эй ты, филин, что делаешь!.. Пока я эти камни таскал, у меня вся спина синяками покрылась. Кто тебе позволил изгородь ломать?

Со лба солдата стекали капельки пота; он стряхнул с себя руку Агарзы.

— Я выполняю приказ. Что ты ко мне прицепился?

Агарза толкнул его и закричал:

— Вон из моего сада!

Высокий офицер-американец подошел к ним и, положив руку на кобуру револьвера, тихо, с нотками угрозы сказал:

— Этот участок ваши хозяева продали нам. Жаловаться можете своему арбабу, а нам не мешайте! Ясно?

Многим людям встречался на узких и темных улицах обширного старого города долговязый, заросший, угрюмый крестьянин. На ногах его были сношенные чарыхи, в руках — палка. Всякий мог легко догадаться, что крестьянин был приезжий человек; видно, какое-то важное дело погнало его в город обивать

¹ Мяшавир — советник.

пороги. Иногда крестьянин останавливал кого-нибудь из прохожих, показывал ему какую-то бумажку и, поклонившись, продолжал путь. Долгий, многодневный, извилистый путь — вышагивай по улицам, пусть тебя сечет дождь или хватает за горло пыльный ветер...

Потеряв всякую надежду добиться справедливости в деревне, Агарза вот уже третий раз приезжает в город. Надо найти человека, который помог бы получить хоть какое-нибудь возмещение за вырубленную рощу. Односельчанин Мирза Магомед написал прошение, и Агарза решил наконец отправиться к самому арбабу.

Он осторожно постучал у ворот высоко огороженного двора. На стук вышел какой-то молодой человек, внимательно оглядел пришельца. Агарза обратился к нему:

— Здесь ли находится дом арбаба, да сохранит его аллах?! Я пришел из Кямярли... Прошение господину. ..

Молодой человек скрылся в воротах. Через несколько минут калитка вновь отворилась. Шепча «бис-миллах», Агарза вошел. Навстречу шла старуха, несла воду. Поравнявшись, прошамкала: «Господин молится, обожди!»

Агарза остановился, прислонившись к каменной стене. Может, хоть теперь вытащить и положить на землю спрятанное под полой приношение? Нет, лучше отдать самому господину в руки. Ох, ох, ох, какое роскошное имение у арбаба!

С веранды сошел и направился к Агарзе сгорбленный, с реденькой бородкой худощавый человек в белой тюбетейке, он перебирал четки. Арбаб в одежде ахунда!¹ Агарза приободрился. «Арбаб, оказывается, богобоязненный человек; человек, почитающий бога, милостив к беднякам...» Принесенных петушков — дар слишком скромный, недостойный для богобоязненного арбаба, это теперь видно было ясно — Агарза

положил на землю, отряхнул полу и выпрямился. Сложив руки на груди, он низко поклонился человеку в белой тюбетейке. Потом достал из-за пазухи прошение, протянул арбабу и вновь согнулся в поклоне. Арбаб молча переводил взгляд с протянутой к нему бумаги на склоненного крестьянина. Руки арбаба продолжали перебирать четки. Что означало его молчание? Может быть, он не хотел прервать молитву? Или разглядывал лохмотья Агарзы и проникался сочувствием к крестьянину? Молчание арбаба придало некоторую решимость Агарзе. Он хотел уже начать рассказывать о горе, причиненном ему американским советником, но тут арбаб взял прошение, сложил его, не взглянув, и вернул Агарзе.

— Послушай, эй, ты, зачем пришел сюда?

— Я пришел с жалобой, господин...

— Зачем в страдную пору, покинув семью и обойдя мюшавира, явился ко мне?

— Господин, один из моих мучителей как раз и есть мюшавир.

— Что там у вас опять случилось, о аллах, нет мне покоя от их дурацких жалоб!

— Господин, вся деревня знает, что я за всю жизнь никогда ни на кого не жаловался. Но что же осталось мне делать теперь? Подумайте только, господин, вырубili мои миндальные деревья... вся надежда моя... единственный источник пропитания семьи... Вот почему я решил причинить вам беспокойство, господин. Только вы можете защитить меня...

Агарзе хотелось сказать о многом, о том, как долгие годы мечтал он посадить и вырастить деревья, свои миндальные деревья, как без устали таскал он, покрывая синяками спину, огромные камни для изгороди, как... Но человек в белой тюбетейке его прервал:

— Глупец, ты должен благодарить, а не надоедать в такое жаркое время дурацкой жалобой. Миндаль вырубili для твоей же пользы.

«Что он говорит? Кого я должен благодарить, за что?»

Агарза подумал, что, может быть, прошение плохо составлено, может быть, он сам говорил плохо. «А может, арбаб просто туг на ухо, в старости это часто бывает, с ним надо говорить громче».

И, приблизившись к арбабу, Агарза повторил, что вот он принес прошение, у него ни за что ни про что вырубili миндалевую рощу... Человек в белой тюбетейке отступил на шаг и тоже повысил голос:

— Эй, ты, что кричишь? Здесь глухих нет. Я повторяю: миндаль вырубili для твоей же пользы!

Агарза втянул голову в плечи протянул вперед руки, словно хотел защититься от чего-то страшного и непонятного, что надвигалось на него.

— Да, да, для твоей же пользы, — все больше распалялся арбаб, — ты должен быть благодарен, что американские мюшавиры прибыли к нам в Иран, они нас с тобой защищают... От кого? От коммунистов, глупец. Пойми, несчастный: для чего американцы строят у нас аэродромы? Ты что же, хотел бы, чтоб коммунисты завтра сбросили на твою голову бомбы?

Агарза уже ничего не понимал.

— Какие коммунисты, господин? В нашей деревне их солдаты стояли в годы войны. Ничего плохого они не сделали тогда, господин. А сейчас их и вовсе нет в Кямярли... Какие там бомбы...

Человек в белой тюбетейке, отбросив четки, кинулся к Агарзе. Он вырвал из его рук палку и, осыпая бедняка неистовой бранью, закричал слугам:

— Гоните вон этого нечестивца! Пусть убегает в ад! Чтоб его

духу здесь не было! Ах, наглец, ах негодяй! Одет в драные чарыхи, а какую развел агитацию... Вон!

Кое-как выбравшись за ворота, Агарза отправился к Мирза Магомеду, надоумившему его обратиться к арбабу.

Тот отругал Агарзу:

— О чем ты думал? Пришел к господину с двумя полудохлыми цыплятами. Пойми, не все так бескорыстны, как я, Мирза Магомед, пишуший тебе безвозмездно прошение... А что ты наговорил об американцах, ах, глупец, до седых волос дожил, а не понимаешь, как с кем разговаривать...

— Друг мой, зачем так говорить? Ведь арбаб должен понять: я прошу возмещения за срубленные деревья, за свои деревья, выращенные собственными руками. Не прошу же я милостыню... А что до американцев... Знаешь, если мяшавиру, будь он американец, англичанин, кто бы ни был, нужна земля, пусть возьмет ее в каком-нибудь другом месте. Мало земли, что ли? Как будто самолету во всем Иране негде опуститься, как только на мою рощу!..

По совету Мирза Магомеда Агарза получил у американского советника бумагу, что действительно в такой-то деревне такого-то магала рощица Агарзы, сына Бабы, состоящая из тридцати одного дерева, вырублена в соответствии со статьей такого-то договора о союзе и дружбе, вырублена для нужд, определяемых статьями такими-то того же договора. Если представить бумагу в Государственный банк, учил Агарзу Мирза Магомед, то хотя бы часть понесенного убытка можно будет возместить.

В деревне не оставалось ни одного грамотного, которому бы Агарза не дал прочитать этот документ. Он ему нравился. Все изложено правильно и ясно, непонятными оставались только слова о каком-то договоре и статьях. Да и то сказать, когда этот договор

составлялся, его, Агарзу, сына Бабы, не спрашивали! Но все-таки, тыча пальцем в непонятное место, Агарза настойчиво допытывался у грамотеев:

— Что это за договор, братец? Кто его придумал? Маршалл, говоришь? Кто этот человек: тот, кто приказал мяшавиру вырубить мои деревья?

Находились такие, что заводили с ним долгий разговор о газетах, о политике. Но Агарза быстро терял терпение, сердито отмахивался:

— Какие там планы, какие договоры? Пусть договариваются с шахом. При чем здесь мои деревья? Если так уж необходимо составить какой-то там план, пусть включают в него земли помещиков, а не рощицу величиною с молитвенный коврик!

Мирза Магомед терпеливо объяснял:

— Пойми же, наивный ты человек, этот план привезли из Америки не только к нам, но и к туркам и к грекам. Это вроде подати... Все страны засыпаны яичным порошком.

В банке, конечно, посмеялись над справкой, которую дал Агарзе советник.

— Эта бумажка, — сказал делопроизводитель, лысый человек в очках, — не дает тебе никакого права на иск. Впрочем, попробуй, обратиться в суд, пусть рассмотрят...

...Раз двадцать в суде Агарзу допрашивали, что-то долго старательно записывали. Потом заявили, что не будут рассматривать дело в отсутствие мяшавира. После долгих проволочек в суд явился адвокат-американец и быстро убедил всех в том, что земля, где были посажены миндальные деревья Агарзы, принадлежала арбабу и что у крестьянина нет никаких прав на нее и потому нечего с ним возиться, никто не должен Агарзе ни гроша.

Агарзе высказаться не дали. Иск его был отклонен.

Крестьянин попытался поговорить с адвокатом.

— Господин адвокат...

Тот не обратил на него внимания.

— Господин адвокат...

Тот не слышал. Да что же это такое? Почему все они, эти арбабы, мяшавиры, судьи, адвокаты, не хотят послушать, что говорит им простой человек?

Агарза, ускорив шаг, догнал адвоката и схватил за плечо.

— Стой же, адвокат, я ведь к тебе обращаюсь...

Адвокат обернулся, увидел побагровевшее от гнева лицо, струсил.

— Полиция! Эй, полиция!

Ага, вон как ты запел. «Полиция!» В тюрьму меня хочешь теперь упрятать. За мои же деревья... Агарза, не отпуская адвоката, смотрел ему в лицо ненавидящим взглядом.

— Обманщик... Подлый обманщик... Проклятье твоему роду. На, получай! — И, вне себя от гнева и обиды, Агарза ударил адвоката по щеке.

Вскрикнув, тот упал. Агарза побежал к двери, закрыв лицо рукой, измазанной кровью американца, выскочил на улицу, кого-то оттолкнув с дороги. Ничего не видя и не слыша, перепрыгнул через полуобвалившийся забор, потом перелез еще через какую-то стену и очутился в дворике, обсаженном деревьями. Тут Агарза передохнул. Это был двор больницы. Увидев человека, испачканного кровью, доктор повел его в перевязочную. А в ворота больницы уже гремели удары. Люди, среди которых сустились полицейские и адвокат, требовали, чтобы доктор выдал смутьяна... врага государства... убийцу.

— Господа, что прикажете?

— Мы требуем выдачи скрывающегося здесь преступника.

— Здесь лечебница, господин...

— Чья лечебница?

— Разве это имеет значение? Чьей бы она ни была, назначение ее одно — лечить больных людей, господин.

— Мы хотим, чтобы нам выдали скрывающегося здесь...

Говоривший не успел закончить... Агарза с бледным лицом стоял в дверях... Громко сказал:

— Вы пришли за мной? Вас привел вон тот господин, да? Господин адвокат, лучше бы вернуться тебе домой, в Америку, занимайся своими обманами там. Эй, люди, верно я говорю?! Что у нас здесь, американская земля? Кто их сюда приглашал? Или наша кровь, наш труд, наши деревья пришли им по вкусу... Так, что ли?..

У ворот больницы собралась уже немалая толпа: бедно одетые прохожие, ремесленники, жившие неподалеку, нищие, уличные ребята. От нервного возбуждения глаза Агарзы расширились, жилы на шее вздулись, лицо потемнело. С силой потрясая кулаками, он снова закричал:

— Пришлись по вкусу?! Да?!

Агарза шагнул вперед.

— Пиявки! Скорпионы!

Нечего было и думать арестовать Агарзу здесь.

Толпа людей, одетых в такую же серую одежду, с таким же красным, как медь, загаром на лице и руках, окружила высокого седого крестьянина с засученными рукавами и разметавшимися волосами. Одобрительным гулом встречала она его слова.

Сосед Агарзы — Алиджан — присматривал за маленькой Адалят, пока отец ее ходил по городу, добываясь справедливости. Алиджан старался не оставлять девочку одну, но Адалят удавалось каждый день украдкой убегать на окраину деревни, к миндалевой

роще. С болью в маленьком сердечке смотрела она на поваленные стволы; следила за тем, как на месте прежней изгороди закладывали бетонный фундамент. Девочка старалась запомнить все, чтобы рассказать потом отцу.

Каким-то чудом сохранилось небольшое деревце, посаженное самой Адалят. Сколько радости ей было самой поливать его, очищать от сорняков землю вокруг, смахивать муравьев с коры! Адалят прибегала и сейчас ухаживать за ним. Но как голо, как страшно было сейчас вокруг деревца, стоящего одинокой сиротой, потерявшего родных и близких. Казалось, его нежно-зеленые листья, недавно пробившиеся навстречу жизни и солнцу, жалобно шептали, рассказывая девочке о чем-то грустном. Что могла сделать Адалят для своего беззащитного друга? Разве только разрыхлить землю, чтобы деревцу было легче пить? Или смастерить отдельную, пусть крошечную, изгородь? Но как страшно громяхают эти огромные машины, как легко они сносят каменные стены, разравнивая землю. Разве остановит их изгородь?!

Казалось, и молодое деревце предчувствовало свою участь. Шумом своих веток оно предостерегало: «Держись подальше от этих злых людей, Адалят». Или, может быть, просило: «Унеси и спрячь меня!» Но куда, куда? Адалят подошла к деревцу со своей лопаткой. Высокий офицер в белых перчатках, кивнул на деревце, спросил: «Жалко тебе его?» Адалят молчала. Офицер подождал какое-то время, потом вынул большой нож и срезал деревце. Словно застыв с остановившимся от страха и обиды взглядом, девочка смотрела на него. Ласково улыбаясь, офицер в перчатках протянул прут девочке:

— Возьми!

Адалят молчала.

— Возьми же, ну!

Ждать было некогда, офицер, подхлестнув девочку миндальным прутом по голым, коричневым от загара ногам, прикрикнул:

— Ну, тогда уходи... Быстро, быстро...

Крепко зажав в кулачке гибкий ствол молодого миндаля, Адалят, плача, бежала по низу оврага. Она не обращала внимания на колючие кусты, царапавшие ноги и руки. Она не знала, куда бежала. Прежде она собирала здесь цветы, искала птичьи гнезда, пасла ягнят, собирала хворост.

Старые материнские башмаки давно уже слетели с ног. Адалят не чувствовала ни остроты камней, ни цепкости колючек.

— Папа, где ты?! Где ты, папа? — то и дело всхлипывала она.

В тот же вечер Агарза возвращался из города домой. Отправляясь в город, он спрятал в карман немного денег, в руках у него было прошение, в сердце теплилась надежда. Теперь он возвращался ни с чем. Впрочем, нет, в сердце своем вместо надежды он нес тяжелую, жгучую обиду. Он все старался убедить себя, что надо забыть о случившемся, снять какой-нибудь клочок земли на горном склоне, начать обрабатывать его заступом и мотыгой, посеять батмана два ячменя — надо жить дальше, добывать хоть как-нибудь средства на пропитание единственного ребенка.

Но обида не проходила. Агарза все более укреплялся в мысли, что никогда он не сможет забыть причиненного ему зла. Срубленные чужой рукой миндальные деревья, казалось, вновь поднялись, дружно зашумели листвой, спрашивая его: «Агарза, ты знаешь, в чем наша вина? Агарза, спросил ли ты с тех, кто не дал Нам встретить весну? Кто спросит с тех, кто убил нас, если не ты?»

— От жалоб, видно, нет никакого толку... — вслух сказал Агарза и тут же вздрогнул.

— Папочка!

Из придорожного куста в вечерних сумерках показалась маленькая Адалят. Плача, девочка бросилась к отцу.

Агарза испуганно воскликнул:

— Дочка! Как ты тут очутилась?

— Папочка, папочка, я ищу тебя... Они срубили и мое деревце... Они побили меня.

Отец и дочь присели на камень. Агарза молчал, не зная, как утешить ребенка. Была уже ночь. В темной глубине неба поблескивали звезды. Прижимая к себе Адалят, Агарза все смотрел и смотрел на загоревшуюся впереди на севере Полярную звезду.

1955

Перевод Юрия Суровцева

ПРИГОДИТСЯ

Уж так повелось, что, когда сосед мой возвращается с работы, я иду на работу. Он был инженером на заводе, я — учителем в вечерней школе. И хотя соседство наше насчитывало более чем пятнадцатилетнюю давность, большой близости с Мурсалом у меня не было. В гости друг к другу мы не ходили. Знакомство наше, можно сказать, было шапочное: здравствуйте, прощайте.

Впервые я увидел его, когда он еще до войны переезжал в дом номер одиннадцать на нашей улице. Чаше всего он попадается мне на глаза у этого дома.

Понятно, что встречи наши носят самый мимолетный характер, а разговор состоит из тех стандартно-деликатных фраз, какими обмениваются обычно люди, мало интересующиеся друг другом, но соблюдающие правила вежливости.

— Салам!

— Салам!

— Как поживаете?

— Спасибо, а как вы?

— Ничего, благодарю.

— Что новенького?

— Все по-старому...

— Погода как будто установилась хорошая.

— Да хорошая... Ну, простите, мне в ту сторону.

— А мне в эту.

Подобного рода беседы происходили у нас с Мурсалом вот уже лет пятнадцать при каждой встрече. Может быть, мы иногда и произносили на два-три слова больше или меньше, но суть дела не менялась.

Что мешало нашему сближению — сказать трудно. Может быть,

нам просто не о чем было говорить? Но это не так, культурным людям всегда есть о чем поговорить. Может быть, мы так спешили, что не находилось свободной минуты? И это не так. Вы знаете, что для разговора с человеком, который пришелся тебе по душе, время найдется.

Или же мы недолгоблюдали друг друга? И этого сказать не могу. Не хочу брать греха на свою душу, не хочу возводить клевету на соседа.

Кто же, спросите вы, бросил между вами камень раздора? Почему за пятнадцать лет вы не сказали друг другу и пятнадцати приветливых слов?

Признаться, я и сам не знал причины этого.

И, однако же, в последнее время легкий холодок в наших отношениях неожиданно уступил место более теплоте чувству. Причиной тому послужило одно обстоятельство, о котором я и собираюсь вам рассказать.

Мурсал был человеком средних лет, высоким, широкобровым, светлолицым. Лицо у него было приятное и добродушное.

И еще должен вам сказать, что заработки у Мурсала были неплохие. Откуда мне известно это? Разумеется, не из бухгалтерской ведомости. Я сужу об этом по тому, что, возвращаясь домой, он никогда не приходит с пустыми руками. Это я не раз видел собственными глазами. Обычно он входил в дом весь в поту, так нагруженный покупками, что ему приходилось отворять дверь носком ботинка.

Не думайте, что я такой обыватель, что заглядываю в чужие корзины. Заинтересовало меня во всем этом то, что, какова бы ни была покупка, большая или маленькая, Мурсал все равно разворачивал ее у подъезда, точно хотел продемонстрировать свое приобретение перед соседями или прохожими.

Смотришь, не успеет он дойти до дому, как уже развязывает шпагат на какой-нибудь коробке и достает оттуда электрический чайник или настольную лампу, детский киноаппарат или вентилятор. Потом, бросив коробку, бечевку и оберточную бумагу у дверей, входит в дом.

И так всегда. Чтобы он ни принес — ботинки или шапку, чернильный прибор или настольные часы, — он, развернув покупку, обязательно оставляет обертку у входа, а вещи несет домой.

Признаюсь, эту странную манеру соседа я находил весьма некрасивой. В самом деле, для чего надо было разворачивать и выставлять напоказ свои покупки? Неужто все это делалось только для того, чтобы прихвастнуть новым приобретением?

Правда, я знал людей, которые, чтобы только показать свое новое пальто или костюм, могли фланировать по улицам до полного изнеможения. Но подобная черта как-то не вязалась с обликом Мурсала. Расскажи обо всем этом мне другой, я, может быть, и не поверил бы. Однако я сам ежедневно видел это воочию. Видел брошенные Мурсалом у входа коробки самой различной величины, формы и цвета, плотные пакеты, оберточную бумагу и шпагат. «Что за странное тщеславие?» — думалось мне.

Говорят, что невысказанное слово рано или поздно пробьет грудь. В конце концов я твердо решил поговорить обо всем с самим Мурсалом. Пусть даже он рассердится, но я скажу ему прямо в глаза, что манера его хвастать своими покупками на улице весьма некрасива. Множество людей каждодневно покупают в магазинах различные вещи, однако никто из них не демонстрирует их на улице. Подобное тщеславие попросту унижает человека.

Как говорится у нас, азербайджанцев, каждому разговору положено свое время. Было начало апреля, часов так около пяти-

шести вечера. Идя к троллейбусу, я увидел у знакомого дома Мурсала. Как обычно, он стоял у дверей и развязывал пакет. На этот раз он извлек из большой, красиво разрисованной коробки хрустальную вазу. Вокруг валялась оберточная бумага. Он молча кивнул мне и хотел войти в дом. Но тут я не выдержал и жестом руки остановил его.

— Поздравляю! Вы, кажется, приобрели хрусталь? — с легкой усмешкой в голосе спросил я.

Мурсал рассеянно поблагодарил и стал ждать, когда я пройду. Я же другим тоном продолжал:

— Сосед, хочу сказать вам кое-что. Только вы не должны сердиться. Считайте это дружеским словом или вмешательством в чужие дела, но я решил высказать то, что давно лежит на сердце.

Мурсал с любопытством взглянул на меня. Видимо, такой неожиданный поворот разговора заинтересовал его. Взяв меня под руку, он пригласил войти в дом:

— Пожалуйста! Пожалуйста! Я не рассержусь. Охотно готов выслушать добрый совет, в особенности педагога, хотя, увы, я и вышел из школьного возраста.

— Любезный сосед, — несколько торжественно начал я. — Вижу, что вы действительно хороший семьянин. Приятно видеть вас всегда нагруженным покупками, приятно видеть вашу заботу о семье. Ведь иные мужчины это хлопотливое дело предпочитают взваливать на женщин. Да, но... Но одна вещь остается мне неясной. И в ней неплохо бы разобраться, скажем, так, в виде вопросов и ответов.

Мои слова явно заинтересовали Мурсала. Он хотел узнать, куда я клоню. Я же, чтобы не очень обижать его, придал своей критике несколько обтекаемую, так сказать, вопросительную форму.

— Всякий раз вы разворачиваете свои покупки у дверей, и,

признаюсь, смысл этого мне не совсем ясен. У вас прекрасная квартира. Почему бы вам не приносить в дом свои подарки в упакованном виде? И домашним было бы куда интереснее. А я вижу, как вы распаковываете свои покупки, словно какие-то странные подношения, у самого входа в дом, на глазах у посторонних людей. Ребятишки постоянно таскают от вас всевозможные коробки, веревку, бумагу. Однажды я даже слышал, как ваша мамаша сердилась и кричала на них.

Высказав все, что накопилось, я даже почувствовал облегчение и вздохнул свободнее.

Мурсал поставил принесенную вазу на тахту и задумчиво посмотрел на меня, словно ожидая, не продолжу ли я свою речь. Но мне нечего было прибавить — стрела явно попала в цель. Пока я разглагольствовал, мой сосед поминутно менялся в лице. Опустив глаза, он уставился на кончики своих ботинок. Мне он напоминал школьника, приунывшего под градом неожиданных вопросов педагога. Наконец, подняв голову, он сказал:

— Быть может, отложим нашу беседу на другое время? Разговор этот долгий, и я вижу, вы торопитесь.

Но я решил идти до конца.

— Не беда. У меня есть в запасе часок.

— Что ж, тогда давайте присядем.

Мы уселись. И вот что он мне рассказал:

— Моя мать — старая женщина, очень домовитая, и есть у нее одна, довольно странная на первый взгляд привычка: она подбирает и приносит в дом все, что, по ее мнению, имеет какую-то ценность: каждую щепку, картон, бумагу, консервную банку... И при этом приговаривает: «Пригодится!» Она не может расстаться ни с одной старой вещью.

Мы просто обросли всяким хламом. Столько пустых коробок,

старой одежды, изношенных ботинок и калош, галстуков, ножек от стульев, пузырьков от лекарств, треснувших тарелок, испорченных лампочек, исписанных тетрадей, поломанных ручек, обветшавших корзин... не найдется, пожалуй, больше ни в одном доме. Поверьте, я не лгу, где-то на дне сундука она хранит свои стоптанные башмаки, сохранившиеся со дня ее свадьбы. Когда я, порой доведенный до отчаяния, пытался выкинуть кое-что из старья, мать моя сердилась: «Это же тебе не мешает!» — «Почему ты не выбросишь этот хлам, чтобы он не лез под руку?» — сердито спрашивал я. «Все может пригодиться, сынок!»

Порой я совершенно выходил из терпения. Но мать есть мать. И своей трогательной наивностью она просто обезоруживает меня. Вы представляете, она гладит меня по голове и говорит: «Сынок, создать дом нелегко. Ты еще дитя и не знаешь, что такое нужда, как может порой понадобиться какой-нибудь гвоздик, иголка или обломок стекла. Надо знать цену своим вещам! Что из того, что это старое? Каждой вещи — свое место: старому — старое, новому — новое. С ума, что ли, я сошла, чтоб выбрасывать свои вещи! Они себе лежат да полеживают, платы за хранение не просят. Новое блюдечко подам гостю, а из старого буду сама пить».

Я вижу, что она не может расстаться с заносенным до дыр платьем, словно теряет вместе с ним нечто ценное и дорогое. Ох, вы бы только посмотрели, как цепко она держится за все это! Она собирает и складывает мои старые галстуки, жалеет новую кастрюльку для варки яиц и варит их в консервной банке.

Иной раз я не могу сдержаться. Хватаю эту банку и выкидываю на улицу.

Мать, не желая раздражать меня, не говорит ни слова. Однако минуту спустя она незаметно исчезает, выходит на улицу и приносит назад эту проклятую банку.

Я не знаю, как лечить человека, одержимого таким недугом, мне остается одно — не приносить домой ни коробок, ни банок, ни оберточной бумаги. Мне приходится отделяться от всей упаковки у дверей, чтоб не превращать квартиру в свалку хлама.

Мурсал перевел дух. Его семейная тайна поразила меня.

— Может быть, — неловко заметил я, — это черта у нее наследственная?

— Какое там наследственная, несчастная не видела даже своих родителей и росла служанкой в доме своего дяди.

— Видно, у дяди ей жилось плохо.

— Он одевал ее в обноски своих детей.

— Так зачем же вы укоряете бедняжку? Эта привычка — след горькой нужды. С детства она на каждую тряпочку смотрела с вожделением.

Мурсал засмеялся.

— Со времени ее детства прошло больше полвека. Я знаю чабанов, которые за это время стали учеными. Теперь-то она всем обеспечена! Чего ей не хватает?

— Забыть привычку — изгнать болезнь.

— Старая пословица.

— А разве мать ваша не старый человек? Мурсал задумался, но потом решительно сказал:

— А все же я сумею вылечить ее от этого недуга.

В скором времени Мурсалу предстояло переехать на новую квартиру. «Оставим материнское барахло и переедем», — подумал он втайне. Но, кажется, мать угадала его намерение. Потихоньку перебирала она и укладывала свои узелки. «Там, — говорила она, — ты отведешь мне комнатенку, я буду у себя держать свои вещи, чтобы они не мешали вам».

Я дал Мурсалу совет: надо перебраться в такое время, когда

матери не будет в городе.

Мурсал одобрил мой план. В середине августа, когда мать была с детьми на даче в Пиршагах, он один возвратился в город и переехал на новую квартиру.

Пришлось вызвать две грузовые машины. В одной перевезли в новый дом обстановку и домашние вещи, другая повезла старый хлам за город, на славку.

Спустя неделю после этого Мурсал, усадив мать на машину, привез ее на новую квартиру. Обходя большие, светлые комнаты с блестящими паркетными полами, она без усталости восторгалась:

— Пах-пах! На долгие годы, сынок!

Однако взгляд ее беспокойно блуждал в поисках, чего-то.

— А где же мои вещи? Куда вы подевали их? — спросила она наконец.

— Какие вещи?

— Мои платья, узелки?

— Они там, в сундуке!

— В сундук столько вещей поместиться не могло, я говорю о старых вещах.

— Старое мы оставили в старой квартире.

— Не говори пустяков, покажи, где вещи. Я не вижу картонного короба!

— Мать, да разве можно было перевозить сюда все это?

Мать, рассердившись, направилась на старую квартиру. Квартира оказалась запертой: новый хозяин был в отъезде.

Не раз мать, не жалея ног, ходила на старую квартиру. Но вещей своих, конечно, не нашла. Однажды, возвратившись, она села за стол и горестно вздохнула:

— Эх, сколько пропало вещей в старой квартире! Дорого обошелся мне переезд...

А сын, мягко погладив ее по плечу, ответил:

— Верно, мать, на прежней квартире ты потеряла много старья. Ну и отлично, теперь тебе жить будет легче.

1957

Перевод Азиза Шарифа

ПОСЛЕ ПЛОВА

Большое оживление на вокзале сегодня вечером. Со стороны может казаться, что люди собрались сюда проводить в путь или встретить весьма почтенного гостя. Обстановка, однако, напоминает скорее церемонию проводов, нежели встречи. Во-первых, потому, что люди с вещами в руках торопливо бегут к вагонам, во-вторых, потому, что паровоз и прицепленные к нему вагоны выстроились так, как они выстраиваются обычно в поезде, готовящемся к отправлению. В-третьих...

Впрочем, зачем зря томить вас? Столпившиеся у поезда люди именно провожают почтенного гостя. По чистому, хорошо укатанному асфальту перрона снуют люди, среди которых можно видеть и военных, и учителей, и многих других, вплоть до разодетых и хорошо упитанных дам.

Особенно густо столпились люди у мягкого вагона. Кто бы это мог быть, этот почтенный гость, который собирается отбыть?

Это будущий студент, едуший в Москву. Скорее всего это отпрыск не то ученого, не то поэта, не то министра.

Толпа у мягкого вагона тесно обступила Рамиза — студента в будущем, юношу, окончившего десятилетку в этом году. Один сует ему коробку шоколада, другой — корзину отборного винограда, третий — кульки, полные каких-то фруктов. Кто-то там тянется к окну вагона и подает пару бутылок лимонаду и просит поставить их на столик в купе Рамиза. Невысокого роста полная женщина в габардиновом пальто, белой шляпе, белых перчатках и туфлях не сводит глаз с Рамиза. Вот она подходит к нему, смахивает с его воротника волосок, затем откидывает назад и приглаживает рукой его взъерошенную шевелюру и что-то говорит ему. Парень передвигает вверх и вниз замочек молнии, сверкающей на груди

его шелковой тенниски, и нехотя отвечает на замечания и вопросы матери. Видимо, семейные разговоры на людях, особенно эти частые проявления материнской ласки, ему не по вкусу.

Эркиназ-ханум довольными глазами посмотрела вокруг и, пытаясь привлечь к себе всеобщее внимание, как бы говорила во всеуслышание: глядите, какого я сына вырастила! При этом она старается оставить в тени даже собственного мужа, который тоже не прочь похвастаться своими отцовскими правами.

Затягиваясь ароматным дымом, Намазов обращается к сыну:

— Все съестное, что потребуется тебе в пути, мы купим здесь же. Чтобы не было нужды тебе выходить из вагона за покупками. Рамиз, чего тебе еще хочется?

Эркиназ-ханум возражает мужу:

— Скажешь тоже! Что тебе Рамиз, красная девица, чтобы сидеть все время в вагоне и не выходить? Это дорога, путешествие. Он и сойдет с поезда, и сядет! А если в пути попадется что-либо по вкусу — и купит! Что ты стесняешь ребенка? Неужели денег жаль?

Намазов меняется в лице. Он жалеет о сказанном.

Рамиз же, сказав «ничего мне не надо», опускает голову. В толпе раздаются смешки. Смеется и сама Эркиназ-ханум. Подойдя к сыну, она хлопает его по спине:

— Не тужи, сынок! Сори деньгами сколько душе твоей угодно. Недостатка в них у тебя не будет. Не умерла же твоя мать? Клянусь аллахом и собственным здоровьем, говорю правду!

Незадолго до последнего звонка появляются на перроне запыхавшиеся мужчина и женщина. Он небольшого роста с поседевшей головой, она среднего роста старуха. Они второпях поднимают в вагон большой узел и тащат его к вещам Рамиза. За ними поднимается в вагон и Эркиназ-ханум. Она еще раз

осматривает купе, проверяет, достаточно ли удобно будет здесь «ребенку». Вскоре раздается последний звонок. Провожающие покидают вагон. Рамиз прощается сначала с посторонними людьми, затем подает руку родителям и целуется с ними. Эркиназ-ханум сильно встревожена:

— Рамиз, ненаглядный мой, гляди останешься! Садись скорее!

Поезд трогается. Рамиз, вспрыгнув на лесенку вагона, машет на прощание платком. Поезд набирает скорость. Родные, знакомые, товарищи и друзья машут руками Рамизу, пока вагон не скрывается за поворотом. Одна Эркиназ-ханум то плачет, прикладывая к глазам крошечный платочек с красной каймой, то, подняв высоко в воздух руку, машет сыну.

Если кто скажет, что не любит своего ребенка, — не верьте. Он говорит неправду. Дети дороги всякому. И не только человек, но и всякое живое существо, всякий зверь любит своего детеныша. Вопрос, однако, в том, как любить?

Любовь Эркиназ-ханум к сыну — это нечто особенное. Оттого ли, что у нее не было братьев, оттого ли, что она родила всего одного сына, оттого ли, что Рамиз рос на ее глазах и она видела все его детские забавы, проказы и шалости, видела, как веселился Рамиз в кругу своих сверстников, как пел, как играл, или невесть отчего, предметом всех рассуждений, началом и концом всех разговоров Эркиназ-ханум являлся Рамиз, и только он. В гостях ли, во время праздничных или семейных торжеств ли — словом, всюду и везде, где собирается общество, Эркиназ-ханум говорит о Рамизе. Говорит она о том, что Рамиз «очень старательный, очень дельный, очень умный и находчивый ребенок. Очень чуткий и отзывчивый, очень воспитанный, очень развитой и способный мальчик. Как не сказать вам о том, в какие глубокомысленные слова облекает он свою речь при разговоре по телефону? Как ловко

подражает всяким там кинозвездам, как рисует, как ведет машину, какие красивые пишет письма, с каким вкусом выбирает себе костюм, как изысканно одевается, как играет, поет и танцует! Как не сказать о том, какие он получает пригласительные билеты на концерты, с какими редкими красавицами садится в первых рядах? Как не сказать о том, как строго, с каким достоинством держится он в обществе, какие изысканные у него манеры, как он воспитан, как умен, великодушен, вежлив и предупредителен? О каких еще достоинствах Рамиза сказать вам? Всего-то и не перескажешь!...»

В каком бы обществе ни находилась Эркиназ-ханум, она всегда, при удобном случае, заводит речь о сыне. Правда, повторяет она обычно одно и то же, но говорит с таким увлечением, так восторженно, что сказанное ею воспринимается как нечто совершенно новое. Мы сказали «при удобном случае», но это не совсем так. Начиная говорить о Рамизе, Эркиназ-ханум делает вид, что пришлось к слову, хотя это далеко не так. Другому человеку, возможно, было бы неловко говорить невпопад, оборвав вдруг чужую мысль и начав говорить о своем. «Какое это имеет отношение к тому, о чем говорят люди?» — может быть, спросил бы иной человек. Но Эркиназ-ханум поступает по-своему и этого вопроса не задает. Она заводит речь о Рамизе, когда говорят о другом, так ловко, так искусно, что говорящие и не замечают этого. К примеру, когда женщины ведут разговор о платьях, о новой моде, вдруг, видишь, вмешалась Эркиназ-ханум и начала:

— Теперешней молодежи не угодишь. Ничего им не нравится. Вот отец Рамиза заказал ему два костюма. Один из чистого бостона, другой — из трико. Еще один костюм он купил ему в Тифлисе, в комиссионном магазине. Новенький совершенно! Но ни один из них не пришелся ему по вкусу. Приходится покупать еще один. Что поделаешь? Молод ведь.

Когда люди начинают говорить о кубинских яблоневох садах, об обилии фруктов в этом году, Эркиназ-ханум тут же жалуется:

— Наш Рамиз в рот не возьмет фруктов, купленных на рынке. Клянусь аллахом, клянусь собственным здоровьем, не возьмет. Говорит, что виноград, к тому же белый шаны или дербентский, он сам должен срезать с лозы, что яблоко, причем белое кубинское, сам должен срывать с ветки. В прошлом году отец специально для него взял в аренду сад в Кусарах. Две тысячи уплатил. Не сад, а сплошные яблони и груши!..

Особенно захлебывалась Эркиназ-ханум, когда заходила речь о школе:

— Наш ребенок какой-то особенный! Вы бы послушали, что говорят учителя! Ну, просто какой-то особенный! Директора поражаются ему. В таком возрасте и такой зрелый ум! Неслыханно!.. Уже сейчас профессора затеяли ссору из-за него. Один говорит, что «Рамиз должен учиться в моем институте»! Другой настаивает на том, что будет учить его сам! А третий считает, что Рамиз должен учиться при академиях! Весь город только о нем и говорит. Не знаю, чем все это кончится. Клянусь здоровьем! Бабушке надоело пришивать к его рубашке бусинки от сглаза. Сам, конечно, не разрешит. Как увидит, сейчас же отрывает и отбрасывает прочь. Мы слышали, что из-за парня ссорились девушки. А о нем ссорятся профессора. Глаз с него не сводят! Клянусь аллахом, клянусь здоровьем, будто влюблены в него!

— Эркиназ-ханум, а какой предмет больше всего по вкусу Рамизу!

— Да все предметы! Разве есть предмет, который не знал бы Рамиз? Разве найдешь книгу, которую не прочитал бы Рамиз? Уму непостижимо! Учителя поражаются ему. Слыхано ли, чтобы

в таком возрасте иметь такую голову? Нет, Рамиз — что-то особенное, да хранит аллах и ваших!

Люди, вошедшие в вагон, сразу почувствовали запах шафрана. Да, пахло шафраном, но как-то странно пахло. Казалось, шафран не то вскипятили, не то пожарили, не то залили топленым маслом. Пассажиры недоумевали:

— Что это за аромат, товарищ проводник?

— Мне тоже кажется, что пахнет.

— Неужто из вагона-ресторана?

— Нет, в вагоне-ресторане ничего подобного не бывает.

Когда проводник подошел к другому концу вагона, запах шафрана как-то особенно густо бил в нос. И проводник понял, что это из купе студента, едущего в Москву. Проходя мимо, он одним глазом посмотрел в купе. За столиком у окна сидели двое парней и, чокаясь со звоном чайными стаканами, пили коньяк и уплетали плов, густо приправленный шафраном. Проводник быстро прошел дальше. Не хотелось ему беспокоить парней, не хотелось, чтобы они подумали, что будто кто-то следит за ними.

Итак, всюду, где представлялась малейшая возможность, Эркиназ-ханум расхваливала своего сына, старалась убедить любого и каждого, что лучше ее сына нет, что он не только не уступает ни в чем своим ровесникам, но во всем превосходит лучших, достойнейших молодых людей его возраста. А между тем никаких оснований так превозносить своего сына у нее не было. В средней школе Рамиз учился посредственно, часто и того хуже, и это, разумеется, было хорошо известно Эркиназ-ханум. Тем не менее она не переставала хвалить сына. Потому не переставала, что «дурная слава — дома рушит! Смотришь, сегодня один из учителей дурно отозвался о твоём сыне, завтра — другой, потом — третий. И если вслед за ними ты сам, как отец или мать ребенка,

будешь все время говорить о его недостатках, ругать его, будешь указывать на его ошибки и неудачи, тогда и он сам и все окружающие поверят тому, что он в самом деле плохой и неисправимый. А завтра, когда ему придет срок поступать в высшую школу, смотришь, его и на порог не пускают..»

С другой стороны, Эркиназ-ханум считала несправедливыми оценки, которые давали Рамизу учителя по отдельным предметам. Полученные ее сыном плохие отметки часто приводили ее в бешенство.

— Подумать только, — негодовала во весь голос Эркиназ-ханум, — и по географии неудовлетворительно! Неужто Рамиз оказался таким тупицей, что не смог перечислить названий каких-то там гор и морей? А ведь мой сын не раз переваливал через эти самые горы, не раз пересекал из конца в конец эти самые моря, не раз бывал в живописнейших уголках, тогда как другие школьники и шагу не ступали за пределы Баку! Сколько раз возил его с собой отец в Кисловодск, в Сочи, в Москву? И после этого взять и дать малышу двойку по географии! Спроста, думаете? Нет, нарочно, назло ему дали такую отметку! Будто глаза им колет малыш! Будто поперек горла стал им всем! Одни завистники, одни недоброжелатели собрались там в школе. И они, все эти негодяи, стараются только досадить малышу, только причинить ему как можно больше зла! Они открыто стараются выжить его из школы. Все они — ему чужие, ему враги. Все они относятся к нему, как к пасынку!..

Не воспрепятствуй ей муж, Эркиназ-ханум, возможно, помчалась бы в школу, набросилась бы на учителя географии, обругала и оскорбила бы его на глазах у всех.

Рамиз окончил среднюю школу, как и следовало ожидать, с грехом пополам. Хотя основы наук он усвоил далеко не блестяще, тем не менее Эркиназ-ханум ни на минуту не сомневалась в том,

что ее сын будет «устроен» в высшее учебное заведение. На этот счет у нее был заранее начертан соответствующий план. «Заранее, — думала она, — я приглашу на дом репетиторов, которые подготовят Рамиза к приемным экзаменам. Да и отец его из тех людей, к голосу которых прислушиваются. Нажмет, поручит кому следует. Кроме того, желающих ехать учиться в Москву не так уж много найдется. Кого же им принять, как не Рамиза? ..»

На этот год в московских высших учебных заведениях было выделено гораздо больше мест для студентов из союзных республик. К счастью Рамиза, и приемные испытания были проведены местными экзаменационными комиссиями, среди членов которых не было человека, который не знал бы отца Рамиза. Но и при этих благоприятных обстоятельствах Рамиз не набрал требуемого количества баллов, и его фамилия не попала в списки зачисленных в вузы студентов. Это, разумеется, огорчило Эркиназ-ханум, но не обескуражило ее. Взяв тут же два билета, она помчалась с сыном прямо в Москву.

Здесь ей пришлось обивать немало порогов, пока наконец не попала она к ответственному секретарю Центральной приемочной комиссии. Сообщив, что ее муж отдал всю свою жизнь большой, ответственной работе, она заверила секретаря в том, что ее сыну пришлось ходить на приемные экзамены будучи совершенно больным, что он очень волновался из-за этого на экзаменах и так далее. Затем она с большой убежденностью в своей правоте указала на «несправедливость», допущенную местной экзаменационной комиссией, и, делая упор именно на эту сторону вопроса, закончила патетическим заявлением о том, что, если ее сын не будет принят в высшую школу, она сочтет себя несчастнейшей из матерей. На всякий случай она вытащила из конверта когда-то полученную Рамизом от школьного драмкружка благодарность и,

протягивая документ секретарю, добавила:

— Неспособному, неодаренному парню такую благодарность не дали бы!

После долгих уговоров, просьб, предостережений и неоднократных заверений в том, что ее сын достоин быть в числе принятых в высшее учебное заведение, Эркиназ-ханум наконец выклянчила для сына одно из вакантных мест в Строительном институте, где сыну ее предоставлялось право учиться, не претендуя на стипендию и место в студенческом общежитии.

С документом о зачислении сына в институт Эркиназ-ханум вернулась в Баку. Она, как говорится, уже «не уместалась ни на земле, ни на небе». То и дело изливала горькую иронию по адресу бакинских учителей и членов местной приемочной комиссии, угрожала им указательным пальцем, разукрашенным драгоценными перстнями, еще и еще раз утверждала, что именно «в высших инстанциях знания и способности Рамиза получили должную и достойную оценку», и, заявляя об этом с гордостью, казалось, мстила недоброжелателям Рамиза и упивалась этой местью.

С отъездом Рамиза в Москву Эркиназ-ханум потеряла сон и покой. Правда, она с большой охотой говорила теперь о сыне, расхваливала его, быть может, раз в пять больше. Но и это не приносило ей облегчения и утешения. Теперь она занималась преимущественно тем, что готовила для Рамиза халву, пекла «шекер-чурек» — сладкие пирожки, покупала ему целые корзины фруктов и отсылала все это в Москву. Посылки ее появлялись в Москве не меньше раза в неделю. Она посылала их не по почте, не обычным путем, как все. Знала, что доставка посылок по почте часто задерживается и, стало быть, многое из того, что она посылала, могло попортиться. Вот почему она появлялась на

бакинском вокзале к отходу московского поезда и, найдя здесь кого-либо из знакомых, вносила в его купе все свои узлы, корзины и ящики. Затем тут же с вокзала телеграфировала сыну: «Встречай такого-то числа поезд номер такой-то, вагон номер такой-то, наш друг такой-то везет тебе посылку. Целую, мама».

С тех пор как Рамиз стал студентом, в Строительный институт зачастили письмоноscopy. Они отыскивали смуглощекого парня где-нибудь в аудитории, на спортплощадке или в актовом зале, передавали ему принесенные письма, телеграммы или извещения о получении посылки, торопливо совали свои разносные книги или квитанции ему на подпись и удалялись. По утрам, часов около девяти-десяти, Рамиз часто появлялся на перроне. Его сопровождал обычно худенький, будто весь высохший и сморщенный парень. Дождавшись поезда, оба парня входили в известный им вагон за получением привезенных из Баку подарков. Они, эти «подарки», собственно, давно надоели Рамизу. Шутка ли, что ни день таскаться на вокзал, отыскивать нужного человека, затем брать машину, привозить подарки домой, распаковывать корзины и ящики, раскладывать полученное по местам и затем относить, выбрасывать в мусорный ящик обрывки холста, ненужные мешочки, куски досок, ворох оберточной бумаги? У Рамиза не было никакой охоты заниматься всем этим. Как-то раз он сунулся вытащить из вагона корзину с виноградом. Тысячи отвратительных мух вылетели разом из корзины и роем закружились у его головы. Опешивший парень, вытаскивая корзину, по неосторожности выпачкал липким соком попорченного за дорогу винограда новенький костюм, сшитый из хорошего трико.

Рамиз писал письма домой, еще чаще звонил матери, просил и умолял ее: «Не присылайте мне подарков. Ничего мне не

нужно. И фрукты, и приготовленные дома блюда портятся в дороге. Большую часть присланного вами все равно приходится выкидывать. Зачем зря утруждать себя, чужих людей и меня?» Но его уговоры приводили к обратным результатам. Посылок становилось все больше, и больше.

Рамиза выручал Ибиш Масимов — тот самый худой и щупленький парень-студент, невеста когда поступивший в институт и все еще не окончивший его. Ибиш каким-то образом все время добивался отсрочки несданных зачетов, а с некоторых пор совсем бросил учиться, устроившись делопроизводителем в архив. Все время он пропадал у Рамиза. Был желанным гостем в его комнате. Было бы неправильно, конечно, называть его гостем. Какой же он гость в самом деле, когда Ибиш все время занимался делом у Рамиза? То он нарезал колбасу, то заваривал чай, то раскупоривал бутылку, то мазал бутерброды, то звонил в кассу театра. Ибиш делал все покупки для Рамиза, отдавал в стирку его белье, по сходной цене отдавал снимать копии с его конспектов и чертежей. Он же сопровождал Рамиза в кино, театр, на стадион. В случае недоразумения с хозяевами квартиры Ибиш тут же находил новую комнату и брал на себя все тяготы по переселению своего «подопечного». Со времени приезда в Москву Рамиз успел переменить уже три квартиры. И когда его отец выразил удивление столь частой переменой адреса сына, Рамиз под диктовку Ибиша написал ему: «В первой квартире не было телефона. Во второй — ванная была не в порядке. В третьей — шумные соседи не давали заниматься...» — «А не лучше ли было, сынок, — писал отец, проверить сначала, а потом уж нанимать квартиру?» «Буду, отец, — отвечал Рамиз, — проверять отныне и найду хорошую квартиру!»

Конечно же всем этим Рамиз был обязан Ибишу.

Сам он никогда бы не стал менять квартиру. На это у него не

хватило бы ни охоты, ни умения, ни времени. А переходил он из одной квартиры в другую потому, что его выставляли из квартир их хозяева. И выставляли потому, что Рамиз приходил и уходил в самое неурочное время, нарушая заведенный порядок в квартире и создавая большие неудобства для остальных жильцов. Нередко в полночь, когда люди ложились спать, Рамизу и Ибишу приходила охота выйти и побродить малость по улицам. Возвращались же они обычно под утро.

Родители Рамиза принимали его возражения против частых посылок за обычное проявление скромности. И они вовсе не собирались сократить количество посылок, а искали путей к тому, чтобы посылаемые ими вкусные домашние блюда и фрукты не блуждали долго и не приходили в негодность в пути.

Как-то вечером Эркиназ-ханум задала мужу неожиданный вопрос:

— Послушай, киши¹, ты не слыхал о новом самолете?

— О каком таком самолете?

— С таким странным названием...

— О реактивном спрашиваешь?

— Да, да, об этом самом... активном самолете. Слыхал о нем?

— Слыхал... Но какой же это новый? Уж сколько лет существует!..

— Зачем же ты мне не говорил, раз существует?

— А что я должен был сказать?

— Ты скажи мне, за сколько времени этот самолет долетает отсюда до Москвы?

— Должно быть, за два часа или около того.

— Быть тебе здоровым, так чего же ты не говорил мне ни

¹ Киши — буквально «мужчина». Так обычно обращается к мужу жена в Азербайджане.

слова о нем, раз знал о его существовании?

— А на что тебе, собственно, понадобился этот самолет?

— За два часа я поставила бы перед Рамизом плов с фасолью, да так, чтобы от него пар шел!

Намазов рассмеялся и ничего определенного не ответил жене. Эркиназ-ханум вспылила:

— Что тут смешного? Одно дело доставлять ребенку плов после того, как весь рис высохнет и окаменеет, другое дело доставлять его в горячем виде. Сегодня же смочу рис и начну готовить плов. А ты поговори там с кем следует. Пошлем мальчику целый казан¹ горячего плова!

— Это невозможно

Эркиназ-ханум прикусила нижнюю губу и вытаращила глаза на мужа:

— Какой же ты ответственный работник, если не можешь послать на самолете каких-нибудь пять кило?

— Можно бы послать и все пятнадцать... Но, жена, реактивные самолеты служат не для перевозки плова, а для других надобностей. Никаких вещей для перевозки в реактивный самолет не примут.

Эркиназ-ханум вспыхнула:

— Ну и странный же ты человек... И не зря, видно, ты скрывал от меня, что давно знаешь про существование этого самолета. Ты не из тех отцов, которым любви и дороги их дети. Понадобись твоим детям морская вода и пошли тебя к морю, ты вернешься с пустыми руками: дескать, море высохло. И что ты за отец, если и думать о собственном ребенке тебе неохота? Целыми неделями ребенок не видит плова или какой-либо другой домашней пищи. А тебе хоть бы что!..

¹ Казан — луженый медный котел, в котором обычно варят плов.

В последних числах ноября Намазов получил письмо из Москвы. Оно поразило его: «Что это значит?»

Аккуратно написанное письмо было послано товарищами Рамиза по институту. После вежливых обращений и слов приветия ребята писали: «Рамиза с трудом приняли в институт. Мы думали, что он будет помнить об этом и будет хорошо заниматься, чтобы не отстать от товарищей. К сожалению, это не так. Число пропущенных им за два месяца занятий превышает общее количество часов, пропущенных всеми двадцатью шестью студентами его группы. Рамиз не посещает занятий семинаров, не может ответить на вопросы, заданные ему по его же чертежам. Мы прикрепили к нему отличника нашей группы Фикрета Агаева, который провел с ним всего одно занятие: «У меня нет времени», — сказал Рамиз и отказался от занятий с ним. По всему видно, что даже близкие ему люди не являются его доброжелателями.

Сообщая вам о том, как плохо учится Рамиз, мы просим вашего авторитетного вмешательства и отцовского воздействия на него. До конца семестра осталось мало времени. Если Рамиз не подтянется, не подготовится как следует к сессии и получит слабые оценки по дисциплинам, то этим снизит общую оценку всей группы и опозорит ее. Уверены, что вы примете все это к сведению и соответствующим образом повлияете на сына. С уважением...»

Следовали фамилии студентов, подписавших письмо от имени всей группы, а затем и декан в коротенькой приписке подтверждал правильность всего того, о чем писали студенты.

Намазов протянул письмо жене. Внимательно прочитав его, Эркиназ-ханум закусила губу и устремила пристальный взгляд на мужа.

— Ты веришь всему этому?

— Какое основание не верить?

Эркиназ-ханум возвысила голос и раздраженно провозгласила:

— Вранье, клевета, зависть!

— Зачем студентам клеветать на твоего сына?

— Дело рук здешних! Ребенок только что приступил к занятиям. Надо же дать ему освоиться, осмотреться, осесть? Надо же дать ему хоть вздохнуть? Что, собственно, случилось? Куда его гонят? Впереди у Рамиза еще целых пять лет!

— Пять-то пять, но знания, приобретенные студентом, проверяются в конце каждого семестра.

— Ну и пусть проверяют! Разве он один такой? Мало таких, которые зацепились и годами сидят там? Ибиш, например, находится там уже целых шесть лет. И до сих пор получает отсрочки. Почему же его мать не получает таких писем? Откуда такая прыть? Как они так быстро заметили Рамиза, душа моя?

Видя, что Эркиназ-ханум разозлилась не на шутку, Намазов счел дальнейшие споры с ней излишними и прошел в другую комнату. Эркиназ же ханум подняла трубку и заказала разговор с сыном.

Тайно от жены Намазов написал письмо Рамизу.

Подробно изложив все, что было написано в письме из института, он настоятельно просил сына приняться всерьез за дело, не терять зря времени и не забывать о том, что он поехал туда учиться.

Эркиназ-ханум решила в течение ближайших же дней выехать в Москву. К подготовке приступила она немедленно и запаслась всем необходимым, чтобы испечь миндальных пирожков и приготовить плов с фасолью.

Говорят, что время не ждет, что оно, подобно мощному потоку, начала и конца которого не видно, течет, не считаясь ни с чем.

Настало время, когда ведомость проверочных испытаний и

зачетов, подбивающих итоги семестра, была вывешена на стенах института. И студенты, и преподаватели старались привести свои дела в соответствие с данными этой ведомости.

Когда Эркиназ-ханум вышла на аэродроме из кабины мягкого пассажирского самолета и с радостью начала грузить привезенные сыну подарки в такси, в двадцать первой аудитории института Рамиз сдавал зачет по землеустройству. С мелом в руке он застыл перед доской.

Профессор Иванов, отставив руку с пером, многозначительно посмотрел на Рамиза через очки:

— Ну-с, что там у вас? Не подготовились, быть может?

— Нет, профессор, я знаю, спрашивайте.

Профессор Иванов повторил один и другой вопрос, касающийся самых азов науки. Рамиз продолжал хлопать глазами. Старому педагогу стало совершенно ясно, что стоящий перед ним студент не только не пришел из средней школы в институт хорошо подготовленным, но и здесь, в институте, не подготовился должным образом.

— Не ожидал от вас... Прибыли издалека, и вы бы должны были...

Узнав, что ее сын пошел сдавать зачет, Эркиназ-ханум с быстротой молнии выбежала из комнаты Рамиза и помчалась в институт. Еле поздоровавшись с ней, Рамиз, не медля ни минуты, шепнул ей на ухо: «Вот он идет. Этот старый профессор срезал меня. Не успел еще сдать ведомость. Помогите, мама, выручите, дорогая! Пожалуйста, мамочка, умоляю тебя. Жизни не пожалею за тебя!»

Точно таким же образом, в тех же словах «умоляю, жизни не пожалею» Рамиз молил профессора только что, но ничего из этого не вышло. Надежды он все же не терял. Думал, что мать заступится за него.

Эркиназ-ханум догнала профессора у двери:

— Одну минутку, товарищ профессор!

— К вашим услугам, — вежливо ответил профессор, остановившись и кивнув головой.

Эркиназ-ханум сделала шаг к стенке. Иванов стал рядом с ней.

— Я вас слушаю.

Эркиназ-ханум посмотрела на портфель профессора:

— Вам, наверно, затруднительно держать его в руке... Дайте, я подержу!

Слова женщины удивили профессора. Тем не менее он мягко ответил:

— Ничего, ничего... Так о чем вы хотели поговорить со мной? Я слушаю вас.

— Не пройти ли нам в одну из этих комнат? Не хотела бы я утруждать вас разговором стоя...

Профессор пригласил Эркиназ-ханум в одну из ближайших комнат, где никто бы не помешал их разговору. В глубине комнаты сидела девушка, которая составляла какой-то список и время от времени говорила по телефону. Эркиназ-ханум тихо и заискивающе обратилась к профессору:

— Во-первых, я счастлива познакомиться с таким крупным ученым. Конечно же знакомство с вами большая честь для меня...

Чтобы сбить ее с неприятного ему тона, профессор посмотрел на ручные часы и сказал:

— Так о чем же вы хотели поговорить со мной? Я вас слушаю. Говорите, пожалуйста.

Эркиназ-ханум перешла к сути дела:

— Товарищ профессор, отец вашего ученика Рамиза — ответственный работник. Занят очень важными делами. Времени у него не хватает, потому и не смог приехать сам. Вот и поручил

мне передать привет и добрые пожелания...

Профессор молчал. Будто затруднялся найти ответ и на эти слова. Он поднялся с места, посмотрел на часы и снова сел.

— Прошу вас, скажите наконец, что вам от меня нужно?

— Узнав, что мой сын Рамиз получил неудовлетворительную оценку по вашей дисциплине, я сама пришла к вам...

Иванов спросил фамилию, курс и группу, в которой учится Рамиз, и припомнил:

— Да, да. Очень слаб по моему предмету!

— Его отец ответственный работник...

— Ответственный ли он или нет, какая в том разница? Нам нужны студенты, которые хорошо учатся.

— Это-то верно, товарищ профессор. Но ведь надо же помочь мальчику. Надо же предпринять что-то!

— Надо, разумеется! — одобрительно кивнул головой профессор. — Надо, надо. Безусловно надо! Нельзя мириться с таким положением. Разумеется, предпринять что-то необходимо.

У Эркиназ-ханум засверкали глаза. На душе у нее стало спокойнее: «Налаживается!»

— Уж устройте как-нибудь, профессор. Пожалуйста! Я буду вам очень благодарна.

Иванов задумчиво опустил голову, снял зачем-то очки и снова надел их.

— По-моему, было бы гораздо проще вам устроить сына там у себя, в своем городе.

Тень обиды, озабоченности и тревоги омрачила лицо Эркиназ-ханум. Глаза ее расширились.

— Как так? — спросила она упавшим голосом.

— Очень просто. Верните его обратно в десятый класс и попросите учителей отнестись к нему со всей строгостью,

предъявить более высокие требования и добиться полного и надежного освоения учебной программы. Там вы и сами понаблюдаете за ним! Нужен контроль за ним! Ежедневный! Ежечасный!

Выпуклую грудь Эркиназ-ханум словно пронзили стрелой. В душе она обругала профессора. «Чтоб отсох твой язык!» — чуть не вырвалось у нее с губ.

Эркиназ-ханум вздохнула, переменилась в лице, порывисто вскочила с места и раздраженно сказала:

— Легко сказать, профессор, вернуть обратно! Не ущемит ли это чувство собственного достоинства студента, не ударит ли по гордости такого молодца? Помилуйте, профессор...

Иванов пожал плечами. Хотел было оказать о затронутом ею чувстве собственного достоинства, но промолчал. И промолчал он потому, что перед ним стояла женщина, стояла мать. Не то он сказал бы: «Конечно же это ущемит чувство собственного достоинства студента, если он не лишен этого чувства. Но ведь студент, если только он не утратил чувства собственного достоинства, если только в нем осталась гордость и он дорожит собственной честью, не может очутиться на положении вашего сына! Это ведь тоже надо иметь в виду, дочь моя!...»

В эту самую минуту Ибиш накрывал дома на стол и ставил на плиту только что привезенный казан с пловом.

1957

Перевод Мир Джаббара (Мусаева)

ВИЗИТ СВАТОВ

Зрелая девушка — что ореховое дерево.

Всяк кинет камень, чтоб сбить орешек.

НАРОДНАЯ ПОГОВОРКА

Тетушка Шеребаны повторяла эту поговорку беспрестанно. Оно и понятно. Старушка как-то сжилась с ней, и поговорка эта казалась особенно уместной на ее устах.

Не думайте, однако, что, часто прибегая к своей излюбленной поговорке, тетушка Шеребаны вспоминала свою молодость, пору своего обручения или замужества. Нет! Речь идет о ее единственной внучке — школьнице Наджиба, которая в данную пору находится в том возрасте, когда земле не зазорно гордиться ее походкой, горам — завидовать ее стати. Как знать, сколько пар глаз любуется ею, когда она, одетая в школьную форму, с белым бантиком в волосах и коричневым портфелем в руке, ровно в восемь утра открывает дверь и со словами: «Здравствуйте, ребята» — входит в классную комнату? И парни, и девушки отдают должное ее красоте и изяществу. Одни склонны утверждать, что она выглядит такой милой только лишь потому, что умеет опрятно и со вкусом одеваться, другие же настаивают на том, что Наджиба сама по себе очень красива. А красавице, будет ли она в шелках или в простом шерстяном платье, все к лицу!...

Сама Наджиба одевалась по обыкновению просто и без претензий, стараясь казаться скромной, ничем особенно не примечательной девушкой, и поступала так с обдуманной целью — не бросаться особенно в глаза, не вызывать в посторонних излишне повышенного интереса к своей особе.

Тетушка Шеребаны — бабушка Наджиба — работала

уборщицей в педагогическом институте. Лет двадцать назад ее сын обосновался в деревне, обзавелся семьей и работал с тех пор в овцеводческой ферме. Редко когда ему удавалось вырваться в город и повидаться со своей матерью. Внучка же жила с тетушкой Шеребаны, дочь которой — мать Наджиба — до самой смерти не разлучалась с матерью и жила с ней под одной крышей. После того как муж бросил ее, дочь тетушки Шеребаны заболела желтухой и умерла, пролежав шесть месяцев в больнице, а ее девятилетняя дочурка Наджиба осталась на попечении бабушки.

Народная мудрость гласит: «Если судьба откажет человеку в одном, то воздаст в другом». Так и с Наджиба. Девочка, которую соседи называли не иначе как «сироткой», которая одевалась в оставшееся от матери старье и жила в бедности, росла в нужде и лишениях, поступила в школу-интернат, и в дальнейшем жизнь ее повернулась по-иному. Казалось, Наджиба растет не так, как все. Казалось, какая-то таинственная сила покровительствует ей и, назло остальным ребятам, как-то особенно заботится о ней, как-то особенно внимательно растит и пестует ее. Девочка росла, крепла и вытягивалась, как виноградная лоза, становилась с каждым днем все милее и краше, расцветала и распускалась, как прелестный розовый бутон. И, на удивление всем, вдруг оказалось, что внучка тетушки Шеребаны — эта «сиротка» Наджиба — превратилась в такую красавицу, что все в городе поражались ей, все указывали на нее пальцем. Все, кто видел ее по дороге в школу или домой, на демонстрации или в концерте, открыто восторгались ею. Люди глядели на нее во все глаза, вслух выражали свой восторг и осыпали друг друга возгласами:

- Писаная красавица!
- Откуда эта юная джейранка?
- Интересно, как ее звать?

— Как знать, какому достанется счастливцу?

Конечно же Наджиба особенно блистала на нашей улице. Она все еще была незамужняя. Неизвестно, почему не вышла замуж или почему не выходит. Но нет человека, который бы не интересовался ею, который бы не говорил о ней. Один говорит, что никто еще не просил ее руки и потому она не вышла замуж, другой говорит — нет, многие просили, и потому она не выходит, что не знает, за кого выйти. Что ни день люди говорят самой девушке и ее бабушке: «Пора уж. Решайтесь. Выберите одного вскормленного чистым материнским молоком, и дело с концом. Да благословит аллах на благое дело!»

Тетушка Шеребаны и Наджиба не желали, чтобы кто-либо вмешивался в их дела. Но что поделаешь, когда всем охота совать свой нос в чужие дела? Впрочем, и винить людей незачем. На свете немало такого, что само по себе выплывает наружу и заставляет заговаривать о себе. Таким именно вопросом стало и замужество Наджиба. И ничего удивительного в этом нет. Она умная, образованная, взрослая девушка. Мало ли кругом — и по соседству, и в школе, и в учреждениях и на предприятиях — парней, весьма пригожих и достойных составить ей приличную партию? Но почему-то Наджиба не выходит замуж? Сказать, что никто не хочет жениться на, ней, нельзя. Не проходит и месяца, чтобы кто-либо не постучался в двухстворчатые ворота тетушки Шеребаны. Каждый раз думаешь, что это конец, свадьба близка. Но вдруг, к твоему огорчению, смотришь, поднялся ветер, похолодало в воздухе и ни с той, ни с другой стороны ничего не слышно.

Словом, если о ком и говорят на нашей улице, то только лишь о тетушке Шеребаны и красавице Наджибе. А Наджиба — это таки Наджиба! Черноволосая, белолицая, краснощекая, высокая,

статная, изящная и грациозная, как джейран, девушка! Увидишь ее разок, захочешь взглянуть в другой. Перекинуться с ней парочкой слов — и то счастье! Не раз, бывало, крупные операторы обращались к ней с просьбой разрешить им заснять ее для экрана, но тетушка Шеребаны не давала. «И далась же вам моя внучка! Что она вам, балаганный скоморох, чтобы выставляли ее напоказ на сценах театров? Не нужно нам ваших денег. Себе оставьте!» — огрызалась тетушка Шеребаны и, обругав всех, выпроваживала за дверь.

По окончании десятилетки Наджиба захотелось учиться в высшей школе. Она подала заявление в медицинский институт, пошла на приемные экзамены, но набрать нужное количество баллов ей не удалось. Так ее и не приняли в институт.

Хотя тетушка Шеребаны не говорила о том открыто, но в душе была против поступления девушки в высшее учебное заведение. Она, разумеется, хотела бы, чтобы ее внучка училась в институте. Но одно обстоятельство вынуждало ее быть против. Наджиба уже не малая девочка, и не могла она и дальше довольствоваться одной школьной формой. А для того чтобы одеть и обуть ее так, чтобы не совестно ей было перед студентами, чтобы не краснела она перед ними, требовались большие средства. Где их возьмешь? Каких денег стоит одно только пальто! На жалованье уборщицы да на студенческую стипендию не разоденешься! С другой стороны, тетушке Шеребаны было известно, что сразу по окончании института девушку пошлют в район. Хорошо, если не в самый отдаленный. Как уберечь ее там от притязаний какого-нибудь назойливого нахала? Тетушка Шеребаны не могла не опасаться этого. Разве не выпорхнул ее родной сын из ее рук? Так же могла выпорхнуть и Наджиба, и тогда, на склоне лет удел — совершенное и полное одиночество!

Благо, по соседству жил некий Шариф, мастер ковроткацкой фабрики, который набирал грамотных девушек на работу на фабрике. Когда тетушка Шеребаны обратилась к нему и назвала при нем Наджиба, тот сразу дал согласие:

— Пришли ко мне. В двенадцать буду в конторе!

Тетушка Шеребаны желала устроить Наджиба на работу не только ради жалованья, которое она могла бы получать на фабрике. Она отлично знала, что профессия ковроткачихи — это чистая профессия, что образованные люди уважают людей этой профессии. Кроме того, что может быть лучше девушки — искусной мастерицы? Разве не стоит всех благ мира один красивый узор, вышитый девичьими руками на рубахе жениха?

За полгода работы на фабрике Наджиба освоила профессию ткачихи и начала приносить домой по шестисот—семисот рублей в месяц. Старуха и внучка жили припеваючи. Своим же чередом приходили к ним и уходили сваты. Молодой человек, по имени Назим, который руководил работами по проводке электричества на новом крупном здании ковроткацкой фабрики, приметил Наджиба и решил посвататься к ней. Подруги Наджиба так же расхваливали при ней Назима, как расхваливали при нем Наджиба. Собственно говоря, молодая мастерица не нуждалась в похвале. Это отлично понимал и сам Назим...

Однажды из какого-то учреждения поступил на фабрику заказ — выткать ковер с изображением джейрана. Работу эту возложили на Наджибу. Она взялась за дело и работала с большим рвением и увлечением. Назим присматривался к ее работе и однажды сказал ей:

— Очень трудную работу тебе поручили.

— Стараюсь, — отозвалась Наджиба, намекая на рисунок, — чтобы красиво получилось.

— Если хочешь, чтобы красиво получилось, отбрось в сторону джейрана и вместо него вытки свой портрет. Вот и все!

Слова Назима вогнали девушку в краску. Застенчиво опустив голову, она промолчала.

Спустя три дня сваты Назима взялись за железный молоточек двухстворчатых ворот.

Домик, в котором жила тетушка Шеребаны, находился в верхней части города, на улице Мирза Фатали. Это был старенький домик с небольшим двориком. Петли ворот давно ослабли и вывихнулись, створки ворот покосились. Через ведущую во двор недолгую подворотню прохожие видели с улицы все, что происходило во дворе. Впоследствии ворота были отремонтированы, часть площади дворика была выровнена и залита асфальтом. Другая часть была отведена под небольшой палисадник. Здесь росли деревья и кусты цветов. Это был не только красивый зеленый уголок. Он, этот палисадник, был еще местом полезных занятий для всех ребят, живших в этом дворе. Всем хотелось посадить здесь дерево, вырастить его.

На этом дворе побывало много сватов, пожелавших посватать внуку тетушки Шеребаны. Но никому из них последняя не дала еще обнадеживающего ответа. Она не торопилась выдать внуку замуж. Разумеется, никому она не сказала открыто «нет», а объясняла свой отказ тем, что, дескать, девушка молода еще, что она не желает выйти замуж, пока не окончит школу, или же отговаривалась тем, что якобы девушка «обещана» другому.

Но сегодняшние сваты не были похожи на прежних. Они и были встречены иначе. После соответствующего намека девушки тетушка Шеребаны отпросилась с места работы на день, навела

порядок в доме, убрала комнаты, причесалась и приготовилась к встрече гостей. Она и сообщила соседкам, что у них сегодня «будут люди».

В подготовке к встрече сватов приняли деятельное участие девушки и молодые женщины со всего двора. Они подметали двор, выколачивали пыль из ковров, чистили самовары, вешали тюлевые занавески на окна, поливали цветы в горшочках, взбивали и прокладывала в порядке подушки на диване, готовились накрывать на стол и дружно поработали, пока не была закончена вся подготовка...

Назим был парнем, выросшим, как и Наджиба, без отца и матери. Его дядя Мирза Рахман, работавший в книжном магазине, был человеком опытным в житейских делах, много выдавшим на своем веку и многому научившимся. Он охотно засучил рукава и принял горячее участие в семейном устоястве своего племянника. Прежде всего ему надо было позаботиться о том, чтобы миссия, которую он решил возглавить, была в должной мере солидной. С этой целью он пригласил себе на помощь двух своих товарищей: Ильяс-муаллима¹, который считал Назима весьма достойным молодым человеком и потому охотно откликнулся на приглашение Мирза Рахмана, и соседа по квартире — Асада, человека большого жизненного опыта.

Итак, в один из ясных весенних дней в конечных числах апреля, когда достигшее зенита солнце начинало переваливать к западу, сваты взялись за железный молоточек двухстворчатых ворот тетушки Шеребаны.

— Пожалуйста, пусть гости пожалуют! — послышался женский голос из-за ворот.

¹ Муаллим—учитель. В Азербайджане не принято называть учителя или кого бы то ни было по имени и отчеству. К имени учителя обычно прибавляют уважительное слово «муаллим» — учитель.

Мирза Рахман сказал «бисмиллах!»¹ и шагнул во двор. За ним последовали его спутники.

Еще перед тем как выйти из дому, Мирза Рахман завел речь о правилах, которым должны следовать сваты при исполнении возложенных на них обязанностей, и обменялся мнениями с товарищами на этот счет. Он хотел, чтобы первым вступил в разговор Ильяс-муаллим. Тот отказался от этой чести: «Пожалуй, я не могу похвастать знанием всех правил этикета и всяких там приличий. Кроме того, было бы гораздо уместнее самому Мирза Рахману начать разговор, тем более что он в отцы годится нашему претенденту на руку девушки. В вы, Мирза Рахман, начнете, а мы вас поддержим».

Мирза Рахман знал, что выступать в роли свата очень почетно. Но узнал и о том, что это очень ответственная миссия. Шутка ли? Речь идет о соединении двух молодых людей, об их счастье, о создании семьи, о торжестве любви! Способствовать в наше время такому серьезному начинанию — долг каждого уважающего себя человека. И надо выполнить этот долг умеючи, с достоинством. Тут, нельзя действовать опрометчиво. Надо знать, как приступить к разговору, как его вести, о чем и как говорить, надо уметь говорить, говорить веско, красноречиво, учтиво, с соблюдением правил приличия.

Уж на что зрелый человек Ильяс-муаллим, но и тот не решился принять на себя эту воистину трудную задачу. И отказ Ильяс-муаллима еще больше возвысил Мирза Рахмана в собственном мнении. Сейчас он намечал план действий и подбирал слова, которые могли бы произвести должное впечатление на его слушателей при встрече.

¹ «Бисмиллах» означает «во имя аллаха». Религия ислама утверждает, что всякое дело, начатое с произношением этого слова, приведет к благополучному исходу.

Всю дорогу Мирза Рахман шел тихим шагом и думал о том, с чего начать разговор.

«Не подлежит сомнению, что хозяева дома выйдут к нам навстречу и встретят нас учтивыми приветствиями. Как только мы сядем, разумеется, подадут чай-сахар. Подойдет и сядет к столу и кое-кто из родни девушки. Ну, а потом? Во тут-то и загвоздка. Что ты скажешь, с чего начнешь?»

— Как вы думаете, — решил посоветоваться с друзьями Мирза Рахман, — не начать ли мне прямо с сути дела? Уж поскольку вы возложили на меня эту тяжелую миссию, я хочу сразу же приступить к делу и заявить, что мы не притронемся к чаю, если не получим положительного ответа девушки. Я заявлю, что мы пришли к хозяевам этого дома просить о том, чтобы они дали согласие двум молодым сердцам соединиться, слиться воедино и достичь своей желанной цели. И пришли мы сюда все вместе и вместе просим о том, нижайше просим! Ильяс-муаллим не одобрил этот план действий.

— Нет, Мирза Рахман, — возразил он. — Неудобно так. Необходимо какое-то вступление, во всяком случае. Хотя коротенькое, но необходимо. Ну, хотя бы о том о сем, о хорошей погоде, что ли?

Асад, сосед Мирза Рахмана, подержал учителя:

— Ильяс-муаллим прав. Прежде всего надо бы завести речь о чем-то. Ну, хотя бы о молодом человеке, о нашем Назиме. Правда, его здесь знают... Во всяком случае, не может быть, чтобы девушка не знала. Но все же сказать в нескольких словах не мешает. Кто он, кто его отец, мать, что умеет делать, чего достиг в жизни, ну и так далее...

Мирза Рахман согласился:

— Я не забыл об этом, Асад. Конечно же я должным образом

охарактеризую Назима. Но я хочу перейти к этому попозже, когда уже будет ясно, что наш разговор вступил в должную колею. Чтоб не получилось с бухты-барахты.

— Не получится! Знают же, что мы пришли сосватать девушку и сосватать ее Назиму Алиеву. Это они знают и, разумеется, будут интересоваться молодым человеком.

— Будут задавать вопросы, — поддержал Асада Ильясмуаллим, — возможно, что поинтересуются всей биографией Назима.

— Собственно говоря, это их законное право. Вырастили девушку, да еще какую! Конечно же они захотят узнать, кому отдают девушку, достоин ли он ее?

Видя, что спор затягивается, Мирза Рахман заключил:

— Нам, братец мой, опасаться нечего. О чем бы ни спрашивали, найдем что ответить. Благо, наш молодой человек не уступает их девушке. И по образованию, и по происхождению — лучшего не пожелаешь. О чем бы ни спрашивали, ответы у нас найдутся. Пожалуйста, спрашивайте! К вашим услугам!..

Мирза Рахман и в самом деле предусмотрел такую возможность и должным образом подготовил ответы на все вопросы, которые могли бы возникнуть у родичей девушки. Он был уверен в том, что в первую очередь будут спрашивать о самом парне, о его родителях. Бабушка девицы — человек старых понятий, к тому же очень дотошна. Естественно, захочет узнать о том, кто его отец, откуда мать, каким молоком вскормлен... Затем попытается узнать о его делах, имуществе, достатке, месте работы и так далее и тому подобное. И на всё эти вопросы, разумеется, надо дать исчерпывающий ответ.

И так, сваты были встречены у ворот с подобающим почетом и под возгласы: «Пожалуйте, пожалуйста!» — были введены в

комнаты. Тетушка Шеребаны сама подала каждому в отдельности стул и, усадив всех, сказала:

— Добро пожаловать!

Уселись и несколько человек из родичей девушки. Не прошло и минуты, как внесли в комнату большой медный поднос, уставленный дымящимися стаканами крепко заваренного чая, затем подали на стол сахарницы с колотым сахаром и вазы с вареньем. Завязался разговор. И завязался он таким образом, что никто и не заметил, кто начал его первым. Мирза Рахман спохватился лишь тогда, когда, обращаясь к нему, тетушка Шеребаны говорила:

— Да хранит аллах и ваших детей, но наша как-то особенно быстро подросла. В нынешние времена молодежь растет куда быстрее, чем прежде. Быстро же она созревает и быстро выходит в люди. К примеру, если бы спросили меня, я бы сказала, что моя единственная внучка, которая дороже мне зеницы ока, уже сейчас является для меня и сыном, и мужем, и дочерью. Спросите меня, и я скажу вам, что вчера еще я убаюкивала ее в люльке. Тогда как малютка, не в укор вашим будь сказано уже...

Нежданная активность родни девушки и то, что именно старуха Шеребаны, опередив всех, начала говорить о том, о чем по сути дела должны бы были начать разговор сваты, несколько смутили Мирза Рахмана, и он отнес это за счет собственной слабости. Он приподнялся, придвинул свой стул чуть ближе к столу и снова уселся. Затем он обвел присутствующих пристальным взглядом, откашлялся, чтобы прочистить горло, и сказал:

— Очень хорошо сказала тетуша Шеребаны. Нынешняя молодежь действительно быстро растет и мужает. Это сушая правда. И я думаю что в этом сказывается влияние нашего времени. Советское государство окружает детей любовью и лаской, учит,

внимательно растит их, выводит в люди и уделяет всему этому гораздо больше внимания, чем родители этих самых детей. Вот и видишь, что вчерашний цыпленок сидит сегодня в том или ином учреждении и ворочает делами. Возьмите, к примеру, нашего Назима. Он был сиротой. Отцом-матерью стала ему школа. А вот прошло уже два года, как он окончил высшую школу.

— Вы сказали, что парень, то есть Назим, окончил свои высшие уроки? — перебила гостя тетушка Шеребаны.

— Да, два года как окончил высшее учебное заведение.

— А как с заштой? Есть у него зашта?

Мирза Рахман не понял вопроса и замешкался с ответом.

— О чем вы спросили? Не понял...

Тетушка Шеребаны придвинулась ближе, поднесла руку к губам, осторожненько кашлянула и уже после этого оказала:

— Я спрашиваю, милоч, как у парня с заштой? Она у него состоялась?

Мирза Рахман опять ничего не сказал. Только вопросительный взгляд его уставился на товарищес. Тетушка Шеребаны тем временем разъяснила:

— Вы вот сказали, что он кончил образование, кончил уроки. Прекрасно. А как у него с заштой, я спрашиваю? Состоялась зашта? Тоже кончил?

Мирза Рахман посмотрел на Ильяс-муаллима, а Ильяс-муаллим на Асада. Вопросительный взгляд тетушки Шеребаны впился в сватов. Воцарилась недолгая, но неловкая тишина. Мирза Рахмана выручил Ильяс-муаллим:

— Тетушка Шеребаны спрашивает о том, написал ли Назим диссертацию, защитил ли ее? То есть...

— Вот, вот! — торопливо перебила его тетушка Шеребаны. — О том и и спрашиваю. Есть у него, у Назима то есть, зашта?

Чего-чего, но такого вопроса Мирза Рахман не ожидал.

— Нет... Нет у него, — отрицательно покачал он головой.

Тетушка Шеребаны была удивлена не на шутку:

— Как же так? Как же образованный, кончивший учиться парень остался без зашты?

Мирза Рахман попытался оправдать парня:

— Собственно говоря, Назим очень способный парень. Захочет — и будет у него и диссертация. Он не уступит тем, кто пишет диссертации. Но парень целиком отдался работе. Много трудится на строительстве. Времени не хватает. Он там монтирует электрическую аппаратуру, проверяет ее, в науках, в своей профессии очень сведущ, достиг высокой степени совершенства... Но диссертации пока не имеет.

Ответ Мирза Рахмана не удовлетворил тетушку Шеребаны. Она задала еще вопрос:

— А как с хавторефератом? Есть у него?

— Тоже нет.

— И хавтореферата нет?

— Нет, нету.

— Из ваших слов выходит, что парень еще не кончил учиться.

Почему же он не доводит свои уроки до конца?

— До конца-то он уже довел. Диплом у него в кармане. Но диссертацию не пишет, работает по специальности инженером. На строительстве ведает электрооборудованием. В Тазашахаре, в Сумгаите отлично знают его. Сам на хорошем счету и пользуется большим уважением.

Чтобы не огорчить гостей, тетушка Шеребаны одобрительно кивнула головой:

— Дай бог. Лишь бы так и было. Нужны и те, кто строит дома, и электричество необходимо. Все это полезные, нужные дела.

Пусть будет.

Отчего бы нет?.. Но всякий, кто кончает учиться в нашем институте, идет за заштой, и таких очень много. Я вижу и радуюсь тому, что большинство наших молодых людей сейчас имеют зашту...

Пусть увлечение тетушки Шеребаны защитой диссертации не удивляет вас. Она работает уборщицей в педагогическом институте. Все помещения здесь поделены между уборщицами. На долю тетушки Шеребаны досталось помещение клуба института. Она следит за чистотой в этом просторном помещении, следит за тем, чтобы здесь царил полный порядок. Она содержит в чистоте полы, двери и окна клуба, наблюдает за тем, чтобы не было ни пылинки на креслах, на красном кумаче, которым накрыт огромный стол на сцене, чтобы на столе всегда стоял графин с водой и чистый стакан. Тетушка Шеребаны — аккуратная женщина и очень ревностно относится к своим обязанностям. Не удивляйтесь поэтому, если вы постоянно встретите ее в клубном зале или где-нибудь поблизости.

Здесь же, на глазах у любопытной старушки, происходит множество интереснейших событий. Проводятся киносеансы, заседания, доклады, концерты. Но чаще всего здесь проводится «зашта» — защита диссертации, наблюдать за которой стало излюбленным занятием тетушки Шеребаны. Ей нравится, когда несколько солидных людей усаживаются за стол президиума, когда молодой человек с толстой книгой под мышкой поднимается на трибуну и начинает говорить. После того как этот молодой человек садится на место, выходят вперед старые учителя и, перелистывая ту же книгу, начинают хвалить парня. И хвалят не один, не два... К концу заседания все жмут ему руку и поздравляют. Девушки преподносят ему букеты цветов. Затем молодой человек

приглашает всех участников «зашты» к себе в гости! «Но особенно интересно то, — отмечает тетушка Шеребаны, — что на следующий же день, как утверждает кассир, жалованье молодого человека возрастет вдвое!»

Одним словом, это очень увлекательное зрелище!

Тетушка Шеребаны много видела на своем веку таких интересных и радостных церемоний. В душе она пожелала таких же своим родным и близким.

Уж не Наджибу ли она имела в виду, мечтая о такой церемонии? Нет. Она не верила, чтобы такая застенчивая девушка могла защитить диссертацию. Понимала, что это ей не под силу. Но отчего же не пожелать того же жениху — молодому человеку, который женится на ней? Это же будет чудесно!

В былые времена у молодого человека, который собирался жениться, требовали, чтобы он был богат, чтобы дал хороший выкуп за невесту. Ну, а теперь? Разве родня девушки не имеет права потребовать у жениха хотя бы защиты одной диссертации? Девушка, которая себе на уме, конечно же потребует. Тем более что защищать диссертацию сейчас не так уж трудно. Кто захочет, кто возьмется как следует за дело, тот защитит!

Тетушка Шеребаны начала с этого и делала упор именно на это, чем и опрокинула все планы Мирза Рахмана. Приготовленная им характеристика никому не понадобилась, ибо никто здесь не поинтересовался ни родителями парня, ни его родными и близкими. Родню девушки, то есть тетушку Шеребаны, интересовало только одно — диссертация! А ее-то Назим и не имел! Как же быть дальше? Что ей ответить, что предпринять? .. Пока Мирза Рахман думал об этом, заговорил Ильяс-муаллим. Обернувшись к бабушке девицы, он веско сказал:

— Тетушка Шеребаны, вы сказали о защите диссертации, и

Мирза Рахман по застенчивости своей промолчал об этом. Но вы не думайте, что Назим такой уж бестолковый парень. Диссертация у него, безусловно, имеется, и она не уступает диссертациям других!

Мирза Рахман не понял, куда клонит Ильяс-муаллим, но решил не перебивать его и послушать, что он скажет дальше. Тетушка же Шеребаны не удержалась и, обрадованная, торопливо спросила:

— Правда? Имеет, говорите?

— Да, имеет. И очень хорошую диссертацию!

— А зашту? Имеет зашту?

— Нет еще. Его защита состоится на этих днях. Хотя сам я и не сведущ в вопросах электричества, но на защите Назима буду обязательно.

— Так, значит, состоится?

— А как же? В самое ближайшее время!

— Дай бог, дай бог! Зашта — очень хорошее дело. Она хороша во всех отношениях.

Тетушка Шеребаны не сказала сватам решительного «да», но и не отказала им. «Будем здоровы, — сказала она, — и все уладим... Так или иначе, одна девушка должна принадлежать одетому парню. Пусть пока Назим заканчивает свою зашту. После этого с нашей стороны никаких препятствий не встретится. К тому времени мы выведаем и настроение девушки. Что ж, будем здоровы... Одна девушка должна принадлежать одному парню...» Святы поднялись, и поднялись они, хотя вопрос остался открытым.

Выйдя из ворот, Мирза Рахман набросился на Ильяс-муаллима:

— Да покоится с миром прах твоего родителя... Откуда ты взял, что наш парень пишет диссертацию? Я в курсе всех его дел, а вдруг ты, оказывается, знаешь больше моего... Она, я имею в виду

диссертацию, и не снилась Назиму. Чего ради обманывать людей?

— Не беспокойся, Мирза Рахман, — успокоил его Ильяс-муаллим. — На этой же неделе Назим защитит, и ты увидишь, что она у него все-таки есть!

— Но что у него есть? Что он защитит?

— Увидишь что.

— Послушай, неужели ты думаешь, что тебе удастся провести такую пройдоху, как тетушка Шеребаны?

— Никакого обмана, Мирза Рахман! На ее же глазах Назим защитит, и ей любо будет смотреть на это!

— Не понимаю.

— Тут и понимать нечего. Увидишь, все будет в порядке. От тебя требуется только одно: взять на один вечер клубный зал педагогического института для нас. Мы там проведем заседание инженерного общества!

— Ну, это мне нетрудно...

— Все же остальное я беру на себя.

Ильяс-муаллим не бросал слов на ветер. Зная, что неудавшаяся миссия сватов сильно огорчит Назима, а откладывание этого дела в долгий ящик ни к чему хорошему не приведет, он в тот же вечер вызвал Назима к себе.

— Сын мой, — сказал он. — Правда, ты не писал диссертации, но ни знаниями своими, ни делами не уступаешь тем, кто уже написал или пишет диссертацию. А тетушка Шеребаны — женщина невежественная. Только и бредит о «защите», то есть о защите диссертации, которая, по ее понятиям, является единственным мерилем образованности. И ты прекрасно понимаешь, зачем она настаивает на этом. Я ознакомился и с одним и с другим твоим проектом, внесенными в бюро по изобретательству. Каждый из этих проектов равен целой диссертации.

Имеется решение бюро обсудить их на ближайшем заседании совета. Ты подготовься, приведи в порядок чертежи и схемы и принеси их ко мне.

Назим уже два года работал инженером-энергетиком в тресте. За свои рационализаторские предложения по механизации процессов труда он два раза был премирован.

И вот проекты Назима были поставлены на обсуждение именно там, где предлагал Ильяс-муаллим, то есть в зале педагогического института, где обычно проводилась защита диссертаций. Опять, как любила выражаться тетушка Шеребаны, «крупные ученые заняли места вокруг большого стола», Назим поднялся на трибуну и, начав защиту своих проектов, продемонстрировал модель кирпичного агрегата, чертежи, объясняющие принципы ее работы, и чертежи и схемы новой электроаппаратуры, позволяющей механизировать штукатурные работы.

После Назима на трибуну поднимались один за другим инженеры и профессора, отмечали удачное разрешение поставленных задач, большой экономический эффект разработанных им проектов и поздравляли автора. Начальник строительного треста тут же зачитал приказ о награждении молодого инженера крупной денежной премией. И когда люди один за другим поздравляли Назима с крупным успехом и пожимали ему руку, молодой «диссертант» вдруг почувствовал прикосновение к своей руке маленькой, горячей и жесткой руки. Обернувшись, Назим увидел небольшого роста старую женщину. Это была тетушка Шеребаны. Женщина крепко стиснула руку молодого инженера и, не довольствуясь этим, взглянула на него и сказала:

— Нагнись, сынок, дай поцелую тебя! Во благо тебе, сынок! Назим, сынок мой, воистину во благо вам!

Сторонние зрители могли бы подумать, что, говоря «во благо»,

старая уборщица намекает на премию, полученную Назимом.

Но так могли подумать только сторонние наблюдатели. На самом же деле тетушка Шеребаны многозначительно глядела на Назима, представляла себе при этом Наджибу и от души говорила:

— Во благо вам!

Потому-то она сначала сказала «тебе», а когда, обняв Назима, целовала его, подумала об обоих молодых людях, об их счастливой жизни и сказала:

— Во благо вам!

И слова эти шли из глубины сердца.

И Мирза Рахман, и Ильяс-муаллим, и Асад с улыбкой глядели на эту сцену. Назим же застыдился и тут же покинул зал.

1957

Перевод Д. Гликиштейна

ЖЕЛАЮ СЧАСТЬЯ!

- Зачем ты приехал? Кто тебе разрешил? Значит, ты дезертировал?

Такими гневными вопросами встретил меня осенью тридцатого года заведующий районным отделом народного просвещения. И можно понять его возмущение!.. Совсем недавно он назначил меня - молодого учителя, выпускника педагогического техникума - в школу деревни Ярпызлы. Он надеялся на меня, ободрял, вдохновлял:

- Тебе, молодому, выпала трудная, но славная доля - бороться с извечной деревенской темнотою! Ты несешь в захолустье светоч знаний! Крестьяне вручат тебе свое сокровище - детей. Оправдай же их доверие. А когда завоеешь авторитет, смело выходи на борьбу против кулаков, молл, гадалок, знахарей. Желаю тебе, сынок, счастья!

Не скрою, я испытывал в тот день безмерное воодушевление. Я чувствовал себя солдатом великой армии Просвещения, а райнаробраз, скромно разместившийся в двух комнатках здания исполкома, казался мне боевым штабом, - там за полночь пылали лампы, увь, керосиновые, а не электрические; там трещали телефонные звонки, стучала машинка; там издавались приказы, распоряжения...

Деревня Ярпызлы, где по всем приметам я должен был обосноваться если не на всю жизнь, то на долгие годы, была живописным уголком. Дремучие рощи карагачей и дубов, раскинувшиеся по горным отрогам, окаймляли деревушку венком, зеленым - летом, темным - осенью. В глубоком ущелье гремела река.

Никогда не забуду, с каким наслаждением я начал преподавать математику в восьмом классе. Ах, если бы это рвение, этот задор не

улетучивались с годами!.. Тогда я не ведал усталости: поздними вечерами проверял тетрадки, штудировал методические пособия, а утром бодрый, подтянутый и, вероятно, чуть-чуть горделивый входил в класс, где сорок подростков, которых уже не назовешь детьми, но которых еще рано называть юношами и девушками, дружно вскакивали при моем появлении, треща крышками парт, весело, радостно приветствовали меня - наставника. Да, я держался с достоинством, хотя часто, ох как часто, колени мои тряслись, а сердце трепыхалось, как у схваченной озорником птички, - из головы вылетала, будь она проклята, самая простенькая формула, но в самый последний момент я усилием воли заставлял себя вспомнить ее, и урок заканчивался благополучно. Я знал, что каждый из моих учеников, вернувшись домой, подробно рассказывает родителям о новом учителе. Меня терзали мучительные подозрения: "Смеются? Порицают? Сравнивают с прежними, умудренными опытом преподавателями?"

Разумеется, я справился бы с этими бедами, отлично известными каждому молодому учителю, если бы на первой парте не сияла красою белоликая Зивер. В классе было немало хорошеньких девчушек, на которых я не обращал внимания, но Зивер была так прелестна, что я как взглянул на нее, так и не смог оторвать глаз до звонка... Вероятно, ей исполнилось или вот-вот должно было исполниться шестнадцать, и она расцвела дивно, и когда выходила к доске решать задачку, то весь класс притихал, любуясь ею. И она была не только Зивер, но и умницей, училась легко, без напряжения, ее щеки пылали от волнения, когда она выводила скрипящим мелком на доске головокружительные формулы, в которых и я-то путался. И она будучи застенчивой, как пугливая лань, с усилием, не глядя мне в лицо, произносила:

- Муэллим!

А муэллиму шел двадцатый год.

Что ж тому удивляться, что муэллим влюбился в свою ученицу до умопомрачения, и, когда каштановые косы Зивер падали с плеча

на круто приподнимавшую кофточку грудь, сердце его обливалось кипятком.

Теперь муэллиму хотелось вечерами не изучать методические пособия, не проверять тетрадки, а бродить в горных рощах и слагать стихи:

Разлука с тобою угнетает меня страданиями;
Ни здоров я, ни болен, - не понимаю, что стряслось...

Мне кажется, да, да, теперь я убежден, что в душе девушки тоже пробудилась нежность: едва я входил в класс, Зивер вспыхивала полымем, а затем так же мгновенно бледнела.

На несчастье, кое-кто из мальчишек, конечно великовозрастных, подметил, как напряженно держимся на уроках мы, и я и девушка. В классе было тихо, а мне слышалось посмеивание. Я ставил Зивер пятерку, и совершенно справедливо, я сам ужасался: не подумают ли ученики, что я завишаю ей отметки?..

Словом, стрела моя ударилась о камень. И не было рядом со мною ни матери, ни друга, ни брата, ни сестры, у кого я мог бы попросить совета, а жил я будто под стеклянным куполом - с меня не спускали глаз и школьники и родители. Сердце мое кровото-чило, и я окончательно потерялся...

- Зачем ты приехал? Кто тебе разрешил? Значит, ты дезерти-ровал? - с гневом обрушился на меня заведующий районо.

Не оправдываюсь, это был не лучший выход из положения, это была явная глупость, но ведь мне еще не стукнуло двадцати, и не было рядом умного советчика.

Рана моя кровоточила, и некому было утолить боль.

- Деревня напугала? - продолжал бушевать заведующий районо.

- Какое! Согласен ехать в самый дальний горный аул.

И грязная арба угольщика повезла меня в заброшенное в снега селение Габахтэпэ.

В пути я думал, что моя жизнь разбита; похоронил я молодость в ущелье Ярпызлы. Сомнения терзали мою душу, то я говорил себе: "Вернись, опомнись, поговори с отцом Зивер, и через год-два все уладится", то убеждал себя: "Теперь уже все пропало, Зивер не простит моего отступничества..."

Вынутый из костра раскаленный уголек постепенно зарастает пушистым пеплом и гаснет и остывает.

Время - самый надежный лекарь. Не сочувствие друзей, не слезы, не бессонные ночи, а именно течение времени, преисполненного работой, ответственностью, заботами, исцеляет душевные недуги.

Суровый вихрь судьбы разбросал меня и Зивер в разные стороны.

Я не искал ее, и она не искала меня.

Жизненные испытания закалили меня, и теперь, через много-много лет, я, обремененный обширной семьей, вероятно, помню не Зивер, а свою юношескую любовь к ней...

Как-то поздним зимним вечером я готовился к завтрашней лекции в университете. Раздался звонок, младший мой сын побежал в прихожую, открыл дверь, крикнул:

- Папа, гости!

Это было предупреждением, что пришли незнакомые. Обычно мальчик говорил: "Тетя Шамана!..", или "Дядя Мухтар", или "Аспиранты!.." Поморщившись, я снял пижамную куртку, натянул пиджак.

Радоваться визиту непростеных гостей мне, конечно, не приходилось.

Статная женщина в меховой шубе и рослый юноша в светлом пальто стояли в прихожей с неуверенным видом людей, которые

вынуждены вломиться а чужой дом и не знают, как их там встретят.

- Здравствуйте! Чем могу служить?

- Здравствуйте, профессор! Ясно, что вы не узнаете меня, свою бывшую ученицу, - певуче, полнозвучно произнесла вошедшая.

Не по осунувшемуся лицу, на котором время уже начертало темные письмена морщинок, а по этому молодому голосу я узнал ее, и сердце мое покатилося, я раскаялся, что встретил пришельцев так официально.

- Зивер!.. - И тотчас поправился: - Зивер-ханум.

- Да, да, Зивер, и сейчас действительно ханум. А это мой сын Урфан, учится он вместе с вашей Хашгет. Вот из-за него-то и пришла к вам, профессор, так негаданно та самая Зивер, которой вы когда-то преподавали математику...

Мы проходим в столовую, появляется моя жена, но Хашгет почему-то упрямо отсиживается на кухне - к добру ли? А юноша пристально изучает висящую в простенке картину, но я вижу, что у него душа, как говорится, ушла в пятки, что он обливается то студеным, то жгуче-горячим потом.

"К добру ли? - спрашиваю я себя, и отвечаю твердо: - К добру!"

А с каштановыми чудесными косами Зивер уже рассталась, коротко подстриженные волосы ее подкрашены хной, и это мне, конечно, не нравится, а через минуту я упрекаю себя: "Тебе-то, почтенный, какое дело? Если она чувствует, что такая прическа ей к лицу, то хвала аллаху..." Зивер пополнила, осанка ее благородна, а добрые глаза молодо лучезарны.

Разговор налаживается быстро: "Я пришла к вам свахой... Планеты Урфана и Хашгет столкнулись... Пусть судьба наших детей сложится счастливо..."

А я слышу: "...счастливее, чем наша судьба, муэллим".

Жена, разумеется, плачет, сваха плачет, бес благоразумия подмывает меня сказать, что надо бы обождать, такие дела не свершаются в одночасье, но я останавливаю себя, говорю, что,

может, именно эти-то дела и надо творить в одночасье. Юноша сосредоточенно изучает картину, я привожу из кухни упирающуюся, погибающую от стыда и блаженства девятнадцатилетнюю дочь, хочу ей шепнуть: "Я сделал для тебя, родная, всё, что мог!", а потом думаю, что если она этого до сих пор не почувствовала, то, значит, и напоминать об этом не следует.

В холодильнике отыскалась оставшаяся с Октябрьских праздников бутылка, шампанское ледяным искрометным кипятком льется в бокалы.

- Будьте счастливы, Хашгет и Урфан!

Все-таки жена успела вставить словечко, что свадьбу сыграем не раньше Первого мая.

Сваха согласна, она улыбается умиротворенно, протягивает бокал, твердо глядя мне в глаза: "

- Пусть будет благословенна наша старость, муэллим!

Хашгет и Урфан боятся взглянуть друг на друга, сидят надувшись, как сычи, молчат и о чем-то думают.

А о чем они думают?

Вот как внезапно, неожиданно разрослась и без того густоветвистая моя семья.

Да, грех мне жаловаться на свою судьбу.

И я поднимаю бокал, говорю растроганно, от всего сердца:

- Желаю счастья!

1958

Перевод В.А. Гасрилова

ПРИЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

Шумно и многолюдно перед огромным зданием университета.

В жаркие дни с утра до вечера толпятся здесь парни и девушки. В руках у них папки и книги, тетради, свернутые в трубочку, потрепанные программы и правила приема. С утра до вечера не умолкают говор, смех, споры...

В этом году большой конкурс на факультете журналистики: мест всего двадцать пять, а желающих поступить — сто двадцать семь. Каждый четверо из пяти подавших заявления останутся, как говорится, за бортом.

Разумеется, оставаться за бортом никто не хочет. Каждый из ста двадцати семи горячо надеется, что будет принят на факультет журналистики. Кто другой, может, и не попадет, а уж он-то попадет обязательно. И у каждого есть свои основания полагать так.

«Я демобилизован из армии, — думает один из них. — После военной службы имею право на льготу. Если даже тройку получу — все равно зачислят».

А другой рассуждает так: «На факультет журналистики примут в первую очередь тех, кто работает по этой специальности. А я уже почти пять лет работаю в редакции. Примут, конечно».

Третий молодой человек рассчитывает на то, что печатался в газетах, четвертый надеется на хорошие отметки в школьном аттестате, а пятый — на 20-летний педагогический стаж своего отца.

Словом, никто из молодых людей, собравшихся у дверей университета, вовсе не намерен стать одним из тех ста человек, которых не примут. Каждый надеется увидеть себя в списке двадцати пяти счастливчиков.

В одной из университетских аудиторий начался первый экзамен

— сочинение. Преподаватель в очках раздал экзаменующимся чистые листы с печатями. Затем встал другой, пожилой преподаватель. Он вскрыл запечатанный конверт и аккуратно, неторопливо написал на доске названия тем:

1. Драма Самеда Вургуня «Вагиф».

2. Воспитательное значение романа Н. Островского «Как закалялась сталь».

3. Баку — столица Азербайджана.

Каждый раз, когда на доске появлялось очередное название, по аудитории пробегал легкий шумок. Трудно было понять, нравится ли экзаменующимся предложенная тема или кажется трудной, обрадованы они или, наоборот, огорчены. По всей вероятности, было и так, и этак.

Затем воцарилась тишина. Экзаменующиеся обдумывали избранные темы, на белые листы с печатями легли первые строчки...

Не будем беспокоить молодых людей: пусть спокойно пишут свои сочинения. Давайте займемся смуглой большеглазой девушкой, которая, сидит на задней скамье и растерянно смотрит по сторонам.

Смуглая девушка приехала на экзамены из поселка Маштаги. Она была младшей дочерью мясника Мешади Рагима. Там же, в поселке, она окончила среднюю школу. Десять лет промелькнули для нее, незаметно. Эльмира переходила из класса в класс с хорошими отметками и не особенно задумывалась о своем будущем. А когда пришло время задуматься, она решила стать журналисткой. Вернее, не столько она решила, сколько ее отец.

Мешади Рагим выбрал для дочери такую профессию вовсе не потому, что был заядлым читателем газет и журналов. Отнюдь! Мясник как раз терпеть не мог эти самые газеты. Но что

поделаешь: человеку приходится считаться с существованием вещей, которые ему неприятны.

Раза два имя нашего мясника попадало на страницы газет. Оба раза он требовал опровержения, утверждал, что корреспондент оклеветал его. Мясник писал заявления, ходил по разным инстанциям, просил назначить комиссии для проверки, — но тщетно: никаких опровержений не последовало. И тогда он решил так: «Один сын у меня — шофер, другой — врач, третий — садовник. Теперь мне нужен газетчик.

Если член моей семьи будет работать в газете, то кто посмеет трепать в печати мое имя? Решено: Эльмира будет газетчиком!»

Правда, Мешади Рагим не совсем ясно представлял себе, как готовят работников печати. Он полагал, что этих людей специально подбирают там, в верхах, проверяют как следует, фильтруют, так сказать, а потом посылают работать в газете. Очень просто. Главное, чтобы у них родители были известные, заслуженные люди...

Но как-то раз сын Мешади Рагима, молодой врач, объяснил ему, что дело обстоит вовсе не так просто.

— На журналиста нужно учиться — сказал он.

— Журналист? — переспросил мясник. — Это что такое?

— Ну, который в газете работает.

— Разве нужно учиться, чтобы стать газетчиком?

— А как же!

— Да их просто назначают...

— Назначают после того, как они получают соответствующее образование.

— Вот оно что, — проговорил Мешади Рагим. — Что ж ты мне раньше не сказал? Я бы всех вас послал туда учиться. Ну ладно, Эльмиру пошлю. Пусть учится на этого... Как ты сказал?.. На журналиста.

Сказано — сделано. Эльмира подала заявление на факультет журналистики. Ей было страшновато. Мешади Рагим успокаивал:

— Не бойся, Элиш (так он ее называл). Кому ж еще учиться в этом университете, если не моей дочери?

Но Эльмира, побывав в университете, узнала, что сдать вступительные экзамены — не очень-то легкая штука.

— Отец, — рассказывала она, вернувшись домой, — вчера одна группа сдавала письменный экзамен, сорок девять человек. И знаешь, какие отметки? Двадцать девять двоек, остальные — тройки и четверки. Ни одной пятерки!.. Как же со мной будет?..

— Да ты не беспокойся, доченька, — отвечал мясник. — К тебе это не имеет отношения. Хороший учитель сам знает, кому надо поставить двойку, а кому тройку. Не волнуйся. Скажи им, что ты дочь Мешади Рагима, и все. Объясни им, кто я такой.

— Я боюсь что-то, отец...

— Двойки достаются только трусам. Ты смело иди сдавать экзамен. Только скажи им, чья ты дочь...

— Это на них не подействует, — неуверенно сказала Эльмира.

— Подействует, вот увидишь! Да еще у тебя есть справка насчет двухлетнего стажа работы в чулочной артели. Тех, у кого есть стаж работы, они с радостью принимают. Не забудь только сказать им, что ты...

Успокоительные слова Мешади Рагима не развеяли опасений Эльмиры. Она видела, что среди экзаменующихся есть очень сильные ребята — такие, что на любую тему напишут сочинение, на любой вопрос ответят. Эльмира слышала, как они говорили между собой о таких вещах, о которых она и представления не имела.

Но делать нечего: Эльмира пошла на экзамен. Может быть, кривая вывезет...

И когда были объявлены темы сочинений, она, улучшив момент, осторожно вытащила из рукава кофточки заранее припасенную шпаргалку стала переписывать с нее на чистый лист с печатью.

Но, оказывается, не даром красовались очки на носу одного из экзаменаторов. Неслышно ступая, он подошел к Эльмире, отобрал у нее шпаргалку.

— Пойдемте, — сказал он негромко и повел Эльмиру к столу, за которым сидел пожилой преподаватель. Тот и рта не успел открыть, как девушка всхлипнула и прошептала сквозь слезы:

— Простите меня... Простите...

Пожилый преподаватель взглянул на расстроенное лицо девушки, покачал головой и тихо проговорил:

— Ты что же это, доченька, обманным путем хочешь стать журналисткой? А потом сама будешь писать статьи в газету, направленные против обманщиков? — добавил преподаватель в очках.

Эльмира стояла, опустив голову, сгорая от стыда. «Что я натворила! — с ужасом подумала она. — Сейчас меня выгонят отсюда... Выставят за дверь... Какой позор!»

Но у пожилого преподавателя было доброе сердце. Он не выставил за дверь эту смуглую девушку, пожалел ее. Он велел ей сесть на другую скамью, обдумать тему и заново начать писать сочинение.

Итак, Эльмиру не лишили права сдавать экзамены. Не лишили — но что с того! Она сидела, не смея поднять головы. Ей казалось, что все взгляды устремлены на нее. Это было не так: все экзаменующиеся сосредоточенно писали. Одна она сидела над чистым листом бумаги и никак не могла собраться с мыслями.

Что же теперь будет с ней? Когда кончится этот экзамен, преподаватели, наверно, расскажут всем членам комиссии об ее

ужасном поступке... Чего доброго, сообщат директору школы. И отцу неприятностей не избежать...

Экзамен окончился. Экзаменующиеся один за другим положили свои работы на стол преподавателя и, попрощавшись, вышли.

В аудитории осталась только Эльмира. Она молча подошла к столу, положила листы, на которых не было написано ни одного слова, и торопливо направилась к двери.

— погоди, доченька, — окликнул ее пожилой преподаватель. — Ты, видно, очень волновалась сегодня, ни строчки не написала. Вот что: приходи завтра, будешь писать сочинение с другой группой. Только не волнуйся, слышишь?

Этого Эльмира никак не ожидала. После того, что она сегодня натворила, ей разрешают снова сдавать экзамен! А она, бессовестная, хотела обмануть такого человека... Такого хорошего человека! Она готова была сквозь землю провалиться. Волнение комом подступило к горлу. Эльмира только кивнула и выскочила из аудитории. Ни на кого не глядя, она сбегала по лестнице...

В электричке, по дороге домой, Эльмира думала о случившемся. Впервые в жизни ей пришлось крепко задуматься. Она поняла, что ей многого еще не хватает для того, чтобы получить право учиться в университете. Сюда надо прийти не только в чистом платье и новеньких туфлях, но и с чистыми мыслями, с чистой совестью, с ясно осознанной целью. И принести с собой не одну, а две справки о состоянии здоровья: одну от врача, а вторую — от собственного сердца, от молодой своей совести...

На станции Маштаги Эльмира вышла из вагона электрички и зашагала привычной дорогой к дому. А сама все думала о своем. Вот и родной дом, и мать выглядывает из окна, улыбается ей, ждет, что она скажет...

Вдруг Эльмиру словно подтолкнул кто-то. Она круто повернулась и побежала назад, на станцию.

— Эльмира! — тревожно крикнула ей вдогонку мать. — Эльмира, что случилось?..

Но девушка не оглянулась даже, только быстрее побежала.

Усталая, запыхавшаяся, она вернулась в университет и прошла прямо в комнату приемной комиссии.

— Отдайте, пожалуйста, мои документы.

— До окончания экзаменов мы документы не возвращаем, — ответили ей.

— Я не хочу сдавать экзамены, — твердо сказала Эльмира. — Не буду участвовать в конкурсе.

— Обратитесь к ректору.

Без колебаний она записалась на прием к ректору и настояла на своем: ей вернули документы...

В доме Мешади Рагима возник скандал. Мясник никак не мог понять свою дочь.

— Что ты натворила, негодная! — кричал он. — Как ты посмела забрать документы? Что мне люди теперь скажут — ты подумала об этом? Ведь я всем сказал, что сделаю тебя газетчиком!

— Ты сделал из меня недоучку! — резко ответила Эльмира. — Если бы даже меня приняли в университет, то сделали бы большую ошибку... Ты достал мне липовую справку, будто я два года работала в чулочной артели. Это нечестно! Я не хочу так... Я хочу работать! Честно хочу работать. Хочу прямо смотреть людям в глаза... Поработаю, будем говорить о поступлении в вуз. Вот мое последнее слово!

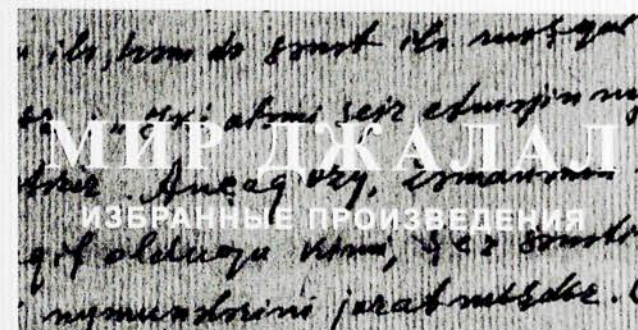
Мешади Рагим опустил голову. Впервые родная дочь взбунтовалась против него...

1960

Перевод Евгения Войскунского

MIR JALAL

AN ANTOLOGY



ПЕРВАЯ КНИГА

СОСТАВИТЕЛИ И РЕДАКТОРЫ

Адиба ПАШАЕВА

Агиль ГАДЖИЕВ

художник

Ельчин ДЖАБАРОВ

редакторы издательства

Хагигат ЭЛЬДАРОВА

Талех ГАМИД

технический редактор

Фарид КЕРИМОВ

корректоры

Халима МЕХТИЕВА

Джавид ДЖАББАРОГЛУ

компьютерный набор

Эльдениз ХОДЖАЕВ

Сусан ЗАРБАЛИЕВА

Ельгин АСЛАНОВ

Айсель БАХШИЕВА

компьютерное оформление и дизайн

Идрис АХМЕДОВ

переводчик

Анна ТОМСОН

печатники

Вюгар АЛИЕВ

Аждар ФЕЙЗУЛЛАЕВ

ИЗДАНО В ТИПОГРАФИИ

ЧАШЫОГЛУ

ISBN 978-9952-27-134-8

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

2.
784150

Посвящается
100-летию выдающегося
азербайджанского писателя
Мир Джалала